



Алексей

ТОЛСТОЙ

Князь Серебряный



## Annotation

Граф Алексей Константинович Толстой (1817–1875) остался бы в истории русской поэзии и литературы благодаря одному только лирическому шедевр «Средь шумного бала...». А ведь им создано могучее историческое полотно «Князь Серебряный», знаменитая драматургическая трилогия о русских царях, неувядаемая сатира «История государства Российского...», злободневная и по сей день. Бесценен его вклад в сочинения небезызвестного Козьмы Пруtkова. Благородный талант А.К.Толстого, его творчество до сих пор остаются живым литературным явлением.

---

- [Алексей Константинович Толстой](#)
  - 
  - [Предисловие](#)
  - [ГЛАВА 1. Опричники](#)
  - [ГЛАВА 2. Новые товарищи](#)
  - [ГЛАВА 3. Колдовство](#)
  - [ГЛАВА 4. Дружина Андреевич и его жена](#)
  - [ГЛАВА 5. Встреча](#)
  - [ГЛАВА 6. Прием](#)
  - [ГЛАВА 7. Александрова слобода](#)
  - [ГЛАВА 8. Пир](#)
  - [ГЛАВА 9. Суд](#)
  - [ГЛАВА 10. Отец и сын](#)
  - [ГЛАВА 11. Ночное шествие](#)
  - [ГЛАВА 12. Клевета](#)
  - [ГЛАВА 13. Ванюха Перстень и его товарищи](#)
  - [ГЛАВА 14. Оплеуха](#)
  - [ГЛАВА 15. Поцелуйный обряд](#)
  - [ГЛАВА 16. Похищение](#)
  - [ГЛАВА 17. Заговор на кровь](#)
  - [ГЛАВА 18. Старый знакомый](#)
  - [ГЛАВА 19. Русский человек добро помнит](#)
  - [ГЛАВА 20. Веселые люди](#)
  - [ГЛАВА 21. Сказка](#)
  - [ГЛАВА 22. Монастырь](#)

- [ГЛАВА 23. Дорога](#)
  - [ГЛАВА 24. Бунт станичников](#)
  - [ГЛАВА 25. Приготовление к битве](#)
  - [ГЛАВА 26. Побратимство](#)
  - [ГЛАВА 27. Басманов](#)
  - [ГЛАВА 28. Расставание](#)
  - [ГЛАВА 29. Очная ставка](#)
  - [ГЛАВА 30. Заговор на железо](#)
  - [ГЛАВА 31. Божий суд](#)
  - [ГЛАВА 32. Ладанка Вяземского](#)
  - [ГЛАВА 33. Ладанка Басманова](#)
  - [ГЛАВА 34. Шутовской кафтан](#)
  - [ГЛАВА 35. Казнь](#)
  - [ГЛАВА 36. Возвращение в Слободу](#)
  - [ГЛАВА 37. Прощение](#)
  - [ГЛАВА 38. Выезд из Слободы](#)
  - [ГЛАВА 39. Последнее свидание](#)
  - [ГЛАВА 40. Посольство Ермака](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
-

# Алексей Константинович Толстой

## Князь Серебряный

### *Повесть времен Иоанна Грозного*

Путешествие на долгих было для Гоголя уже как бы началом плана, который он предполагал осуществить впоследствии. Ему хотелось совершить путешествие по всей России, от монастыря к монастырю, ездя по проселочным дорогам и останавливаясь отдыхать у помещиков. Это ему было нужно, во-первых, для того, чтобы видеть живописнейшие места в государстве, которые большею частью были избираемы старинными русскими людьми для основания монастырей: во-вторых, для того, чтобы изучить проселки русского царства и жизнь крестьян и помещиков во всем его разнообразии; в-третьих, наконец, для того, чтобы написать географическое сочинение о России самым увлекательным образом. Он хотел написать его так, «чтоб была слышна связь человека с той почвой, на которой он родился». Обо всем этом говорил Гоголь у А. О. Смирновой, в присутствии гр. А. К. Толстого (известного поэта), который был знаком с ним издавна, но потом не видал его лет шесть или более. Он нашел в Гоголе большую перемену. Прежде Гоголь в беседе с близкими знакомыми выражал много добродушия и охотно вдавался во все капризы своего юмора и воображения; теперь он был очень скуп на слова, и все, что ни говорил, говорил, как человек, у которого неотступно пребывала в голове мысль, что «с словом надобно обращаться честно», или который исполнен сам к себе глубокого почтения. В тоне его речи отзывалось что-то догматическое, так, как бы он говорил своим собеседникам: «Слушайте, не пророните ни одного слова». Тем не менее беседа его была исполнена души и эстетического чувства. Он попотчевал графа двумя малороссийскими колыбельными песнями, которыми восхищался как редкими самородными перлами: 1) «Ой, спы, дытя, без сповыття» и т. д., 2) «Ой, ходыть сон по улоньци» и т. д. Вслед за тем Гоголь попотчевал графа лакомством другого сорта: он продекламировал с свойственным ему искусством великорусскую песню, выражая голосом и мимикою патриархальную величавость русского

характера, которою исполнена эта песня: «Пантелей государь ходит по двору, Кузьмич гуляет по широкому» и т. д. [\[1\]](#)...

*Гр. А. К. Толстой* по записи Кулиша.

Записки о жизни Гоголя, II, 232.

At nunc patientia servilis tantumque sanguinis domi perditum fatigant animum et moestitia restringunt, neque aliam defensionem ab iis, quibus ista noscentur, exegerim, quam ne oderim tam segniter pereuntes.

Tacitus. Annales. Liber XVI [\[2\]](#)

## Предисловие

Представляемый здесь рассказ имеет целью не столько описание каких-либо событий, сколько изображение общего характера целой эпохи и воспроизведение понятий, верований, нравов и степени образованности русского общества во вторую половину XVI столетия.

Оставаясь верным истории в общих ее чертах, автор позволил себе некоторые отступления в подробностях, не имеющих исторической важности. Так, между прочим, казнь Вяземского и обоих Басмановых, случившаяся на деле в 1570 году, помещена, для сжатости рассказа, в 1565 год. Этот умышленный анахронизм едва ли навлечет на себя строгое порицание, если принять в соображение, что бесчисленные казни, следовавшие за низвержением Сильвестра и Адашева, хотя много служат к личной характеристике Иоанна, но не имеют влияния на общий ход событий.

В отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже истории. Из уважения к искусству и к нравственному чувству читателя он набросил на них тень и показал их, по возможности, в отдалении. Тем не менее он сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук и он бросал перо в негодовании, не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования. Это тяжелое чувство постоянно мешало необходимой в эпическом сочинении объективности и было отчасти причиной, что роман, начатый более десяти лет тому назад, окончен только в настоящем году. Последнее обстоятельство послужит, быть может, некоторым извинением для тех неровностей слога, которые, вероятно, не ускользнут от читателя.

В заключение автор полагает нелишним сказать, что чем вольнее он обращался со второстепенными историческими происшествиями, тем строже он старался соблюдать истину и точность в описании характеров и всего, что касается до народного быта и до археологии.

Если удалось ему воскресить наглядно физиономию очерченной им эпохи, он не будет сожалеть о своем труде и почтет себя достигшим желанной цели.

1862

## ГЛАВА 1. Опричники

Лета от сотворения мира семь тысяч семьдесят третьего, или по нынешнему счислению 1565 года, в жаркий летний день, 23 июня, молодой боярин князь Никита Романович Серебряный подъехал верхом к деревне Медведевке, верст за тридцать от Москвы.

За ним ехала толпа ратников и холопей.

Князь провел целых пять лет в Литве. Его посылал царь Иван Васильевич к королю Жигимонту подписать мир на многие лета после бывшей тогда войны. Но на этот раз царский выбор вышел неудачен. Правда, Никита Романович упорно отстаивал выгоды своей земли и, казалось бы, нельзя и желать лучшего посредника, но Серебряный не был рожден для переговоров. Отвергая тонкости посольской науки, он хотел вести дело начистоту и, к крайней досаде сопровождавших его дьяков, не позволял им никаких изворотов. Королевские советники, уже готовые на уступки, скоро воспользовались простодушием князя, выведали от него наши слабые стороны и увеличили свои требования. Тогда он не вытерпел: среди полного сейма ударил кулаком по столу и разорвал докончальную грамоту, приготовленную к подписанию. «Вы-де и с королем вашим вьюны да оглядчики! Я с вами говорю по совести; а вы всё норовите, как бы меня лукавством обойти! Так-де чинить неповадно!» Этот горячий поступок разрушил в один миг успех прежних переговоров, и не миновать бы Серебряному опалы, если бы, к счастью его, не пришло в тот же день от Москвы повеление не заключать мира, а возобновить войну. С радостью выехал Серебряный из Вильно, сменил бархатную одежду на блестящие бахтерцы и давай бить литовцев, где только бог посылал. Показал он свою службу в ратном деле лучше, чем в думном, и прошла про него великая хвала от русских и литовских людей.

Наружность князя соответствовала его нраву. Отличительными чертами более приятного, чем красивого лица его были простосердечие и откровенность. В его темно-серых глазах, осененных черными ресницами, наблюдатель прочел бы необыкновенную, бессознательную и как бы невольную решительность, не позволявшую ему ни на миг задуматься в минуту действия. Неровные взъерошенные брови и косая между ними складка указывали на некоторую беспорядочность и непоследовательность в мыслях. Но мягко и определительно изогнутый рот выражал честную, ничем не поколебимую твердость, а улыбка – беспритязательное, почти

детское добродушие, так что иной, пожалуй, почел бы его ограниченным, если бы благородство, дышащее в каждой черте его, не ручалось, что он всегда постигнет сердцем, чего, может быть, и не сумеет объяснить себе умом. Общее впечатление было в его пользу и рождало убеждение, что можно смело ему довериться во всех случаях, требующих решимости и самоотвержения, но что обдумывать свои поступки не его дело и что соображения ему не даются.

Серебряному было лет двадцать пять. Роста он был среднего, широк в плечах, тонок в поясе. Густые русые волосы его были светлее загорелого лица и составляли противоположность с темными бровями и черными ресницами. Короткая борода, немного темнее волос, слегка оттеняла губы и подбородок.

Весело было теперь князю и легко на сердце возвращаться на родину. День был светлый, солнечный, один из тех дней, когда вся природа дышит чем-то праздничным, цветы кажутся ярче, небо голубее, вдали прозрачными струями зыблется воздух, и человеку делается так легко, как будто бы душа его сама перешла в природу, и трепещет на каждом листе, и качается на каждой былинке.

Светел был июньский день, но князю, после пятилетнего пребывания в Литве, он казался еще светлее. От полей и лесов так и веяло Русью.

Без лести и кривды радел Никита Романович к юному Иоанну. Твердо держал он свое крестное целование, и ничто не пошатнуло бы его крепкого стоятельства за государя. Хотя сердце и мысль его давно просились на родину, но если бы теперь же пришло ему повеление вернуться на Литву, не увидя ни Москвы, ни родных, он без ропота поворотил бы коня и с прежним жаром кинулся бы в новые битвы. Впрочем, не он один так мыслил. Все русские люди любили Иоанна всею землею. Казалось, с его праведным царством настал на Руси новый золотой век, и монахи, перечитывая летописи, не находили в них государя, равного Иоанну.

Еще не доезжая деревни, князь и люди его слышали веселые песни, а когда подъехали к околице, то увидели, что в деревне праздник. На обоих концах улицы парни и девки составили по хороводу, и оба хоровода несли по березке, украшенной пестрыми лоскутьями. На головах у парней и девок были зеленые венки. Хороводы пели то оба вместе, то чередуясь, разговаривали один с другим и перекидывались шуточной бранью. Звонко раздавался между песнями девичий хохот, и весело пестрели в толпе цветные рубахи парней. Стаи голубей перелетали с крыши на крышу. Все двигалось и кипело; веселился православный народ.

У околицы старый стремянный князя с ним поравнялся.



– Эхва! – сказал он весело, – вишь, как они, батюшка, тетка их подкурятину, справляют Аграфену Купальницу-то! Уж не поотдохнуть ли нам здесь? Кони-то заморились, да и нам-то, поемши, веселее будет ехать. По сытому брюху, батюшка, сам знаешь, хоть обухом бей!

– Да, я чай, уже не далеко до Москвы! – сказал князь, очевидно не желавший остановиться.

– Эх, батюшка, ведь ты сегодня уж разов пять спрашал. Сказали тебе добрые люди, что будет отсюда еще поприщ за сорок. Вели отдохнуть, князь, право, кони устали!

– Ну добро, – сказал князь, – отдыхайте!

– Эй, вы! – закричал Михеич, обращаясь к ратникам, – долой с коней, сымай котлы, раскладывай огонь!

Ратники и холопы были все в приказе у Михеича; они спешили и стали развязывать вьюки. Сам князь слез с коня и снял служилую бронь. Видя в нем человека роду честного, молодые прервали хороводы, старики сняли шапки, и все стояли, переглядываясь в недоумении, продолжать или нет веселие.

– Не чинитесь, добрые люди, – сказал ласково Никита Романович, – кречет соколам не помеха!

– Спасибо, боярин, – отвечал пожилой крестьянин. – Коли милость твоя нами не брезгает, просим покорно, садись на завалину, а мы тебе, коли соизволишь, медку поднесем; уважь, боярин, выпей на здоровье! Дуры – продолжал он, обращаясь к девкам, – чего испугались? Аль не видите, это боярин с своею челядью, а не какие-нибудь опричники! Вишь ты, боярин, с тех пор как настала на Руси опричина, так наш брат всего боится; житья нету бедному человеку! И в праздник пей, да не допивай; пой, да оглядывайся. Как раз нагрянут, ни с того ни с другого, словно снег на голову!

– Какая опричина? Что за опричники? – спросил князь.

– Да провал их знает! Называют себя царскими людьми. Мы-де люди царские, опричники! А вы-де земщина! Нам-де вас грабить да обдирать, а вам-де терпеть да кланяться. Так-де царь указал!

Князь Серебряный вспыхнул.

– Царь указал обижать народ! Ах они окаянные! Да кто они такие? Как вы их, разбойников, не перевяжете!

– Перевязать опричников-то! Эх, боярин! видно, ты издалека едешь, что не знаешь опричины! Попытайся-ка что с ними сделать! Ономясь наехало их человек десять на двор к Степану Михайлову, вон на тот двор, что на запоре; Степан-то был в поле; они к старухе: давай того, давай

другого. Старуха все ставит да кланяется. Вот они: давай, баба, денег! Заплакала старуха, да нечего делать, отперла сундук, вынула из тряпицы два алтына, подает со слезами: берите, только живу оставьте. А они говорят: мало! Да как хватит ее один опричник в висок, так и дух вон! Приходит Степан с поля, видит: лежит его старуха с разбитым виском; он не вытерпел. Давай ругать царских людей: бога вы не боитесь, окаянные! Не было б вам на том свету ни дна ни покрывки! А они ему, сердечному, петлю на шею, да и повесили на воротах!

Вздрогнул от ярости Никита Романович. Закипело в нем ретивое.

– Как, на царской дороге, под самою Москвой, разбойники грабят и убивают крестьян! Да что же делают ваши сотские да губные старосты? Как они терпят, чтобы станичники себя царскими людьми называли?

– Да, – подтвердил мужик, – мы-де люди царские, опричники; нам-де все вольно, а вы-де земщина! И старшие у них есть; знаки носят: метлу да собачью голову. Должно быть, и вправду царские люди.

– Дурень! – вскричал князь, – не смей станичников царскими людьми величать! «Ума не приложу, – подумал он. – Особые знаки? Опричники? Что это за слово? Кто эти люди? Как приеду на Москву, обо всем доложу царю. Пусть велит мне сыскать их! Не спущу им, как бог свят, не спущу!»

Между тем хоровод шел своим чередом.

Молодой парень представлял жениха, молодая девка невесту; парень низко кланялся родственникам своей невесты, которых также представляли парни и девки.

– Государь мой, тестюшка, – пел жених вместе с хором, – упари мне пива!

– Государыня теща, напеки пирогов!

– Государь свояк, оседлай мне коня!

Потом, взявшись за руки, девки и парни кружились вокруг жениха и невесты, сперва в одну, потом в другую сторону. Жених выпил пиво, съел пироги, изъездил коня и выгоняет свою родню.

– Пошел, тесть, к черту!

– Пошла, теща, к черту!

– Пошел, свояк, к черту!

При каждом стихе он выталкивал из хоровода то девку, то парня. Мужики хохотали.

Вдруг раздался пронзительный крик. Мальчик лет двенадцати, весь окровавленный, бросился в хоровод.

– Спасите! спрячьте! – кричал он, хватаясь за полы мужиков.

– Что с тобой, Ваня? Чего орешь? Кто тебя избил? Уж не опричники

ль?

В один миг оба хоровода собрались в кучу; все окружили мальчика; но он от страха едва мог говорить.

– Там, там, – произнес он дрожащим голосом, – за огородами, я пас телят... они наехали, стали колоть телят, рубить саблями, пришла Дунька, стала просить их, они Дуньку взяли, потащили, потащили с собой, а меня...

Новые крики перебили мальчика. Женщины бежали с другого конца деревни.

– Беда, беда! – кричали они, – опричники! бегите, девки, прячьтесь в рожь! Дуньку и Аленку схватили, а Сергевну убили насмерть!

В то же время показались всадники, человек с пятьдесят, сабли наголо. Впереди скакал чернобородый детина в красном кафтане, в рысьей шапке с парчовым верхом. К седлу его привязаны были метла и собачья голова.

– Гойда! Гойда! – кричал он, – колите скот, рубите мужиков, ловите девок, жгите деревню! За мной, ребята! Никого не жалеть!

Крестьяне бежали куда кто мог.

– Батюшка! Боярин! – вопили те, которые были ближе к князю, – не выдавай нас, сирот! Оборони горемычных!

Но князя уже не было между ними.

– Где ж боярин? – спросил пожилой мужик, оглядываясь на все стороны. – И след простыл! И людей его не видать! Ускакали, видно, сердечные! Ох, беда неминуемая, ох, смерть нам настала!

Детина в красном кафтане остановил коня.

– Эй ты, старый хрен! здесь был хоровод, куда девки разбежались?

Мужик кланялся молча.

– На березу его! – закричал черный. – Любит молчать, так пусть себе молчит на березе!

Несколько всадников сошли с коней и накинули мужику петлю на шею.

– Батюшки, кормильцы! Не губите старика, отпустите, родимые! Не губите старика!

– Ага! Развязал язык, старый хрыч! Да поздно, брат, в другой раз не шути! На березу его!

Опричники потащили мужика к березе. В эту минуту из-за избы раздалось несколько выстрелов, человек десять пеших людей бросились с саблями на душегубцев, и в то же время всадники князя Серебряного, вылетев из-за угла деревни, с криком напали на опричников. Княжеских людей было вполтину менее числом, но нападение совершилось так

быстро и неожиданно, что они в один миг опрокинули опричников. Князь сам рукоятью сабли сшиб с лошади их предводителя. Не дав ему опомниться, он спрыгнул с коня, придавил ему грудь коленом и стиснул горло.

– Кто ты, мошенник? – спросил князь.

– А ты кто? – отвечал опричник, хрипя и сверкая глазами.

Князь приставил ему пистольное дуло ко лбу.

– Отвечай, окаянный, или застрелю как собаку!

– Я тебе не слуга, разбойник, – отвечал черный, не показывая боязни, – а тебя повесят, чтобы не смел трогать царских людей!

Курок пистولي щелкнул, но кремь осекся, и черный остался жив.

Князь посмотрел вокруг себя. Несколько опричников лежали убитые, других княжеские люди вязали, прочие скрылись.

– Скрутите и этого! – сказал боярин, и, глядя на зверское, но бесстрашное лицо его, он не мог удержаться от удивления. «Нечего сказать, молодец! – подумал князь. – Жаль, что разбойник!»

Между тем подошел к князю стремянный его, Михеич.

– Смотри, батюшка, – сказал он, показывая пук тонких и крепких веревок с петлями на конце, – вишь, они какие ослы возят с собою! Видно, не впервой им душегубствовать, тетка их подкурятина!

Тут ратники подвели к князю двух лошадей, на которых сидели два человека, связанные и прикрученные к седлам. Один из них был старик с кудрявою, седою головой и длинною бородой. Товарищ его, черноглазый молодец, казался лет тридцати.

– Это что за люди? – спросил князь. – Зачем вы их к седлам прикрутили?

– Не мы, боярин, а разбойники прикрутили их к седлам. Мы нашли их за огородами, и стража к ним была приставлена.

– Так отвяжите их и пустите на волю!

Освобожденные пленники потягивали онемелые члены, но, не спеша воспользоваться свободой, остались посмотреть, что будет с побежденными.

– Слушайте, мошенники, – сказал князь связанным опричникам, – говорите, как вы смели называться царскими слугами? Кто вы таковы?

– Что, у тебя глаза лопнули, что ли? – отвечал один из них. – Аль не видишь, кто мы? Известно кто! Царские люди, опричники!

– Окаянные! – вскричал Серебряный, – коли жизнь вам дорога, отвечайте правду!

– Да ты, видно, с неба свалился, – сказал с усмешкой черный детина, –

что никогда опричников не видал? И подлинно с неба свалился! Черт его знает, откуда выскочил, провалиться бы тебе сквозь землю!

Упорство разбойников взорвало Никиту Романовича.

– Слушай, молодец, – сказал он, – твоя дерзость мне было пришлось по нраву, я хотел было пощадить тебя. Но если ты сейчас же не скажешь мне, кто ты таков, как бог свят, велю тебя повесить!

Разбойник гордо выпрямился.

– Я Матвей Хомяк! – отвечал он, – стремянный Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского; служу верно господину моему и царю в опричниках. Метла, что у нас при седле, значит, что мы Русь метем, выметаем измену из царской земли; а собачья голова – что мы грызем врагов царских. Теперь ты ведаешь, кто я; скажи ж и ты, как тебя называть, величать, каким именем помянуть, когда придется тебе шею свернуть?

Князь простил бы опричнику его дерзкие речи. Бесстрашие этого человека в виду смерти ему нравилось. Но Матвей Хомяк клеветал на царя, и этого не мог снести Никита Романович. Он дал знак ратникам. Привыкшие слушаться боярина и сами раздраженные дерзостью разбойников, они накинули им петли на шеи и готовились исполнить над ними казнь, незадолго перед тем угрожавшую бедному мужику.

Тут младший из людей, которых князь велел отвязать от седел, подошел к нему.

– Дозволь, боярин, слово молвить.

– Говори!

– Ты, боярин, сегодня доброе дело сделал, вызволил нас из рук этих собачьих детей, так мы хотим тебе за добро добром заплатить. Ты, видно, давно на Москве не бывал, боярин. А мы так знаем, что там деется. Послушай нас, боярин. Коли жизнь тебе не постыла, не вели вешать этих чертей. Отпусти их, и этого беса, Хомяка, отпусти. Не их жаль, а тебя, боярин. А уж попадутся нам в руки, вот те Христос, сам повешу их. Не миновать им осила, только бы не ты их к черту отправил, а наш брат!

Князь с удивлением посмотрел на незнакомца. Черные глаза его глядели твердо и пронизательно; темная борода покрывала всю нижнюю часть лица, крепкие и ровные зубы сверкали ослепительною белизной. Судя по его одежде, можно было принять его за посадского или за какого-нибудь зажиточного крестьянина, но он говорил с такою уверенностью и, казалось, так искренно хотел предостеречь боярина, что князь стал пристальнее вглядываться в черты его. Тогда показалось князю, что на них отпечаток необыкновенного ума и сметливости, а взгляд обнаруживает человека, привыкшего повелевать.

– Ты кто, молодец? – спросил Серебряный, – и зачем вступаешься за людей, которые самого тебя прикрутили к седлу?

– Да, боярин, кабы не ты, то висеть бы мне вместо их! А все-таки послушай мово слова, отпусти их; жалеть не будешь, как приедешь на Москву. Там, боярин, не то, что прежде, не те времена! Кабы всех их перевешать, я бы не прочь, зачем бы не повесить! А то и без этих довольно их на Руси останется; а тут еще человек десять ихних ускакало; так если этот дьявол, Хомяк, не воротится на Москву, они не на кого другого, а прямо на тебя покажут!

Князя, вероятно, не убедили бы темные речи незнакомца, но гнев его успел простыть. Он рассудил, что скорая расправа с злодеями немного принесет пользы, тогда как, предав их правосудию, он, может быть, откроет всю шайку этих загадочных грабителей. Расспросив подробно, где имеет пребывание ближний губной староста, он приказал старшему ратнику с товарищами проводить туда пленных и объявил, что поедет далее с одним Михеичем.

– Власть твоя посылать этих собак к губному старосте, – сказал незнакомец, – только поверь мне, староста тотчас велит развязать им руки. Лучше бы самому тебе отпустить их на все четыре стороны. Впрочем, на то твоя боярская воля.

Михеич слушал всё молча и только почесывал за ухом. Когда незнакомец кончил, старый стремянный подошел к князю и поклонился ему в пояс.

– Батюшка боярин, – сказал он, – оно тово, может быть, этот молодец и правду говорит: неравно староста отпустит этих разбойников. А уж коли ты их, по мягкосердечию твоему, от петли помиловал, за что бог и тебя, батюшка, не оставит, то дозвожь, по крайности, перед отправкой-то, на всяк случай, вклепить им по полсотенке плетей, чтоб вперед-то не душегубствовали, тетка их подкуртина!

И, принимая молчание князя за согласие, он тотчас велел отвезть пленных в сторону, где предложенное им наказание было исполнено точно и скоро, несмотря ни на угрозы, ни на бешенство Хомяка.

– Это самое питательное дело!.. – сказал Михеич, возвращаясь с довольным видом к князю. – Оно, с одной стороны, и безобидно, а с другой – и памятно для них будет!

Незнакомец, казалось, сам одобрял счастливую мысль Михеича. Он усмехался, поглаживая бороду, но скоро лицо его приняло прежнее суровое выражение.

– Боярин, – сказал он, – уж коли ты хочешь ехать с одним только

стремянным, то дозвожь хоть мне с товарищем к тебе примкнуться; нам дорога одна, а вместе будет веселее; к тому ж не ровен час, коли придется опять работать руками, так восемь рук больше четырех вымолотят.

У князя не было причин подозревать своих новых товарищей. Он позволил им ехать с собою, и, после краткого отдыха, все четверо пустились в путь.

## ГЛАВА 2. Новые товарищи

Дорогой Михеич несколько раз пытался вывести от незнакомцев, кто они таковы, но те отшучивались или отделялись разными изворотами.

– Тьфу, тетка их подкурятина! – сказал наконец сам про себя Михеич, – что за народ! Словно вьюны какие! Думаешь, вот поймал их за хвост, а они тебе промеж пальцев!

Между тем стало темнеть; Михеич подъехал к князю.

– Боярин, – сказал он, – хорошо ли мы сделали, что взяли с собой этих молодцов? Они что-то больно увертливы, никак от них толку не добьешься. Да и народ-то плечистый, не хуже Хомяка. Уж не лихие ли люди?

– А хоть и лихие, – отвечал беззаботно князь, – всё же они постоят за нас, коли неравно попадутся нам еще опричники!

– А провал их знает, постоят ли, батюшка! Ворон ворону глаз не выклюет; а я слышал, как они промеж себя поговаривали черт знает на каком языке, ни слова не понять, а, кажись, было по-русски! Берегись, боярин, береженого коня и зверь не вредит!

Темнота усиливалась. Михеич замолчал. Боярин также молчал. Слышен был только лошадиный топ да изредка чуткое фыркание.

Ехали лесом. Один из незнакомцев затянул песню, другой стал подтягивать.

Песнь эта, раздающаяся ночью, среди леса, после всех дневных происшествий, странно подействовала на князя: ему сделалось грустно. Он вспомнил о прошедшем, вспомнил об отъезде своем из Москвы, за пять лет назад, и в воображении очутился опять в той церкви, где перед отъездом слушал молебен и где сквозь торжественное пение, сквозь шепот толпы, его поразил нежный и звучный голос, которого не заглушил ни стук мечей, ни гром литовских пищалей. «Прости, князь, говорил ему украдкой этот голос, я буду за тебя молиться!..» Между тем незнакомцы продолжали петь, но слова их не соответствовали размышлениям боярина. В песни говорилось про широкое раздолье степей, про матушку-Волгу, про разгульное бурлацкое житье. Голоса то сходились, то расходились, то текли ровным током, как река широкая, то бурными волнами вздымались и опускались, и наконец, взлетев высоко, высоко, царили в небесах, как орлы с распростертыми крыльями.

Грустно и весело в тихую летнюю ночь, среди безмолвного леса, слушать размашистую русскую песню. Тут и тоска бесконечная,



безнадежная, тут и сила непобедимая, тут и роковая печать судьбы, железное предназначение, одно из основных начал нашей народности, которым можно объяснить многое, что в русской жизни кажется непонятным. И чего не слышно еще в протяжной песни среди летней ночи и безмолвного леса!

Пронзительный свист прервал мысли боярина. Два человека выпрыгнули из-за деревьев и взяли лошадь его под уздцы. Двое других схватили его за руки. Сопротивление стало невозможно.

– Ах мошенники! – вскричал Михеич, которого также окружили неизвестные люди, – ах тетка их подкурятина! Ведь подвели же, окаянные!

– Кто едет? – спросил грубый голос.

– Бабушкино веретено! – отвечал младший из новых товарищей князя.

– В дедушкином лапте! – сказал грубый голос.

– Откуда бог несет, земляки?

– Не тряси яблони! Дай дрожжам взойти, сам-четверт урожаю! – продолжал спутник князя.

Руки, державшие боярина, тотчас опустились, и конь, почувствовав свободу, стал опять фыркать и шагать между деревьями.

– Вишь, боярин, – сказал незнакомец, равняясь с князем, – ведь говорил я тебе, что вчетвером веселее ехать, чем сам-друг! Теперь дай себя только до мельницы проводить, а там простимся. В мельнице найдешь ночлег и корм лошадям. Дотудова будет версты две, не боле, а там скоро и Москва!

– Спасибо, молодцы, за услугу. Коли придется нам когда встретиться, не забуду я, что долг платежом красен!

– Не тебе, боярин, а нам помнить услуги. Да вряд ли мы когда и встретимся. А если бы привел бог, так не забудь, что русский человек добро помнит и что мы всегда тебе верные холопи!

– Спасибо, ребята, а имени своего не скажете?

– У меня имя не одно, – отвечал младший из незнакомцев. – Покамест я Ванюха Перстень, а там, может, и другое прозвание мне найдется.

Вскоре они приблизились к мельнице. Несмотря на ночное время, колесо шумело в воде. На свист Перстня показался мельник. Лица его нельзя было разглядеть за темнотою, но, судя по голосу, он был старик.

– Ах ты, мой кормилец! – сказал он Перстню, – не ждал я тебя сегодня, да еще с проезжими! Что бы тебе с ними уж до Москвы доехать? А у меня, родимый, нет ни овса, ни сена, ни ужина!

Перстень сказал что-то мельнику на непонятном условном языке. Старик отвечал такими же непонятными словами и прибавил вполголоса:

– И рад бы, родимый, да гостя жду; такого гостя, боже сохрани, какой сердитый!

– А камора за ставом? – сказал Перстень.

– Вся завалена мешками!

– А кладовая? Слышь ты, брат, чтоб сейчас отыскалось место, овес лошадям и ужин боярину! Мы ведь знаем друг друга, меня не морочь!

Мельник, ворча, повел приезжих в камору, стоявшую шагах в десяти от мельницы и где, несмотря на мешки с хлебом и мукою, было очень довольно места.

Пока он сходил за лучиной, Перстень и товарищ его простились с боярином.

– А скажите, молодцы, – спросил Михеич, – где ж отыскать вас, если б, неравно, по сегодняшнему делу, князю понадобились свидетели?

– Спроси у ветра, – отвечал Перстень, – откуда он? Спроси у волны перебежной, где живет она? Мы что стрелы острые с тетивы летим: куда вонзится калена стрела, там и дом ее! В свидетели, – продолжал он, усмехаясь, – мы его княжеской милости не годимся. А если б мы за чем другим понадобились, приходи, старичина, к мельнику; он тебе скажет, как отыскать Ванюху Перстня!

– Вишь ты, тетка твоя подкурятина! – проворчал себе под нос Михеич, – какие кудрявые речи выговаривает!

– Боярин, – сказал Перстень, удаляясь, – послушай меня, не хвались на Москве, что хотел повесить слугу Малюты Скуратова и потом отодрал его как сидорову козу!

– Вишь, что наладил, – проворчал опять Михеич, – отпусти разбойника, не вешай разбойника, да и не хвались, что хотел повесить! Затвердила сорока Якова, видно с одного поля ягода! Не беспокойся, брат, – прибавил он громко, – наш князь никого не боится; наплевать ему на твоего Скурлатова; он одному царю ответ держит!

Мельник принес зажженную лучину и воткнул ее в стену. Потом принес щей, хлеба и кружку браги. В чертах его была странная смесь добродушия и плутовства; волосы и борода были совсем седые, а глаза ярко-серого цвета; морщины во всех направлениях пересекали лицо его.

Пожинав и помолившись богу, князь и Михеич расположились на мешках; мельник пожелал им доброй ночи, низко поклонился, погасил лучину и вышел.

– Боярин, – сказал Михеич, когда они остались одни, – сдается мне, что напрасно мы здесь остановились. Лучше было ехать до Москвы.

– Чтобы тревожить народ божий среди ночи? Слезать с коней да

отмыкать рогатки на каждой улице?

– Да что, батюшка, лучше отмыкать рогатки, чем спать в чертовой мельнице. И угораздило же их, окаянных, привести именно в мельницу! Да еще на Ивана Купала. Тьфу ты пропасть.

– Да что тебе здесь худо, что ли?

– Нет, батюшка, не худо; и лежать покойно, и щи были добрые, и лошадям овес засыпан; да только то худо, что хозяин, вишь, мельник.

– Что ж с того, что он мельник?

– Как что, что мельник? – сказал с жаром Михеич. – Да разве ты не знаешь, князь, что нет мельника, которому бы нечистый не приходился сродни? Али ты думаешь, он сумеет без нечистого плотину насыпать? Да, черта с два! Тетка его подкурятина!

– Слыхал я про это, – сказал князь, – мало ли что люди говорят. Да теперь не время разбирать, бери, что бог послал.

Михеич немного помолчал, потом зевнул, еще помолчал и спросил уже заspanным голосом:

– А как ты думаешь, боярин, что за человек этот Матвей Хомяк, которого ты с лошади сшиб?

– Я думаю, разбойник.

– И я тоже думаю. А как ты думаешь, боярин, что за человек этот Ванюха Перстень?

– Я думаю, тоже разбойник.

– И я так думаю. Только этот разбойник будет почище того разбойника. А тебе как покажется, боярин, который разбойник будет почище, Хомяк или Перстень?

И, не дожидаясь ответа, Михеич захрапел. Вскоре уснул и князь.

## ГЛАВА 3. Колдовство

Месяц взошел на небо, звезды ярко горели. Полуразвалившаяся мельница и шумящее колесо были озарены серебряным блеском.

Вдруг раздался конский топот, и вскоре повелительный голос закричал под самой мельницей:

– Эй, колдун!

Казалось, новый приезжий не привык дожидаться, ибо, не слыша ответа, он закричал еще громче:

– Эй, колдун! Выходи, не то в куски изрублю!

Послышался голос мельника:

– Тише, князь, тише, батюшка, теперь мы не одни, остановились у меня проезжие; а вот я сейчас к тебе выйду, батюшка, дай только сундук запереть.

– Я те дам сундук запирасть, чертова кочерга! – закричал тот, которого мельник назвал князем. – Разве ты не знал, что я буду сегодня! Как смел ты принимать проезжих! Вон их отсюда!

– Батюшка, не кричи, бога ради не кричи, всё испортишь! Я тебе говорил уже, дело боится шуму, а проезжих прогнать я не властен. Да они же нам и не мешают; они спят теперь, коли ты, родимый, не разбудил их!

– Ну, добро, старик, только смотри, коли ты меня морочишь, лучше бы тебе на свет не родиться. Еще не выдуманно, не придумано такой казни, какую я найду тебе!

– Батюшка, умиლოსердись! что ж мне делать, старику? Что увижу, то и скажу; что после случится, в том один бог властен! А если твоя княжеская милость меня казнить собирается, так лучше я и дела не начну!

– Ну, ну, старик, не бойся, я пошутил.

Проезжий привязал лошадь к дереву. Он был высокого роста и, казалось, молод. Месяц играл на запонках его однорядки. Золотые кисти мурмолки болтались по плечам.

– Что ж, князь, – сказал мельник, – выучил ты слова?

– И слова выучил, и ласточкино сердце ношу на шее.

– Что ж, боярин, и это не помогает?

– Нет, – отвечал с досадой князь, – ничего не помогает! Намедни я увидел ее в саду. Лишь узнала она меня, побледнела, отвернулась, убежала в светлицу!

– Не прогневишь, боярин, не руби невинной головы, а дозвожь тебе

слово молвить.

– Говори, старик.

– Слушай, боярин, только я боюсь говорить...

– Говори! – закричал князь и топнул ногой.

– Слушай же, батюшка, уж не любит ли она другого?

– Другого? Кого ж другого? мужа? старика?

– А если... – продолжал мельник, запинаясь, – если она любит не мужа?...

– Ах ты леший! – вскричал князь, – да как это тебе на ум взбрело? Да если б я только подумал про кого, я б у них у обоих своими руками сердце вырвал!

Мельник отшатнулся в страхе.

– Колдун, – продолжал князь, смягчая свой голос, – помоги мне! Одолела меня любовь, змея лютая! Уж чего я не делал! Целые ночи перед иконами молился! Не вымолил себе покою. Бросил молиться, стал скакать и рыскать по полям с утра до ночи, не одного доброго коня заморил, а покоя не выездил! Стал гулять по ночам, выпивал ковши вина крепкого, не запил тоски, не нашел себе покоя в похмелье! Махнул на все рукой и пошел в опричники. Стал гулять за царским столом вместе со страдниками, с Грязными, с Басмановыми! Сам хуже их злодействовал, разорял села и слободы, увозил жен и девок, а не залил кровью тоски моей! Боятся меня и земские и опричники, жалует царь за молодечество, проклинает народ православный. Имя князя Афанасья Вяземского стало так же страшно, как имя Малюты Скуратова! Вот до чего довела меня любовь, погубил я душу мою! Да что мне до нее! Во дне адовом не будет хуже здешнего! Ну, старик, чего смотришь мне в глаза? Али думаешь, я помешался? Не помешался Афанасий Иванович; крепка голова, крепко тело его! Тем-то и ужасна моя мука, что не может известить меня!

Мельник слушал князя и боялся. Он опасался его буйного нрава, опасался за жизнь свою.

– Что ж ты молчишь, старик? али нет у тебя зелья, али нет корня какого приворотить ее? Говори, высчитывай, какие есть чародейные травы? Да говори же, колдун!

– Батюшка, князь Афанасий Иванович, как тебе сказать? Всякие есть травы. Есть колюка-трава, собирается в Петров пост. Обкуришь ею стрелу, промаху не дашь. Есть тирлич-трава, на Лысой горе, под Киевом, растет. Кто ее носит на себе, на того ввек царского гнева не будет. Есть еще плакун-трава, вырежешь из корня крест да повесишь на шею, все тебя будут как огня бояться!

Вяземский горько усмехнулся.

– Меня уж и так боятся, – сказал он, – не надо мне плакуна твоего. Называй другие травы.

– Есть еще адамова голова, коло болот растет, разрешает роды и подарки приносит. Есть голубец болотный; коли хочешь идти на медведя, выпей взвару голубца, и никакой медведь тебя не тронет. Есть ревенка-трава; когда станешь из земли выдергивать, она стонет и ревет, словно человек, а наденешь на себя, никогда в воде не утонешь.

– А боле нет других?

– Как не быть, батюшка, есть еще кочедыжник, или папоротник; кому удастся сорвать цвет его, тот всеми кладами владеет. Есть иван-да-марья; кто знает, как за нее взяться, тот на первой кляче от лучшего скакуна удерет.

– А такой травы, чтобы молодушка полюбила постылого, не знаешь?

Мельник замаялся.

– Не знаю, батюшка, не гневайся, родимый, видит бог, не знаю!

– А такой, чтобы свою любовь перемочь, не знаешь?

– И такой не знаю, батюшка; а вот есть разрыв-трава; когда дотронешься ею до замка или до двери железной, так и разорвет на куски!

– Пропадай ты с своими травами! – сказал гневно Вяземский и устремил мрачный взор свой на мельника.

Мельник опустил глаза и молчал.

– Старик! – вскричал вдруг Вяземский, хватая его за ворот, – подавай мне ее! Слышишь? Подавай ее, подавай ее, леший! Сейчас подавай!

И он тряс мельника за ворот обеими руками.

Мельник подумал, что настал последний час его.

Вдруг Вяземский выпустил старика и повалился ему в ноги.

– Сжался надо мной! – зарыдал он, – излечи меня! Я задарю тебя, озолочу тебя, пойду в кабалу к тебе! Сжался надо мной, старик!

Мельник еще более испугался.

– Князь, боярин! Что с тобой? Опомнись! Это я, Давыдыч, мельник!.. Опомнись, князь!

– Не встану, пока не излечишь!

– Князь! князь! – сказал дрожащим голосом мельник, – пора за дело. Время уходит, вставай! Теперь темно, не видал я тебя, не знаю, где ты! Скорей, скорей за дело!

Князь встал.

– Начинай, – сказал он, – я готов.

Оба замолчали. Все было тихо. Только колесо, освещенное месяцем,

продолжало шуметь и вертеться. Где-то в дальнем болоте кричал дергач. Сова завывала порой в гущине леса.

Старик и князь подошли к мельнице.

– Смотри, князь, под колесо, а я стану нашептывать.

Старик прилег к земле и, еще задыхаясь от страха, стал шептать какие-то слова. Князь смотрел под колесо. Прошло несколько минут.

– Что видишь, князь?

– Вижу, будто жемчуг сыплется, будто червонцы играют.

– Будешь ты богат, князь, будешь всех на Руси богаче!

Вяземский вздохнул.

– Смотри еще, князь, что видишь?

– Вижу, будто сабли трутся одна о другую, а промеж них как золотые гривны!

– Будет тебе удача в ратном деле, боярин, будет счастье на службе царской! Только смотри, смотри еще, говори, что видишь?

– Теперь сделалось темно, вода помутилась. А вот стала краснеть вода, вот почервонела, словно кровь. Что это значит?

Мельник молчал.

– Что это значит, старик?

– Довольно, князь. Долго смотреть не годится, пойдем!

– Вот потянулись багровые нитки, словно жилы кровавые; вот будто клещи растворяются и замыкаются, вот...

– Пойдем, князь, пойдем, будет с тебя!

– Постой, – сказал Вяземский, отталкивая мельника, – вот словно пила зубчатая ходит взад и вперед, а из-под нее словно кровь брызжет!

Мельник хотел оттащить князя.

– Постой, старик, мне дурно, мне больно в суставах... Ох, больно!

Князь сам отскочил. Казалось, он понял свое видение.

Долго оба молчали. Наконец Вяземский сказал:

– Хочу знать, любит ли она другого!

– А есть ли у тебя, боярин, какая вещица от нее?

– Вот что нашел я у калитки!

Князь показал голубую ленту.

– Брось под колесо!

Князь бросил.

Мельник вынул из-за пазухи глиняную сулею.

– Хлебни! – сказал он, подавая сулею князю.

Князь хлебнул. Голова его стала ходить кругом, в очах помутилось.

– Смотри теперь, что видишь?

– Ее, ее.

– Одною?

– Нет, не одну! Их двое: с ней русский молодец в кармазинном кафтане, только лица его не видно. Пстой! Вот они сплываются... все ближе, ближе... Анафема! они целуются! Анафема! Будь ты проклят, колдун, будь проклят, проклят!

Князь бросил мельнику горсть денег, оторвал от дерева узду коня своего, вскочил в седло, и застучали в лесу конские подковы. Потом топот замер в отдаленье, и лишь колесо в ночной тиши продолжало шуметь и вертеться.



## ГЛАВА 4. Дружина Андреевич и его жена

Если бы читатель мог перенестись лет за триста назад и посмотреть с высокой колокольни на тогдашнюю Москву, он нашел бы в ней мало сходства с теперешнею. Берега Москвы-реки, Яузы и Неглинной покрыты были множеством деревянных домов с тесовыми или соломенными крышами, большею частью почерневшими от времени. Среди этих темных крыш резко белели и краснели стены Кремля, Китай-города и других укреплений, возникших в течение двух последних столетий. Множество церквей и колоколен подымали свои золоченые головы к небу. Подобные большим зеленым и желтым пятнам, виднелись между домами густые рощи и покрытые хлебом поля. Через Москву-реку пролегали зыбкие живые мосты, сильно дрожавшие и покрывавшиеся водою, когда по ним проезжали возы или всадники. На Яузе и на Неглинной вертелись десятками мельничные колеса, одно подле другого. Эти рощи, поля и мельницы среди самого города придавали тогдашней Москве много живописного. Особенно весело было смотреть на монастыри, которые, с белыми оградами и пестрыми кучами цветных и золоченых голов, казались отдельными городами.

Надо всею этою путаницей церквей, домов, рощ и монастырей гордо воздымались кремлевские церкви и недавно отделанный храм Покрова богоматери, который Иоанн заложил несколько лет тому назад в память взятия Казани и который мы знаем ныне под именем Василия Блаженного. Велика была радость москвитян, когда упали наконец леса, закрывавшие эту церковь, и предстала она во всем своем причудливом блеске, сверкая золотом и красками и удивляя взор разнообразием украшений. Долго не переставал народ дивиться искусному зодчему, благодарить бога и славить царя, даровавшего православным зрелище, дотоле не виданное. Хороши были и прочие церкви московские. Не щадили москвитяне ни рублей, ни трудов на благолепие домов божиих. Везде видны были дорогие цвета, позолота и большие наружные иконы во весь рост человеческий. Любили православные украшать дома божии, но зато мало заботились о наружности своих домов; жилища их почти все были выстроены прочно и просто, из сосновых или дубовых брусьев, не обшитых даже тесом, по старинной русской пословице: не красна изба углами, а красна пирогами.

Один дом боярина Дружины Андреевича Морозова, на берегу Москвы-реки, отличался особенною красотою. Дубовые бревна были на

подбор круглы и ровны; все углы рублены в лапу, дом возвышался в три жилья, не считая светлицы. Навесная кровля над крутым крыльцом поддерживалась пузатыми, вычурными столбами и щеголяла мелкою резьбою. Ставни были искусно расписаны цветами и птицами, а окна пропускали свет божий не сквозь тусклые бычачьи пузыри, как в большей части домов московских, но сквозь чистую, прозрачную слюду. На широком дворе стояли службы, кладовые, сушилы, голубятня и летняя опочивальня боярина. Ко двору примыкали с одной стороны домовая каменная церковь, с другой – просторный сад, окруженный дубовым частоколом, из-за которого подымались красивые качели также с узорами и живописью. Словом, дом выстроен был на славу. Да и было на кого строить!

Боярин Дружина Андреевич, телом дородный, нрава крутого, несмотря на свои преклонные лета, недавно женился на первой московской красавице. Все дивились, когда вышла за него двадцатилетняя Елена Дмитриевна, дочь окольного Плещеева-Очина, убитого под Казанью. Не такого жениха прочили ей московские свахи. Но Елена была на выданье, без отца и матери; а красота девушки, при нечестивых нравах новых царских любимцев, бывала ей чаще на беду, чем на радость.

Морозов, женившись на Елене, сделался ее покровителем, а все знали на Москве, что нелегко обидеть ту, которую брал под свою защиту боярин Дружина Андреевич!

Много любимцев царских до замужества Елены старались ей понравиться, но никто так не старался, как князь Афанасий Иванович Вяземский. И подарки дорогие присылал он к ней, и в церквях становился супротив нее, и на бешеном коне мимо ворот скакал, и в кулачном бою ходил один на стену. Не было удачи Афанасью Ивановичу! Свахи приносили ему назад его подарки, а при встрече с ним Елена отворачивалась. Оттого ли она отворачивалась, что не нравился ей Афанасий Иванович, или в сердце девичьем была уже другая зазнобушка, только как ни бился князь Вяземский, а все получал отказы. Наконец осерчал Афанасий Иванович и пошел бить челом в своей неудаче царю Ивану Васильевичу. Царь обещал сам заслать свях к Елене Дмитриевне. Узнав о том, Елена залилась слезами. Пошла с мамкою в церковь, стала на колени перед божьею матерью, плачет и кладет земные поклоны.

В церкви народу не было; но когда встала Елена и оглянулась, за нею стоял боярин Морозов в бархатном зеленом кафтане, в парчовом терлике нараспашку.

– О чем ты плачешь, Елена Дмитриевна? – спросил Морозов.

Узнав боярина, Елена обрадовалась.

Он был когда-то в дружбе с ее родителями, да и теперь навещал ее и любил как родную. Елена его почитала как бы отца и поверяла ему все свои мысли; одной лишь не поверила; одну лишь схоронила от боярина; схоронила себе на горе, ему на погибель!

И теперь, на вопрос Морозова, она не сказала ему той заветной мысли, а сказала лишь, что я-де плачу о том, что приедут царские свахи, приневолят меня за Вяземского!

– Елена Дмитриевна, – сказал боярин, – полно, вправду ли не люб тебе Вяземский? Подумай хорошенько. Знаю, доселе он был тебе не по сердцу; да ведь у тебя, я чаю, никого еще нет на мысли, а до той поры сердце девичье – воск: стерпится, слюбится?

– Никогда, – отвечала Елена, – никогда не полюблю его. Скорей сойду в могилу!

Боярин посмотрел на нее с участием.

– Елена Дмитриевна, – сказал он, помолчав, – есть средство спасти тебя. Послушай. Я стар и сед, но люблю тебя как дочь свою. Поразмысли, Елена, согласна ль ты выйти за меня, старика?

– Согласна! – вскричала радостно Елена и повалилась Морозову в ноги. Тронуло боярина нежданное слово, обрадовался он восторгу Елены, не догадался, старый, что то был восторг утопающего, который хватается за куст терновый.

Ласково поднял он Елену и поцеловал в чело.

– Дитятко, – сказал он, – целуй же мне крест, что не обесчестишь ты седой головы моей! Клянись здесь, пред спасителем!

– Клянусь, клянусь! – прошептала Елена.

Боярин велел позвать священника, и вскоре совершился обряд обручения; когда же явились к Елене царские свахи, она уже была невестою Дружины Андреевича Морозова.

Не по любви вышла Елена за Морозова; но она целовала крест быть ему верною и твердо решила сдержать свою клятву, не погрешить против господина своего ни словом, ни мыслию.

И зачем бы не любить ей Дружину Андреевича? Правда, не молод был боярин; но господь благословил его и здоровьем, и дородством, и славою ратною, и волею твердою, и деревнями, и селами, и широкими угодьями за Москвой-рекой, и кладовыми, полными золота, парчи и мехов дорогих. Лишь одним не благословил господь Дружину Андреевича: не благословил его милостью царскою. Как узнал Иван Васильевич, что опоздали его свахи, опалился на Морозова, повершил наказать боярина; велел позвать

его ко столу своему и посадил не только ниже Вяземского, но и ниже Годунова, Бориса Федоровича, еще не вошедшего в честь и не имевшего никакого сана.

Не снес боярин такого бесчестия; встал из-за стола: невместно-де Морозову быть меньше Годунова! Тогда опалился царь горшею злобою и выдал Морозова головою Борису Федоровичу. Понес боярин ко врагу повинную голову, но обругал Годунова жестоко и назвал щенком.

И, узнав о том, царь вошел в ярость великую, приказал Морозову отойти от очей своих и отпустить седые волосы, доколе не сыметя с него опала. И удалился от двора боярин; и ходит он теперь в смиренной одежде, с бородою нечесаною, падают седые волосы на крутое чело. Грустно боярину не видать очей государевых, но не опозорил он своего рода, не сел ниже Годунова!

Дом Морозова был чаша полная. Слуги боялись и любили боярина. Всяк, кто входил к нему, был принимаем с радушием. И свои и чужие хвалились его ласкою; всех дарил он и словами приветными, и одежей богатою, и советами мудрыми. Но никого так не ласкал, никого так не дарил он, как свою молодую жену, Елену Дмитриевну. И жена отвечала за ласку ласкою, и каждое утро, и каждый вечер долго стояла на коленях в своей образной и усердно молилась за его здравие.

Виновата ли была Елена Дмитриевна, что среди приветливых речей Дружины Андреевича, среди теплой молитвы перед иконами внезапно представлялся воображению ее молодой витязь, летящий на коне с поднятым шестопером, и перед ним бегущие в беспорядке литовские полки?

Виновата ли была Елена Дмитриевна, что образ этого витязя преследовал ее везде, и дома, и в церкви, и днем, и ночью, и с упреком говорил ей: «Елена! Ты не сдержала своего слова, ты не дождалась моего возврата, ты обманула меня!...»

Тысяча пятьсот шестьдесят пятого года, июня двадцать четвертого, в день Ивана Купалы все колокола московские раскатались с самого утра и звонили без умолку. Все церкви были полны. По окончании обедни народ рассыпался по улицам. Молодые и старые, бедные и богатые несли домой зеленые ветки, цветы, березки, украшенные лентами. Все было пестро, живо и весело. Однако к полуденной поре улицы стали пустеть. Мало-помалу народ начал расходиться, и вскоре на Москве нельзя было бы встретить ни одного человека. Воцарилась мертвая тишина. Православные покоились в своих опочивальнях, и не было никого, кто бы гневил бога, гуляя по улицам, ибо бог и человеку, и всякой твари велел покоиться в полуденную

пору; а грешно идти против воли божией, разве уж принудит неотложное дело.

Итак, все спали; Москва казалась необитаемым городом. Только на Балчуге, в недавно выстроенном кружечном дворе, или кабаке слышны были крики, ссоры и песни. Там, несмотря на полдень, пировали ратники, почти все молодые, в богатых нарядах. Они расположились внутри дома, и на дворе, и на улице. Все были пьяны; иной, лежа на голой земле, проливал на платье чарку вина, другой силился хриплым голосом подтягивать товарищам, но издавал лишь глухие, невнятные звуки. Оседланные кони стояли у ворот. К каждому седлу привязана была метла и собачья голова.

В это время два всадника показались на улице. Один из них, в кармазинном кафтане с золотыми кистями и в белой парчовой шапке, из-под которой вились густые русые кудри, обратился к другому всаднику.

– Михеич, – сказал он, – видишь ты этих пьяных людей?

– Вижу, боярин, тетка их подкурятина! Вишь, бражники, как расходились!

– А видишь ты, что у лошадей за седлами?

– Вижу: метлы да песьи морды, как у того разбойника. Стало, и в самом деле царские люди, коль на Москве гуляют! Наделали ж мы дела, боярин, наварили каши!

Серебряный нахмурился.

– Поди, спроси у них, где живет боярин Морозов!

– Эй, добрые люди, господа честные! – закричал Михеич, подъезжая к толпе, – где живет боярин Дружина Андреич Морозов?

– А на что тебе знать, где эта собака живет?

– У моего боярина, князя Серебряного, есть грамота к Морозову от воеводы князя Пронского, из большого полку.

– Давай сюда грамоту!

– Что ты, что ты, тетка твоя под... что ты? В уме ли? Как дать тебе князеву грамоту?

– Давай грамоту, старый сыч, давай ее! Посмотрим, уж не затеял ли этот Морозов измены, уж не хочет ли известить государя!

– Ах ты мошенник! – вскричал Михеич, забывая осторожность, с которою начал было говорить, – да разве мой господин знается с изменниками!

– А, так ты еще ругаться! Долой его с лошади, ребята, в плети его!

Тут сам Серебряный подскакал к опричникам.

– Назад! – закричал он так грозно, что они невольно остановились.

– Если кто из вас, – продолжал князь, – хоть пальцем тронет этого

человека, я тому голову разрублю, а остальные будут отвечать государю!

Опричники смутились; но новые товарищи подошли из соседних улиц и обступили князя. Дерзкие слова посыпались из толпы; многие вынули сабли, и несдобровать бы Никите Романовичу, если бы в это время не послышался вблизи голос, поющий псалом, и не остановил опричников как будто волшебством. Все оглянулись в сторону, откуда раздавался голос. По улице шел человек лет сорока, в одной полотняной рубахе. На груди его звенели железные кресты и вериги, а в руках были деревянные четки. Бледное лицо его выражало необыкновенную доброту, на устах, осененных реденькою бородой, играла улыбка, но глаза глядели мутно и неопределенно.

Увидев Серебряного, он прервал свое пение, подошел поспешно к нему и посмотрел ему прямо в лицо.

– Ты, ты! – сказал он, как будто удивляясь, – зачем ты здесь, между ними?

И, не дожидаясь ответа, он начал петь: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых!»

Опричники посторонились с видом почтения, но он, не обращая на них внимания, опять стал смотреть в глаза Серебряному.

– Микитка, Микитка! – сказал он, качая головой, – куда ты заехал?

Серебряный никогда не видал этого человека и удивился, что он называет его по имени.

– Разве ты знаешь меня? – спросил он.

Блаженный засмеялся.

– Ты мне брат! – отвечал он, – я тотчас узнал тебя. Ты такой же блаженный, как и я. И ума-то у тебя не боле моего, а то бы ты сюда не приехал. Я все твое сердце вижу. У тебя там чисто, чисто, одна голая правда; мы с тобой оба юродивые! А эти, – продолжал он, указывая на вооруженную толпу, – эти нам не родня! У!

– Вася, – сказал один из опричников, – не хочешь ли чего? Не надо ль тебе денег?

– Нет, нет, нет! – отвечал блаженный, – от тебя ничего не хочу! Вася ничего не возьмет от тебя, а подай Микитке, чего он просит!

– Божий человек, – сказал Серебряный, – я спрашивал, где живет боярин Морозов?

– Дружинка-то? Этот наш! Этот праведник! Только голова у него непоклонная! у, какая непоклонная! А скоро поклонится, скоро поклонится, да уж и не подыметя!

– Где он живет? – повторил ласково Серебряный.

– Не скажу! – ответил блаженный, как будто рассердившись, – не скажу, пусть другие скажут. Не хочу посылать тебя на недоброе дело!

И он поспешно удалился, затянув опять свой прерванный псалом.

Не понимая его слов и не тратя времени на догадки, Серебряный снова обратился к опричникам.

– Что ж, – спросил он, – скажете ли вы наконец, как найти дом Морозова?

– Ступай все прямо, – отвечал грубо один из них. – Там, как поворишишь налево, там тебе и будет гнездо старого ворона.

По мере того как князь удалялся, опричники, усмирённые появлением юродивого, опять начинали буяннить.

– Эй! – закричал один, – отдай Морозову поклон от нас да скажи, чтобы готовился скоро на виселицу; больно зажился!

– Да и на себя припаси веревку! – крикнул вдогонку другой.

Но князь не обратил внимания на их ругательства.

«Что хотел сказать мне блаженный? – думал он, потупя голову. – Зачем не указал он мне дом Морозова, да еще прибавил, что не хочет посылать меня на недоброе дело?»

Продолжая ехать далее, князь и Михеич встретили еще много опричников. Иные были уже пьяны, другие только шли в кабаки. Все смотрели нагло и дерзко, а некоторые даже делали вслух такие грубые замечания насчет всадников, что легко можно было видеть, сколь они привыкли к безнаказанности.

## ГЛАВА 5. Встреча

Проезжая верхом по берегу Москвы-реки, можно было поверх частокола видеть весь сад Морозова.

Цветущие липы осеняли светлый пруд, доставлявший боярину в постные дни обильную пищу. Далее зеленели яблони, вишни и сливы. В некошеной траве пролегали узенькие дорожки. День был жаркий. Над алыми цветами пахучего шиповника кружились золотые жуки; в липах жужжали пчелы; в траве трещали кузнечики; из-за кустов красной смородины большие подсолнечники подымали широкие головы и, казалось, нежились на полуденном солнце.

Боярин Морозов уже с час, как отдыхал в своей опочивальне. Елена с сенными девушками сидела под липами на дерновой скамье, у самого частокола. На ней был голубой аксамитный летник с яхонтовыми пуговицами. Широкие кисейные рукава, собранные в мелкие складки, перехватывались повыше локтя алмазными запястьями, или зарукавниками. Такие же серьги висели по самые плечи; голову покрывал кокошник с жемчужными наклонами, а сафьянные сапожки блестели золотой нашивкой.

Елена казалась весела. Она смеялась и шутила с девушками.

– Боярыня, – сказала одна из них, – примерь еще вот эти запястья, они повиднее.

– Будет с меня примерять, девушки, – отвечала ласково Елена, – вот уж битый час вы меня наряжаете да укручиваете, будет с меня!

– Вот еще только монисто надень! Как наденешь монисто, будешь, право слово, ни дать ни взять, святая икона в окладе!

– Полно, Пашенька, стыдно грех такой говорить!

– Ну, коли не хочешь наряжаться, боярыня, так не поиграть ли нам в горелки или в камешки? Не хочешь ли рыбку покормить или на качелях покачаться? Или уж не спеть ли тебе чего?

– Спой мне, Пашенька, спой мне ту песню, что ты намедни пела, как вы ягоды собирали!

– И, боярыня, лапушка ты моя, что ж в той песне веселого! То грустная песня, не праздничная.

– Нужды нет; мне хочется ее послушать, спой мне, Пашенька!

– Изволь, боярыня, коли твоя такая воля, спою; только ты после не пеняй на меня, если неравно тебе сгрустнется! Нуте ж, подруженьки,



подтягивайте!

Девушки уселись в кружок, и Пашенька затянула жалобным голосом:

Ах, кабы на цветы да не морозы,  
И зимой бы цветы расцветали;  
Ах, кабы на меня да не кручина,  
Ни о чем бы я не тужила,  
Не сидела б я, подпершись,  
Не глядела бы я во чисто поле...

...

Я по сениям шла, по новым шла,  
Подняла шубку соболиную,  
Чтоб моя шубка не прошумела,  
Чтоб мои пуговики не прозвякнули,  
Не услышал бы свекор-батюшка,  
Не сказал бы своему сыну,  
Своему сыну, моему мужу!

Пашенька посмотрела на боярыню. Две слезы катились из очей ее.

— Ах я глупенькая! — сказала Пашенька, — чего я наделала. Вот на свою голову послушалась боярыни! Да и можно ли, боярыня, на такие песни набиваться!

— Охота ж тебе и знать их! — подхватила Дуняша, быстроглазая девушка с черными бровями. — Вот я так спою песню, не твоей чета, смотри, коли не развеселю боярыню!

И, вскочив на ноги, Дуняша уперла одну руку в бок, другую подняла кверху, перегнулась на сторону и, плавно подвигаясь, запела:

Пантелей-государь ходит по двору,  
Кузмич гуляет по широкому,  
Кунья на нем шуба до земли,  
Соболья на нем шапка до верху,  
Божья на нем милость до веку.  
Сужена-то смотрит из-под пологу,  
Бояре-то смотрят из города,

Боярыни-то смотрят из терема.  
Бояре-то молвят: чей-то такой?  
Боярыни молвят: чей-то господин?  
А сужена молвит: мой дорогой!

Кончила Дуняша и сама засмеялась. Но Елене стало еще грустнее. Она крепилась, крепилась, закрыла лицо руками и зарыдала.

– Вот тебе и песня! – сказала Пашенька. – Что нам теперь делать! Увидит Дружина Андреич заплаканные глазки боярыни, на нас же осердится: не умеете вы, дескать, глупые, и занять ее!

– Девушки, душечки! – сказала вдруг Елена, бросаясь на шею к Пашеньке, – пособите порыдать, помогите поплакать!

– Да что с тобой случилось, боярыня? С чего ты вдруг раскручинилась?

– Не вдруг, девушки! Мне с самого утра грустно. Как начали к заутрене звонить да увидела я из светлицы, как народ божий весело спешит в церковь, так, девушки, мне стало тяжело... и теперь еще сердце надывается... а тут еще день выпал такой светлый, такой солнечный, да еще все эти уборы, что вы на меня надели... скиньте с меня запястья, девушки, скиньте кокошник, заплетите мне косу по-вашему, по-девичьи!

– Что ты, боярыня, грех какой! Заплести тебе косу по-девичьи! Боже сохрани! Да неравно узнает Дружина Андреич!

– Не узнает, девушки! Я опять кокошник надену!

– Нет, боярыня, грешно! Власть твоя, а мы этого на душу не возьмем!

«Неужели, – подумала Елена, – грешно и вспоминать о прошлом!»

– Так и быть, – сказала она, – не сниму кокошник, только подойди сюда, моя Пашенька, я тебе заплету косу, как, бывало, мне заплетали!

Пашенька, краснея от удовольствия, стала на колени перед боярыней. Елена распустила ей волосы, разделила их на равные делянки и начала заплетать широкую русскую косу в девяносто прядей. Много требовалось на то уменья. Надо было плести как можно слабее, чтобы коса, подобно решетке, закрывала весь затылок и потом падала вдоль спины, суживаясь не приметно. Елена прилежно принялась за дело. Перекладывая пряди, она искусно перевивала их жемчужными нитками.

Наконец коса поспела. Боярыня ввязала в кончик треугольный косник и насадила на него дорогие перстни.

– Готово, Пашенька, – сказала она, радуясь своей работе, – встань-ка да пройдишь передо мною. Ну, смотрите, девушки, не правда ли, эта коса красивее кокошника? – Все в свою пору, боярыня, – отвечали, смеясь,

девушки, – а вот Дуняша не прочь бы и от кокошника!

– Полноте вы, пересмешницы! – отвечала Дуняша. – Мне бы хотя век косы не расплести! А вот знаю я таких, что глаз не сводят с боярского ключника!

Девушки залились звонким смехом, а иные смешались и покраснели. Видно, ключник был в самом деле молодец.

– Нагнись, Пашенька, – сказала боярыня, – я тебе повяжу еще ленту с поднizaми... Девушки, да ведь сегодня Иван Купала, сегодня и русалки косы заплетают!

– Не сегодня, боярыня, а в семик и троицын день заплетают русалки косы. На Ивана Купала они бегают с распущенными волосами и отманивают людей от папоротника, чтобы кто не сорвал его цвета.

– Бог с ними, – сказала Пашенька, – мало ли что бывает в Иванов день, не приведи бог увидеть!

– А ты боишься русалок, Пашенька?

– Как их не бояться! Сегодня и в лес ходить страшно, все равно что в троицын день или на русальную неделю. Девушку зацекотят, молодца любовью иссушат!

– Говоришь, а сама не знаешь! – перебила ее другая девушка. – Какие под Москвой русалки! Здесь их нет и заводу. Вот на Украине, там другое дело, там русалок гибель. Сказывают, не одного доброго молодца с ума свели. Стоит только раз увидеть русалку, так до смерти все по ней тосковать будешь; коли женатый – бросишь жену и детей, коли холостой – забудешь свою ладушку!

Елена задумалась.

– Девушки, – сказала она, помолчав, – что, в Литве есть русалки?

– Там-то их самая родина; что на Украине, что в Литве – то все одно...

Елена вздохнула. В эту минуту послышался конский топот, и белая шапка Серебряного показалась над частоколом.

Увидя мужчину, Елена хотела скрыться; но, бросив еще взгляд на всадника, она вдруг стала как вкопанная. Князь также остановил коня. Он не верил глазам своим. Тысяча мыслей в одно мгновение втеснялись в его голову, одна другой противореча. Он видел пред собой Елену, дочь Плещеева-Очина, ту самую, которую он любил и которая клялась ему в любви пять лет тому назад. Но каким случаем она попала в сад к боярину Морозову?

Тут только Никита Романович заметил на голове Елены жемчужный кокошник и побледнел.

Она была замужем!

«Брежу ли я? – подумал он, вперив в нее неподвижный, как будто испуганный взгляд, – во сне ли это вижу?»

– Девушки! – упрашивала Елена, – отойдите, я позову вас, отойдите немного, оставьте меня одну! Боже мой, боже мой! Пресвятая богородица! Что мне делать! Что сказать мне!

Серебряный между тем оправился.

– Елена Дмитриевна, – произнес он решительно, – отвечай мне единым словом: ты замужем? Это не обман? Не шутка? Ты точно замужем?

Елена в отчаянье искала слов и не находила их.

– Отвечай мне, Елена Дмитриевна, не морочь меня долее, теперь не святки!

– Выслушай меня, Никита Романович! – прошептала Елена.

Князь задрожал.

– Нечего мне слушать, – сказал он, – я все понял. Не трать речей понапрасну, прости, боярыня!

И он рванул коня назад.

– Никита Романыч! – вскричала Елена, – молю тебя Христом и пречистою его матерью, выслушай меня! Убей меня после, но сперва выслушай!

Она не в силах была продолжать; голос ее замер, колени опустились на дерновую скамью; она протянула умоляющие руки к Серебряному.

Судорога пробежала по всем членам князя, но жалость зашевелилась в его сердце. Он остановился.

Елена, задыхаясь от слез, стала рассказывать, как преследовал ее Вяземский, как наконец царь взялся ее сосватать за своего любимца и как она в отчаянии отдалась старому Морозову. Прерывая рассказ свой рыданиями, она винилась в невольной измене, говорила, что должна бы скорей наложить на себя руки, чем выйти за другого, и проклинала свое малодушие.

– Ты не можешь меня любить, князь, – говорила она, – не написано тебе любить меня! Но обещай мне, что не проклянешь меня; скажи, что прощаешь меня в великой вине моей.

Князь слушал, нахмурия брови, но не отвечал ничего.

– Никита Романыч, – прошептала Елена боязливо, – ради Христа, вымолви хоть словечко!

И она устремила на него глаза, полные страха и ожидания, и вся душа ее обратилась в красноречивый умоляющий взор.

Сильная борьба происходила в Серебряном.

– Боярыня, – сказал он наконец, и голос его дрожал, – видно, на то

была воля божия... и ты не так виновата... да, ты не виновата... не за что прощать тебя, Елена Дмитриевна, я не клянусь тебе, – нет – видит бог, не клянусь – видит бог, я... я по-прежнему люблю тебя! Слова эти вырвались у князя сами собою.

Елена вскрикнула, зарыдала и кинулась к частоколу.

В тот же миг князь поднялся на стременах и схватился за колья ограды. Елена с другой стороны уже стояла на скамье. Без размышления, без самосознания, они бросились друг к другу, и уста их соединились...

Поцеловала Елена Дмитриевна молодого боярина! Обманула жена лукавая мужа старого! Забыла клятву, что дала перед господом! Как покажется она теперь Дружине Андреичу? Догадается он обо всем по глазам ее. И не таков он муж, чтоб простил ее! Не дорога жизнь боярину, дорога ему честь его! Убьет он, старый, убьет и жену, и Никиту Романыча!

## ГЛАВА 6. Прием

Морозов знал князя еще ребенком, но они давно потеряли друг друга из виду. Когда Серебряный отправился в Литву, Морозов воеводствовал где-то далеко; они не видались более десяти лет, но Дружина Андреевич мало переменился, был бодр по-прежнему, и князь с первого взгляда везде бы узнал его, ибо старый боярин принадлежал к числу тех людей, чья личность глубоко врежется в памяти. Один рост и дородность его уже привлекали внимание. Он был целою головой выше Серебряного. Темно-русые волосы с сильною проседью падали в беспорядке на умный лоб его, рассеченный несколькими шрамами. Окладистая борода, почти совсем седая, покрывала половину груди. Из-под темных навислых бровей сверкал пронизательный взгляд, а вокруг уст играла приветливая улыбка, сквозь которую просвечивало то, что в просторечии называется: себе на уме. В его приемах, в осанистой поступи было что-то львиное, какая-то особенно спокойная важность, достоинство, неторопливость и уверенность в самом себе. Глядя на него, всякий сказал бы: хорошо быть в ладу с этим человеком! И вместе с тем всякий подумал бы: нехорошо с ним поспорить! Действительно, всматриваясь в черты Морозова, легко было догадаться, что спокойное лицо его может в минуту гнева сделаться страшным, но приветливая улыбка и открытое, неподдельное радушие скоро изглаживали это впечатление.

– Здравствуй, князь, здравствуй, гость дорогой! Добро пожаловать! – сказал Морозов, вводя Серебряного в большую брусную избу с изразцовою лежанкою, с длинными дубовыми лавками, с драгоценным оружием на стенах и со множеством золотой и серебряной посуды, красиво установленной на широких полках. – Здравствуй, здравствуй, князь! Вот какого гостя мне бог подарил! А ведь помню я тебя, Никитушка, еще маленького! Ох, удал же ты был, нечего сказать! Как, бывало, начнут ребята в городки играть, беда той стороне, что супротив тебя! Разлетишься, словно сокол ясный, да как расходится в тебе кровь молодая, так, бывало, разозлишься, словно медвежонок, прости, Никита Романыч, грубое слово! Так и начнешь валять, кого направо, кого налево, смотреть даже весело! Ну да и вышел же молодец из тебя, князь! Слыхал я про дела твои в Литовской земле! Катал же ты их, супостатов, как прежде ребят катал!

И Морозов весело улыбался, и львиное лицо его сияло радушием.

– А помнишь ли, Никитушка, – продолжал он, обняв князя одною

рукой за плеча, – помнишь ли, как ты ни в какой игре обмана не терпел? Бороться ли с кем начнешь али на кулачках биться, скорей дашь себя на землю свалить, чем подножку подставишь или что против уговора сделаешь. Все, бывало, снесешь, а уж лукавства ни себе, ни другим не позволишь!

Князю сделалось неловко в присутствии Морозова.

– Боярин, – сказал он, – вот грамота к тебе от князя Пронского.

– Спасибо, князь. После прочту; время терпит; теперь дай угостить тебя! Да где же Елена Дмитриевна? Эй, кто там! Скажите жене, что у нас гость дорогой, князь Никита Романыч Серебряный, чтобы сошла попотчевать!

Тихо и плавно вошла Елена с подносом в руках. На подносе были кубки с разными винами. Елена низко поклонилась Серебряному, как будто в первый раз его видела! Она была как смерть бледна.

– Князь, – сказал Морозов, – это моя хозяйка, Елена Дмитриевна! Люби и жалуй ее. Ведь ты, Никита Романыч, нам, почитай, родной. Твой отец и я, мы были словно братья, так и жена моя тебе не чужая. Кланяйся, Елена, проси боярина! Кушай, князь, не брезгай нашей хлебом-солью! Чем богаты, тем и рады! Вот романея, вот венгерское, вот мед малиновый, сама хозяйка на ягодах сытила!

Морозов низко кланялся.

Князь отвечал обоим поклонами и осушил кубок. Елена не взглянула на Серебряного. Длинные ресницы ее были опущены. Она дрожала, и кубки на подносе звенели один о другой.

– Что с тобой, Елена? – сказал вдруг Морозов, – уж не больна ли ты? Лицо твое словно снег побелело! Оленушка, – прибавил он шепотом, – уж не опять ли проезжал Вяземский? Так! должно быть, этот окаянный проезжал мимо саду! Не кручинься, Елена. В том нет твоей вины. Без меня не ходи лучше в сад; да утешься, мое дитяtko, я не дам тебя никому в обиду! Улыбнись скорей, будь веселее, а то гость заметит! Извини, Никита Романыч, извини, захлопотался, говорил вот жене, чтобы велела тебе кушать подать поскорее. Ведь ты не обедал, князь.

– Благодарю, боярин, обедал.

– Нужды нет, Никита Романыч, еще раз пообедаешь! Ступай, Елена, ступай, похлопочи! А ты, боярин, закуси чем бог послал, не обидь старика опального! И без того мне горя довольно!

Морозов указал на свои длинные волосы.

– Вижу, боярин, вижу и очам веры нейму! Ты под опалою! За что? Прости вопрос нескромный.

Морозов вздохнул.

– За то, что держусь старого обычая, берегу честь боярскую да не кланяюсь новым людям!

При этих словах лицо его омрачилось и глаза приняли суровое выражение.

Он рассказал о ссоре своей с Годуновым, горько жалуясь на несправедливость царя.

– Многое, князь, многое стало на Москве не так, как было, с тех пор как учинил государь на Руси опричнину!

– Да что это за опричнина, боярин? Встречал я опричников, только в толк не возьму!

– Прогневили мы, видно, бога, Никита Романыч; помрачил он светлые царские очи! Как возложили клеветники измену на Сильвестра да на Адашева, как прогнал их от себя царь, прошли наши красные дни! Зачал вдруг Иван Васильич на нас мнение держать, на нас, верных слуг своих! Зачал толковать про измены, про заговоры, чего и в мысль человеку не вместится! А новые-то люди обрадовались, да и давай ему шептать на бояр, кто по-насердке, кто чая себе милости, и ко всем стал он приклонять слух свой. У кого была какая вражда, тот и давай доводить на недруга, будто он слова про царя говорил, будто хана или короля подымает. И в том они, окаянные, не бояся Страшного суда божия, и крест накриве целовали, и руки в письмах лживили! Много безвинных людей вожено в темницы, Никита Романыч, и с очных ставок пытано. Кто только хотел, тот и сказывал за собою государево слово. Прежде бывало, коли кто донес на тебя, тот и очищай сам свою улику; а теперь какая у него ни будь рознь в словах, берут тебя и пытаются по одной язычной молвке! Трудное настало время, Никита Романыч! Такой ужас от царя, какого искони еще не видано! После пыток пошли казни. И кого же казнили!.. Но ты, князь, уже, может, слышал про это?

– Слыхал, боярин, но глухо. Не скоро вести доходят до Литвы. Впрочем, чему дивиться. Царь волен казнить своих злодеев!

– Кто против этого, князь. На то он царь, чтобы карать и миловать. Только то больно, что не злодеев казнили, а всё верных слуг государевых: окольного Адашева (Алексеева брата) с малолетним сыном; трех Сатиных; Ивана Шишкина с женою да с детьми; да еще многих других безвинных.

Негодование выразилось на лице Серебряного.

– Боярин, в этом, знать, не царь виновен, а наушники его!

– Ох, князь! Горько вымолвить, страшно подумать! Не по одним



наветам наушническим стал царь проливать кровь неповинную. Вот хоть бы Басманов, новый кравчий царский, бил челом государю на князя Оболенского-Овчину в каком-то непригожем слове. Что ж сделал царь? За обедом своею рукою вонзил князю нож в сердце!

– Боярин! – вскричал Серебряный, вскакивая с места, – если бы мне кто другой сказал это, я назвал бы его клеветником. Я бы сам наложил руки на него!

– Никита Романыч, стар я клеветать. И на кого же? На государя моего!

– Прости, боярин. Но что же думать о такой перемене? Уж не обошли ли царя?

– Должно быть, князь. Но садись, слушай далее. В другой раз Иван Васильевич, упившись, начал (и подумать срамно!) с своими любимцами в личинах плясать. Тут был боярин князь Михаило Репнин. Он заплакал с горести. Царь давай и на него личину надевать. «Нет! – сказал Репнин, – не бывать тому, чтобы я посрамил сан свой боярский!» – и растоптал личину ногами. Дней пять спустя убит он по царскому указу во храме божием!

– Боярин! Это бог нас карает!

– Да будет же над нами его святая воля, князь. Но слушай далее. Казням не было конца. Что день, то кровь текла и на Лобном месте, и в тюрьмах, и в монастырях. Что день, то хватали боярских холопей и возили в застенки. Многие винулись с огня и говорили со страху на бояр своих. Те же, которые, не хотя отдать души во дно адово, очищали бояр, тех самих предавали смерти. Многие потерпели в правде, многие прияли венец мученический, Никита Романыч! Временем царь как будто приходил в себя, и каялся, и молился, и плакал, и сам назывался смертным убийцею и сыроядцем. Рассылал вклады в разные монастыри и приказывал панихиды по убитым. Каялся Иван Васильевич, но не долго, и что же придумал? Слушай, князь. Просыпаюсь я раз утром, вижу великое смятенье. Рассыпался народ по улицам, кто бежит к Кремлю, кто от Кремля. Все голоса: «Уезжает государь, неведомо куда!» Так меня холодом и обдало! Надеваю платье, сажусь на конь; со всех мест бояре спешат ко Кремлю, кто верхом, кто сам о себе, словно простой человек, даже никто о чести своей не думает! Добрались до Иверских ворот, видим, ратники выезжают; народ перед ними так и раздается. За ратниками сани, в них царь с царицею и с царевичем. За царскими санями множество саней, а в них все пожитки, вся казна, весь обиход царский; за санями окольные, и дворяне, и приказные, и воинские, и всяких чинов люди – все выезжают из Кремля. Бросились мы было к царским саням, да не допустили нас ратники, говорят: не велел государь! И потянулся поезд вдоль по Москве, и выехал

за посадки.

Воротились мы в дома и долго ждали, не передумает ли царь, не вернется ли? Проходит неделя, получает высокопреосвященный грамоту; пишет государь, что я-де от великой жалости сердца, не хотя ваших изменных дел терпеть, оставляю мои государства и еду-де куда бог укажет путь мне! Как пронеслася эта весть, зачался вопль на Москве: «Бросил нас батюшка-царь! Кто теперь будет над нами государить!»

Нечего правды таить, грозен был Иван Васильевич, да ведь сам бог поставил его над нами, и, видно, по божьей воле, для очищения грехов наших, карал он нас. Собралися мы в Думе и порешили ехать все с своими головами за государем, бить ему челом и плакаться. Узнали мы, что остановился царь в Александровой слободе, а будет та слобода отсюда за восемьдесят с лишком верст. Помолившись богу, поехали. Как завидели издали Слободу, остановились; еще раз помолились: страшно стало; не то страшно, что прикажет царь смерти предать, а то, что не допустит пред свои очи. Только ничего не случилось. Допустил нас царь. Как вошли мы, так, веришь ли, боярин, не узнали Ивана Васильича! И лицо-то будто не его; и волосы, и борода, почитай, совсем вылезли. Что с ним сталось, и царь, и не царь! Долго говорил он с нами; корил нас в небывалых изменах, высчитывал нам наши вины, которых мы не ведали за собою, и наконец сказал, что я-де только по упросу богомольцев моих, епископов, беру паки мои государства, но и то на уговоре. Пожаловал нас к руке и отпустил.

– А какой же уговор он прочил себе? – спросил Серебряный.

– А вот увидишь, князь; слушай: прошло недели три, прибыл Иван Васильич на Москву. Настала радость великая; такая радость, что и в светлое Христово воскресенье не бывает такой. Вот созвал он в Думу и нас и духовенство. А когда собралися мы, объявил нам, что я-де с тем только принимаю государство, чтобы казнить моих злодеев, класть мою опалу на изменников, имать их остатки и животы, и чтобы ни от митрополита, ни от властей не было мне бездельной доуки о милости. Беру-де себе, говорит, опасную стражу и беру на свой особый обиход разные города и пригородки и на самой Москве разные улицы. И те города и улицы и свою особную стражу называю, говорит, опричниной, а все достальное – то земщина. А боярам-де и митрополиту со властями в мой домовый особый обиход не вступаться. И на том, говорит, беру мои государства! С этого дня начал он новых людей набирать, да все таких, чтобы не были знатного роду, да чтобы целовали крест не вести хлеба-соли с боярами. Отдал им всю землю, все дома и все добро, что отрезал на свой обиход; а старых вотчинников, тысяч примерно с двенадцать, выгнал из опричнины, словно

животину. Право, Никита Романыч, ведь своими глазами видел, а доселе не верится! Ездят теперь по святой Руси их дьявольские, кровадные полки с метлами да с песьими головами; топчут правду, выметаю не измену, но честь русскую; грызут не врагов государевых, а верных слуг его, и нет на них нигде ни суда, ни расправы!

– Да зачем же вы согласились на этот уговор? – заметил Серебряный.

– Что ты, князь? Разве царю можно указывать? Разве он не от бога?

– Вестимо, от бога. Да ведь он сам же спрашивал вас? Зачем вы не сказали ему, что не хотите опричнины?

– А кабы он опять уехал? Что бы тогда? Без государя было оставаться, что ли? А народ что бы сказал?

Серебряный задумался.

– Так, – проговорил он, немного помолчав, – нельзя было быть без государя. Только теперь-то чего вы ждете? Зачем не скажете ему, что от опричнины вся земля гибнет? Зачем смотрите на все да молчите?

– Я-то, князь, не молчу, – отвечал Морозов с достоинством. – Я никогда не таил моей мысли; оттого-то я теперь и под опалой. Позови меня царь к себе, я не стану молчать, только он не позовет меня. Наших теперь уже нет у него в приближении. Посмотри-ка, кем окружил он себя? Какие древние роды около него? Нет древних родов! Всё подлые страдники, которых отцы нашим отцам в холопство б не пригожались! Бери хоть любого на выдержку: Басмановы, отец и сын, уж не знаю, который будет гнуснее; Малюта Скуратов, невесть мясник, невесть зверь какой, вечно кровью обрызган; Васька Грязной, – ему всякое студное дело нипочем! Борис Годунов, – этот и отца и мать продаст, да еще и детей даст в придачу, лишь бы повыше взобраться; всадит тебе нож в горло, да еще и поклонится. Один только и есть там высокого роду, князь Афанасий Вяземский. Оpozорил он и себя, и нас всех, окаянный! Ну да что про него!

Морозов махнул рукой. Другие мысли заняли старика. Задумался и Серебряный. Задумался он о страшной перемене в царе и забыл на время об отношениях, в которые судьба поставила его к Морозову.

Между тем слуги накрыли на стол.

Несмотря ни на какие отговорки, Дружина Андреевич принудил своего гостя отведать многочисленных блюд: студеной разного роду, жарких, похлебок, кулебяк и буженины. А когда поставили перед ними разные напитки, Морозов налил себе и князю по стопе малвазии, встал из-за стола, откинул назад свои опальные волосы и сказал, подняв высоко стопу:

– Во здравие великого государя нашего, царя Ивана Васильевича!

– Просвети его бог! Открой ему очи! – отвечал Серебряный, осушая

стопу, и оба перекрестились.

Елена не показывалась во время стола и не присутствовала при разговоре бояр.

Многое еще рассказывал Морозов про дела государственные, про нападения крымцев на рязанские земли, расспрашивал Серебряного о литовской войне и горько осуждал Курбского за бегство его к королю. Князь отвечал подробно на все вопросы и наконец рассказал про схватку свою с опричниками в деревне Медведевке, про ссору с ними в Москве и про встречу с юродивым, не решившись, впрочем, упомянуть о темных словах последнего.

Морозов выслушал его с большим вниманием.

– Плохо, князь, – сказал он, почесывая крутой лоб свой, – больно плохо. Что они грабеж в той деревне чинили, тому нечего дивиться: деревня-то, вишь, моя; а которая вотчина опального боярина, ту теперь всякому вольно грабить. Дело знакомое, что можно взять, берут, чего же не поднимут, то огнем палят; рогатый живот насмерть колют. Это теперь их обычай. А юродивого-то я знаю. Он подлинно божий человек. Не тебя одного он при первой встрече по имени назвал; он всякого словно насквозь видит. Его и царь боится. Сколько раз он Ивана Васильевича в глаза уличал. Побольше бы таких святых людей, так, пожалуй, и опричнины-то не было бы! Скажи, князь, – продолжал Морозов, – когда хотел ты здравствовать государю?

– Завтра, чем свет, как выйдет его милость из опочивальни.

– Что ты, князь? Теперь уж смерклось, а тебе с лишком сто верст ехать!

– Как? Разве царь не в Кремле?

– Нет, князь, не в Кремле. Прогневили мы господа, бросил нас государь, воротился в Александрову слободу, живет там с своими поплечниками, не было б им ни дна ни покрывки!

– Коли так, то прости, боярин, надо спешить. Я еще и дома не был. Осмотрюсь немного, а завтра чем свет отправлюсь в Слободу.

– Не езд, князь!

– Отчего, боярин?

– Не снести тебе головы, Никита Романыч.

– На то божья воля, боярин; что будет, то будет!

– Послушай, Никита Романыч, ведь ты меня забыл, а я помню тебя еще маленького. Отец твой покойный жил со мной рука в руку, душа в душу. Умер он, царствие ему небесное; некому остеречь тебя, некому тебе совета подать, а не завидна твоя доля, видит бог, не завидна! Коли поедешь

в Слободу, пропал ты, князь, с головою пропал.

– Что ж, боярин, видно, мне так на роду написано!

– Никитушка, останься, я тебя схороню. Никто тебя не сыщет, холопи мои тебя не выдадут, ты будешь у меня в доме как сын родной!

– Боярин, вспомни, что ты сам говорил про Курбского. Нечестно русскому боярину прятаться от царя своего.

– Никита Романыч, Курбский – изменник. Он ушел ко врагу государеву; а я кто же? Разве я враг государев?

– Прости, боярин, прости необдуманное слово, но чему быть, того не миновать!

– Кабы ты, Никитушка, остался у меня, может, и простыл бы гнев царский, может, мы с высокопреосвященным и уладили б твоё дело, а теперь ты попадешь как смола на уголья!

– Жизнь наша в руке божией, боярин. Непригоже стараться продлить её хитростью боле, чем богу угодно. Спасибо за хлеб-соль, – прибавил Серебряный, вставая, – спасибо за дружбу (при этих словах он невольно смутился), но я поеду. Прости, Дружина Андреич!

Морозов посмотрел на князя с грустным участием, но видно было, что внутри души своей он его одобряет и что сам не поступил бы иначе, если бы был на его месте.

– Да будет же над тобой благословение божие, Никита Романыч! – сказал он, подымаясь со скамьи и обнимая князя, – да умягчит господь сердце царское. Да вернешься ты невредим из Слободы, как отрок из печи пламенной, и да обниму тебя тогда, как теперь обнимаю, от всего сердца, от всей души!

Пословица говорится: пешего до ворот, конного до коня провожают. Князь и боярин расстались на пороге сеней. Было уже темно. Проезжая вдоль частокола, Серебряный увидел в саду белое платье. Сердце его забилося. Он остановил коня. К частоколу подошла Елена.

– Князь, – сказала она шепотом, – я слышала твой разговор с Дружиной Андреичем, ты едешь в Слободу... Боже сохрани тебя, князь, ты едешь на смерть!

– Елена Дмитриевна! Видно, так угодно господу, чтобы приял я смерть от царя. Не на радость вернулся я на родину, не судил мне господь счастья, не мне ты досталась, Елена Дмитриевна! Пусть же надо мной воля божия!

– Князь, они тебя замучат! Мне страшно подумать! Боже мой, ужели жизнь тебе вовсе постыла?

– Пропадай она! – сказал Серебряный и махнул рукой.

– Пресвятая богородица! Коли ты себя не жалеешь, пожалей хоть

других! Пожалей хоть меня, Никита Романыч! Вспомни, как ты любил меня!

Месяц вышел из-за облак. Лицо Елены, ее жемчужный кокошник, ожерелье и алмазные серьги, ее глаза, полные слез, озарились чудесным блеском. Еще плакала Елена, но уже готова была сквозь слезы улыбнуться. Одно слово князя обратило бы ее печаль в беспредельную радость. Она забыла о муже, забыла всю осторожность. Серебряный прочел в ее глазах такую любовь, такую тоску, что невольно поколебался. Счастье было для него навеки потеряно. Елена принадлежала другому, но она любила одного Серебряного. Для чего бы ему не остаться, не отложить поездки в Слободу? Не сам ли Морозов его упрашивал?

Так мыслил князь, и очаровательные картины рисовались в его воображении, но чувство чести, на миг уснувшее, внезапно пробудилось.

«Нет, – подумал он, – да будет мне стыдно, если я хотя мыслию оскорблю друга отца моего! Один бесчестный платит за хлеб-соль обманом, один трус бежит от смерти!»

– Мне нельзя не ехать! – сказал он решительно. – Не могу хорониться один от царя моего, когда лучшие люди гибнут. Прости, Елена!

Слова эти как нож вонзились в сердце боярыни. Она в отчаянии ударилась оземь.

– Расступись же подо мной, мать сыра-земля! – простонала она, – не жилища я на белом свете! Наложу на себя руки, изведу себя отравой! Не переживу тебя, Никита Романыч! Я люблю тебя боле жизни, боле свету божьего, я никого, кроме тебя, не люблю и любить не буду!

Сердце Серебряного надрывалось. Он хотел утешить Елену; но она рыдала все громче. Люди могли ее услышать, подсмотреть князя и донести боярину. Серебряный это понял и, чтобы спасти Елену, решился от нее оторваться.

– Елена, прости! – сказал он, – прости, душа, радость дней моих! Уйми свои слезы, бог милостив, авось мы еще увидимся!

Облака задернули месяц; ветер потряс вершины лип, и благовонным дождем посыпались цветы на князя и на Елену. Закачались старые ветви, будто желая сказать: на кого нам цвести, на кого зеленеть! Пропадет даром добрый молодец, пропадет и его полюбовница!

Оглянувшись последний раз на Елену, Серебряный увидел за нею, в глубине сада, темный человеческий образ. Почудилось ли то князю, или слуга какой проходил по саду, или уж не был ли то сам боярин Дружина Андреевич?

## ГЛАВА 7. Александрова слобода

Дорога от Москвы до Троицкой лавры, а от лавры до Александровой слободы представляла самую живую картину. Беспреданно скакали по ней царские гонцы; толпы людей всех сословий шли пешком на богомолье; отряды опричников спешили взад и вперед; сокольники отправлялись из Слободы в разные деревни за живыми голубями; купцы тащились с товарами, сидя на возах или провожая верхом длинные обозы. Проходили толпы скоморохов с гудками, волынками и балалайками. Они были одеты пестро, вели с собою ручных медведей, пели песни или просили у богатых проезжих.

– Пожалейте, государи, нас, – говорили они на все голоса, – вам господь дал и вотчины, и всякое достояние, а нам указал питаться вашей подачей, так не оставьте нас, скудных людей, государи!

– Отцы наши, батюшки! – пели иные протяжно, сидя у самой дороги, – дай вам господи доброе здоровье! Донеси вас бог до Сергия Троицы!

Другие прибавляли к этим словам разные прибаутки, так что иной проезжий в награду за веселое слово бросал им целый корабленник.

Нередко у скоморохов случались драки с толпами оборванных нищих, которые из городов и монастырей спешили в Слободу поживиться царскою милостыней.

Проходили также слепые гусяры и сказочники, с гусями на плечах и держась один за другого.

Все это шумело, пело, ругалось. Лошади, люди, медведи – ржали, кричали, ревели. Дорога шла густым лесом. Несмотря на ее многолюдность, случалось иногда, что вооруженные разбойники нападали на купцов и обирали их дочиста.

Разбои в окрестностях Москвы особенно умножились с тех пор, как опричники вытеснили целые села хлебопашцев, целые посады мещан. Лишась жилищ и хлеба, люди эти пристали к шайкам станичников, укрепились в засеках и, по множеству своему, сделались не на шутку опасны. Опричники, поймав разбойников, вешали их без милосердия; зато и разбойники не оставались у них в долгу, когда случалось им поймать опричника. Впрочем, не одни разбойники грабили на дорогах. Скоморохи и нищие, застав под вечер плохо оберегаемый обоз, часто избавляли разбойников от хлопот. Купцам было всего хуже. Их грабили и разбойники, и скоморохи, и нищие, и пьяные опричники. Но они утешались

пословицей, что наклад с барышом угол об угол живут, и не переставали ездить в Слободу, говоря: «Бог милостив, авось доедем». И неизвестно, как оно случалось, но только на поверку всегда выходило, что купцы оставались в барышах.

В Троицкой лавре Серебряный исповедался и причастился. То же сделали его холопи. Архимандрит, прощаясь с Никитой Романовичем, благословил его как идущего на верную смерть.

Верстах в трех от Слободы стояла на заставе воинская стража и останавливала проезжих, спрашивая каждого: кто он и зачем едет в *неволю*? Этим прозванием народ, в насмешку, заменил слово «слобода», значившее в прежнее время свободу. Серебряный и холопи его также выдержали подробный допрос о цели их приезда. Потом начальный человек отобрал от них оружие, и четыре опричника сели на конь проводить приезжих. Вскоре показались вдали крашенные главы и причудливые, золоченые крыши царского дворца. Вот что говорит об этом дворце наш историк, по свидетельству чужеземных современников Иоанна.

«В сем грозно увеселительном жилище Иоанн посвящал большую часть времени церковной службе, чтобы непрестанною деятельностью успокоить душу. Он хотел даже обратить дворец в монастырь, а любимцев своих в иноков: выбрал из опричников 300 человек, самых злейших, назвал их братиею, себя игуменом, князя Афанасия Вяземского келарем, Малюту Скуратова параклисиархом; дал им тафьи, или скуфейки, и черные рясы, под коими носили они богатые, золотом блестящие кафтаны с собольею опушкою; сочинил для них устав монашеский и служил примером в исполнении оного. Так описывают сию монастырскую жизнь Иоаннову. В четвертом часу утра он ходил на колокольню с царевичами и Малютою Скуратовым благовестить к заутрене, братья спешили в церковь; кто не являлся, того наказывали осмидневым заключением. Служба продолжалась до шести или семи часов. Царь пел, читал, молился столь ревностно, что на лбу всегда оставались у него знаки крепких земных поклонов. В восемь часов опять собирались к обедне, а в десять садились за братскую трапезу, все кроме Иоанна, который, стоя, читал вслух душеспасительные наставления. Между тем братья ели и пили досыта; всякий день казался праздником: не жалели ни вина, ни меду; остаток трапезы выносили из дворца на площадь для бедных. Игумен, то есть царь, обедал после, беседовал с любимцами о законе, дремал или ехал в темницу пытаться какого-нибудь несчастного. Казалось, что сие ужасное зрелище забавляло его: он возвращался с видом сердечного удовольствия; шутил, говаривал тогда веселее обыкновенного. В восемь часов шли к вечерне; в



десятом Иоанн уходил в спальню, где трое слепых рассказывали ему сказки; он слушал их и засыпал, но ненадолго: в полночь вставал, и день его начинался молитвою! Иногда докладывали ему в церкви о делах государственных; иногда самые жестокие повеления давал Иоанн во время заутрени или обедни. Единообразие сей жизни он прерывал так называемыми объездами, посещал монастыри, и ближние и дальние, осматривал крепости на границе, ловил диких зверей в лесах и пустынях; любил в особенности медвежью травлю; между тем везде и всегда занимался делами: ибо земские бояре, мнимоуполномоченные правители государства, не смели ничего решить без его воли!»

Въехав в Слободу, Серебряный увидел, что дворец, или монастырь, государев отделен от прочих зданий глубоким рвом и валом. Трудно описать великолепие и разнообразие этой обители. Ни одно окно не походило на другое, ни один столб не равнялся с другим узорами или краской. Множество глав венчали здание.

Они теснились одна возле другой, громоздились одна на другую, и сквозили, и пузырились. Золото, серебро, цветные изразцы, как блестящая чешуя, покрывали дворец сверху донизу. Когда солнце его освещало, нельзя было издали догадаться, дворец ли это, или куст цветов исполинских, или то жар-птицы слетелись в густую стаю и распустили на солнце свои огненные перья?

Недалеко от дворца стоял печатный двор, с принадлежащею к нему словолитней, с жилищем наборщиков и с особым помещением для иностранных мастеров, выписанных Иоанном из Англии и Германии. Далее тянулись бесконечные дворцовые службы, в которых жили ключники, подключники, сытники, повара, хлебники, конюхи, псари, сокольники и всякие дворовые люди на всякий обиход.

Немалым богатством сияли слободские церкви. Славный храм богоматери покрыт был снаружи яркою живописью; на каждом кирпиче блестел крест, и церковь казалась одетою в золотую сетку.

Очаровательный вид этот разогнал на время черные мысли, которые не оставляли Серебряного во всю дорогу. Но вскоре неприятное зрелище напомнило князю его положение. Они проехали мимо нескольких виселиц, стоявших одна подле другой. Тут же были срубы с плахами и готовыми топорами. Срубы и виселицы, скрашенные черною краской, были выстроены крепко и прочно, не на день, не на год, а на многие лета.

Как ни бесстрашен бывает человек, он никогда не равнодушен к мысли, что его ожидает близкая смерть, не славная смерть среди стука мечей или грома орудий, но темная и постыдная, от рук презренного

палача. Видно, Серебряный, проезжая мимо места казней, не умел подавить внутреннего волнения, и оно невольно отразилось на впечатлительном лице его; вожатые посмотрели на князя и усмехнулись.

– Это наши качели, боярин, – промолвил один из них, указывая на виселицы, – видно, они приглянулись тебе, что ты с них глаз неводишь!

Михеич, ехавший позади, не сказал ничего, но только посвистел и покачал головою.

Подъехав к валу, князь и товарищи его спешили и привязали лошадей к столбам, в которые нарочно для того были ввинчены кольца. Приезжие вошли на огромный двор, наполненный нищими. Они громко молились, распевали псалмы и обнажали свои отвратительные язвы. Царский дворецкий, стоя на ступенях крыльца, раздавал им от имени Иоанна яства и денежные дачи. Время от времени по двору прохаживались опричники. Другие сидели на скамьях и играли в шахматы или в зернь. Так называли тогда игру в кости. Иные, собравшись в кружок, бросали свайку и громко смеялись, когда проигравший несколько раз сряду вытаскивал из земли глубоко всаженную *редьку*. Одежда опричников представляла разительную противоположность с лохмотьями нищих: царские телохранители блистали золотом. На каждом из них была бархатная или парчовая тафья, усаженная жемчугом и дорогими камнями, и все они казались живыми украшениями волшебного дворца, с которым составляли как бы одно целое.

Один из опричников особенно привлек внимание Серебряного. То был молодой человек лет двадцати, необыкновенной красоты, но с неприятным, наглым выражением лица. Одет он был богаче других, носил, в противность обычаю, длинные волосы, бороды не имел вовсе, а в приемах выказывал какую-то женоподобную небрежность. Обращение с ним товарищей также было довольно странно. Они с ним говорили как с равным и не оказывали ему особенной почтительности; но когда он подходил к какому-нибудь кружку, то кружок раздвигался, а сидевшие на лавках вставали и уступали ему место. Казалось, его берегли или, может быть, опасались. Увидя Серебряного и Михеича, он окинул их надменным взглядом, подозвал провожатых и, казалось, осведомился об имени приезжих. Потом он прищурился на Серебряного, усмехнулся и шепнул что-то товарищам. Те также усмехнулись и разошлись в разные стороны. Сам он взошел на крыльцо и, облокотясь на перилы, продолжал насмешливо глядеть на Никиту Романовича. Вдруг между нищими сделалось волнение. Густая толпа отхлынула прямо на князя и чуть не сбила его с ног. Нищие с криком бежали от дворца; ужас изображался на их

лицах. Князь удивился, но вскоре понял причину общего испуга. Огромный медведь скоком преследовал нищих. В одно мгновение двор опустел, и князь остался один, глаз на глаз с медведем. Мысль о бегстве не пришла ему в голову. Серебряный не раз ходил на медведя один на один. Эта охота была его забавой. Он остановился, и в то мгновение, как медведь, прижав уши к затылку, подвалился к нему, загребая его лапами, князь сделал движение, чтобы выхватить саблю. Но сабли не было! Он забыл, что отдал ее опричникам перед въездом в неволю. Молодой человек, глядевший с крыльца, захохотал.

– Так, так, – сказал он, – ищи своей сабли!

Один удар медвежьей лапы свалил князя на землю, другой своротил бы ему череп, но, к удивлению своему, князь не принял второго удара и почувствовал, что его обдала струя теплой крови.

– Вставай, боярин! – сказал кто-то, подавая ему руку.

Князь встал и увидел не замеченного им прежде опричника, лет семнадцати, с окровавленной саблей в руке. Медведь с разрубленной головою лежал на спине и, махая лапами, издыхал у ног его.

Опричник, казалось, не гордился своею победой. Кроткое лицо его являло отпечаток глубокой грусти. Уверившись, что медведь не сломал князя, и не дожидаясь спасибо, он хотел отойти.

– Добрый молодец! – сказал ему Серебряный, – назовись по имени-прозвищу, чтобы знал я, за кого богу помолиться!

– Что тебе до моего прозвища, боярин! – отвечал опричник. – Не люблю я его, бог с ним!

Такой странный ответ удивил Серебряного, но избавитель его уже удалился.

– Ну, батюшка, Никита Романыч, – сказал Михеич, обтирая полою кафтана медвежьей кровью с князя, – набрался ж я страху! Уж я, батюшка, кричал медведю: гу! гу! чтобы бросил он тебя да на меня бы навалился, как этот молодец, дай бог ему здоровья, череп ему раскроил. А ведь все это затеял вон тот голобородый с маслеными глазами, что с крыльца смотрит, тетка его подкурятина! Да куда мы заехали, – прибавил Михеич шепотом, – виданное ли это дело, чтобы среди царского двора медведей с цепей спускали?

Замечание Михеича было основательно, но Слобода имела свои обычаи, и ничто не происходило в ней обыкновенным порядком.

Царь любил звериный бой. Несколько медведей всегда кормились в железных клетках на случай травли. Но время от времени Иоанн или опричники его выпускали зверей из клеток, драли ими народ и потешались

его страхом. Если медведь кого увечил, царь награждал того деньгами. Если же медведь задира́л кого до смерти, то деньги выдавались его родным, а он вписывался в синодик для поминовения по монастырям вместе с прочими жертвами царской потехи или царского гнева.

Вскоре вышли из дворца два стольника и сказали Серебряному, что царь видел его из окна и хочет знать, кто он таков? Передав царю имя князя, стольники опять возвратились и сказали, что царь-де спрашивает тебя о здоровье и велел-де тебе сегодня быть у его царского стола.

Эта милость не совсем обрадовала Серебряного. Иоанн, может быть, не знал еще о ссоре его с опричниками в деревне Медведевке. Может быть также (и это случалось часто), царь скрывал на время гнев свой под личиною милости, дабы внезапное наказание, среди пира и веселья, показалось виновному тем ужаснее. Как бы то ни было, Серебряный приготовился ко всему и мысленно прочитал молитву.

Этот день был исключением в Александровой слободе. Царь, готовясь ехать в Суздаль на богомолье, объявил заране, что будет обедать вместе с братией, и приказал звать к столу, кроме трехсот опричников, составлявших его всегдашнее общество, еще четыреста, так что всех званых было семьсот человек.

## ГЛАВА 8. Пир

В огромной двусветной палате, между узорчатыми расписными столбами, стояли длинные столы в три ряда. В каждом ряду было по десяти столов, на каждом столе по двадцати приборов. Для царя, царевича и ближайших любимцев стояли особые столы в конце палаты. Гостям были приготовлены длинные скамьи, покрытые парчою и бархатом; государю – высокие резные кресла, украшенные жемчужными и алмазными кистями. Два льва заменяли ножки кресел, а спинку образовал двуглавый орел с поднятыми крыльями, золоченый и раскрашенный. В середине палаты стоял огромный четвероугольный стол с поставом из дубовых досок. Крепки были толстые доски, крепки точеные столбы, на коих покоился стол; им надлежало поддерживать целую гору серебряной и золотой посуды. Тут были и тазы литые, которые четыре человека с трудом подняли бы за узорчатые ручки, и тяжелые ковши, и кубки, усыпанные жемчугом, и блюда разных величин с чеканными узорами. Тут были и чары сердоликовые, и кружки из строфокамиловых яиц, и турьи рога, оправленные в золото. А между блюдами и ковшами стояли золотые кубки странного вида, представлявшие медведей, львов, петухов, павлинов, журавлей, единорогов и строфокамилов. И все эти тяжелые блюда, суды, ковши, чары, черпала, звери и птицы громоздились кверху клинообразным зданием, которого конец упирался почти в самый потолок.

Чинно вошла в палату блестящая толпа царедворцев и разместилась по скамьям. На столах в это время, кроме солонok, перечниц и уксусниц, не было никакой посуды, а из яств стояли только блюда холодного мяса на постном масле, соленые огурцы, сливы и кислое молоко в деревянных чашах.

Опричники уселись, но не начинали обеда, ожидая государя. Вскоре стольники попарно вошли в палату и стали у царских кресел; за стольниками шествовали дворецкий и кравчий.

Наконец загремели трубы, зазвенели дворцовые колокола, и медленным шагом вошел сам царь, Иван Васильевич.

Он был высок, строен и широкоплеч. Длинная парчовая одежда его, испещренная узорами, была окаймлена вдоль разреза и вокруг подола жемчугом и дорогими камнями. Драгоценное перстяное ожерелье украшалось финифтевыми изображениями спасителя, богоматери, апостолов и пророков. Большой узорный крест висел у него на шее на

золотой цепи. Высокие каблуки красных сафьянных сапогов были окованы серебряными скобами. Страшную перемену увидел в Иоанне Никита Романович. Правильное лицо все еще было прекрасно; но черты обозначались резче, орлиный нос стал как-то круче, глаза горели мрачным огнем, и на челе явились морщины, которых не было прежде. Всего более поразили князя редкие волосы в бороде и усах. Иоанну было от роду тридцать пять лет; но ему казалось далеко за сорок. Выражение лица его совершенно изменилось. Так изменяется здание после пожара. Еще стоят хоромы, но украшения упали, мрачные окна глядят зловещим взором, и в пустых покоях поселилось недоброе.

Со всем тем, когда Иоанн взирав милостиво, взгляд его еще был привлекателен. Улыбка его очаровывала даже тех, которые хорошо его знали и гнушались его злодеяниями. С такою счастливою наружностью Иоанн соединял необыкновенный дар слова. Случалось, что люди добродетельные, слушая царя, убеждались в необходимости ужасных его мер и верили, пока он говорил, справедливости его казней.

С появлением Иоанна все встали и низко поклонились ему. Царь медленно прошел между рядами столов до своего места, остановился и, окинув взором собрание, поклонился на все стороны; потом прочитал вслух длинную молитву, перекрестился, благословил трапезу и опустился в кресла. Все, кроме кравчего и шести стольников, последовали его примеру.

Множество слуг, в бархатных кафтанах фиалкового цвета, с золотым шитьем, стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились за кушаньем. Вскоре они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах.

Этим начался обед.

Серебряному пришлось сидеть недалеко от царского стола, вместе с земскими боярами, то есть с такими, которые не принадлежали к опричнине, но, по высокому сану своему, удостоились на этот раз обедать с государем. Некоторых из них Серебряный знал до отъезда своего в Литву. Он мог видеть с своего места и самого царя, и всех бывших за его столом. Грустно сделалось Никите Романовичу, когда он сравнил Иоанна, оставленного им пять лет тому назад, с Иоанном, сидящим ныне в кругу новых любимцев.

Никита Романович обратился с вопросом к своему соседу, одному из тех, с которыми он был знаком прежде.

– Кто этот отрок, что сидит по правую руку царя, такой бледный и пасмурный?

– Это царевич Иоанн Иоаннович, – отвечал боярин и, оглянувшись по

сторонам, прибавил шепотом:

– Помилуй нас господи! Не в деда он пошел, а в батюшку, и не по младости исполнено его сердце свирепства; не будет нам утехи от его царствования!

– А этот молодой черноглазый, в конце стола, с таким приветливым лицом? Черты его мне знакомы, но не припомню, где я его видел?

– Ты видел его, князь, пять лет тому, рындою при дворе государя; только далеко ушел он с тех пор и далеко уйдет еще; это Борис Федорович Годунов, любимый советник царский. Видишь, – продолжал боярин, понижая голос, – видишь возле него этого широкоплечего, рыжего, что ни на кого не смотрит, а убирает себе лебедя, нахмуря брови? Знаешь ли, кто это? Это Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, по прозванию Малюта. Он и друг, и поплечник, и палач государев. Здесь же, в монастыре, он сделан, прости господи, параклисиархом. Кажется, государь без него ни шагу; а скажи только слово Борис Федорыч, так выйдет не по Малютину, а по Борисову! А вон там, этот молоденький, словно красная девица, что царю наряжает вина, это Федор Алексеич Басманов.

– Этот? – спросил Серебряный, узнавая женоподобного юношу, которого наружность поразила его на царском дворе, а неожиданная шутка чуть не стоила ему жизни.

– Он самый. Уж как царь-то любит его; кажется, жить без него не может; а случись дело какое, у кого совета спросят? Не у него, а у Бориса!

– Да, – сказал Серебряный, вглядываясь в Годунова, – теперь припоминаю его. Не ездил ли он у царского саадака?

– Так, князь. Он точно был у саадака. Кажется, должность незнатная, как тут показать себя? Только случилось раз, затеяли на охоте из лука стрелять. А был тут ханский посол Девлет-Мурза. Тот, что ни пустит стрелу, так и всадит ее в татарскую шляпу, что поставили на шесте, ступней во сто от царской ставки. Дело-то было уж после обеда, и много ковшей уже прошло кругом стола. Вот встал Иван Васильевич, да и говорит: «Подайте мне мой лук, и я не хуже татарина попаду!» А татарин-то обрадовался: «Попади, бачка-царь! – говорит, – моя пошла тысяча лошадей табун, а твоя что пошла?» – то есть, по-нашему, во что ставишь заклад свой? «Идет город Рязань!» – сказал царь и повторил: «Подайте мой лук!» Бросился Борис к коновязи, где стоял конь с саадаком, вскочил в седло, только видим мы, бьется под ним конь, вздымается на дыбы, да вдруг как пустится, закусив удила, так и пропал с Борисом. Через четверть часа вернулся Борис, и колчан и налучье изорваны, лук пополам, стрелы все рассыпались, сам Борис с разбитой головой. Соскочил с коня, да и в

ноги царю: «Виноват, государь, не смог коня удержать, не соблюл твоего саадака!» А у царя, вишь, меж тем хмель-то уж выходить начал. «Ну, говорит, не быть же боле тебе, неучу, при моем саадаке, а из чужого лука стрелять не стану!» С этого дня пошел Борис в гору, да посмотри, князь, куда уйдет еще! И что это за человек, – продолжал боярин, глядя на Годунова, – никогда не суется вперед, а всегда тут; никогда не прямит, не перечит царю, идет себе окольным путем, ни в какое кровавое дело не замешан, ни к чьей казни не причастен. Кругом его кровь так и хлещет, а он себе и чист и бел как младенец, даже и в опричнину не вписан. Вон тот, – продолжал он, указывая на человека с недоброю улыбкой, – то Алексей Басманов, отец Федора, а там, подале, Василий Грязной, а вон там отец Левкий, чудовский архимандрит; прости ему господи, не пастырь он церковный, угодник страстей мирских!

Серебряный слушал с любопытством и с горестью.

– Скажи, боярин, – спросил он, – кто этот высокий кудрявый, лет тридцати, с черными глазами? Вот уж он четвертый кубок осушил, один за другим, да еще какие кубки! Здоров он пить, нечего сказать, только вино ему будто не на радость. Смотри, как он нахмурился, а глаза-то горят словно молонья. Да что он, с ума сошел? Смотри, как скатерть поясом порет!

– Этого-то, князь, ты, кажись бы, должен знать; этот был из наших. Правда, переменялся он с тех пор, как, всему боярству на срам, в опричники пошел! Это князь Афанасий Иваныч Вяземский. Он будет всех их удалее, только не вынести ему головы! Как прикачнулась к его сердцу зазнобушка, сделался он сам не свой. И не видит ничего, и не слышит, и один с собою разговаривает, словно помешанный, и при царе держит такие речи, что индо страшно. Но до сих пор ему все с рук сходило; жалеет его государь. А говорят, он по любви и в опричники-то вписался.

И боярин нагнулся к Серебряному, желая, вероятно, рассказать ему подробнее про Вяземского, но в это время подошел к ним стольник и сказал, ставя перед Серебряным блюдо жаркого:

– Никита-ста! Великий государь жалует тебя блюдом с своего стола.

Князь встал и, следуя обычаю, низко поклонился царю. Тогда все, бывшие за одним столом с князем, также встали и поклонились Серебряному, в знак поздравления с царскою милостью. Серебряный должен был каждого отблагодарить особым поклоном.

Между тем стольник возвратился к царю и сказал ему, кланяясь в пояс:

– Великий государь! Никита-ста принял блюдо, челом бьет!

Когда съели лебедей, слуги вышли попарно из палаты и возвратились с



тремя сотнями жареных павлинов, которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом, в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и с сыром, блины всех возможных родов, кривые пирожки и оладьи. Пока гости кушали, слуги разносили ковши и кубки с медами: вишневым, можжевелевым и черемховым. Другие подавали разные иностранные вина: романею, рейнское и мушкатель. Особые стольники ходили взад и вперед между рядами, чтобы смотреть и всказывать в столы.

Напротив Серебряного сидел один старый боярин, на которого царь, как поговаривали, держал гнев. Боярин предвидел себе беду, но не знал какую и ожидал спокойно своей участи. К удивлению всех, кравчий Федор Басманов из своих рук поднес ему чашу вина.

– Василий-су! – сказал Басманов, – великий государь жалует тебя чашею!

Старик встал, поклонился Иоанну и выпил вино, а Басманов, возвратясь к царю, донес ему:

– Василий-су выпил чашу, челом бьет!

Все встали и поклонились старику; ожидали себе и его поклона, но боярин стоял неподвижно. Дыхание его сперлось, он дрожал всем телом. Внезапно глаза его налились кровью, лицо посинело, и он грянулся оземь.

– Боярин пьян, – сказал Иван Васильевич, – вынести его вон! – Шепот пробежал по собранию, а земские бояре переглянулись и потупили очи в свои тарелки, не смея вымолвить ни слова.

Серебряный содрогнулся. Еще недавно не верил он рассказам о жестокости Иоанна, теперь же сам сделался свидетелем его ужасной мести.

«Уж не ожидает ли и меня такая же участь?» – подумал он. Между тем старика вынесли, и обед продолжался, как будто ничего не случилось. Гусли звучали, колокола гудели, царедворцы громко разговаривали и смеялись. Слуги, бывшие в бархатной одежде, явились теперь все в парчовых доломанах. Эта перемена платья составляла одну из роскошей царских обедов. На столы поставили сперва разные студени; потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с инбирем, бескостных куриц и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухою подали рябчиков со сливами, гусей со пшеном и тетерок с шафраном.

Тут наступил прогул, в продолжение которого разносили гостям меды, смородинный, княжий и боярский, а из вин: аликант, бастр и малвазию.

Разговоры становились громче, хохот раздавался чаще, головы кружились. Серебряный, всматриваясь в лица опричников, увидел за

отдаленным столом молодого человека, который несколько часов перед тем спас его от медведя. Князь спросил об нем у соседей, но никто из земских не знал его. Молодой опричник, облокотясь на стол и опустив голову на руки, сидел в задумчивости и не участвовал в общем веселье. Князь хотел было обратиться с вопросом к проходившему слуге, но вдруг услышал за собой:

– Никита-ста! Великий государь жалует тебя чашею!

Серебряный вздрогнул. За ним стоял, с наглою усмешкой, Федор Басманов и подавал ему чашу.

Не колеблясь ни минуты, князь поклонился царю и осушил чашу до капли. Все на него смотрели с любопытством, он сам ожидал неминуемой смерти и удивился, что не чувствует действий отравы. Вместо дрожи и холода благотворная теплота пробежала по его жилам и разогнала на лице его невольную бледность. Напиток, присланный царем, был старый и чистый бастр. Серебряному стало ясно, что царь или отпустил вину его, или не знает еще об обиде опричнины.

Уже более четырех часов продолжалось веселье, а стол был только во полустоле. Отличились в этот день царские повара. Никогда так не удавались им лимонные калы, верченые почки и караси с бараниной. Особенное удивление возбуждали исполинские рыбы, пойманные в Студеном море и присланные в Слободу из Соловецкого монастыря. Их привезли живых, в огромных бочках; путешествие продолжалось несколько недель. Рыбы эти едва уместались на серебряных и золотых тазах, которые вносили в столовую несколько человек разом. Затейливое искусство поваров выказалось тут в полном блеске. Осетры и шевриги были так надрезаны, так посажены на блюда, что походили на петухов с простертыми крыльями, на крылатых змеев с разверстыми пастьями. Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, и гости, как уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепелов с чесночною подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном. Но вот, по знаку стольников, убрали со столов соль, перец и уксус и сняли все мясные и рыбные яства. Слуги вышли по два в ряд и возвратились в новом убранстве. Они заменили парчовые доломаны летними кунтушами из белого аксамита с серебряным шитьем и собольею опушкой. Эта одежда была еще красивее и богаче двух первых. Убранные таким образом, они внесли в палату сахарный кремль, в пять пудов весу, и поставили его на царский стол. Кремль этот был вылит очень искусно. Зубчатые стены и башни, и даже пешие и конные люди были тщательно отделаны. Подобные кремли, но только поменьше, пуда в три, не более, украсили другие столы. Вслед за кремлями внесли около

сотни золоченых и крашенных деревьев, на которых вместо плодов висели пряники, коврижки и сладкие пирожки. В то же время явились на столах львы, орлы и всякие птицы, литые из сахара. Между городами и птицами возвышались груды яблоков, ягод и волошских орехов. Но плодов никто уже не трогал, все были сыты. Иные допивали кубки ромanei, более из приличия, чем от жажды, другие дремали, облокотясь на стол; многие лежали под лавками, все без исключения распоясались и расстегнули кафтаны. Нрав каждого обрисовался яснее.

Царь почти вовсе не ел. В продолжение стола он много рассуждал, шутил и милостиво говорил с своими окольными. Лицо его не изменилось в конце обеда. То же можно было сказать и о Годунове. Борис Федорович, казалось, не отказывался ни от лакомого блюда, ни от братины крепкого вина; он был весел, занимал царя и любимцев его умным разговором, но ни разу не забывался. Черты Бориса являли теперь, как и в начале обеда, смесь проникательности, обдуманного смирения и уверенности в самом себе. Окинув быстрым взором толпу пьяных и сонных царедворцев, молодой Годунов неприметно улыбнулся, и презрение мелькнуло на лице его.

Царевич Иоанн пил много, ел мало, молчал, слушал и вдруг перебивал говорящего нескромною или обидною шуткой. Более всех доставалось от него Малюте Скуратову, хотя Григорий Лукьянович не похож был на человека, способного сносить насмешки. Наружность его вселяла ужас в самых неробких. Лоб его был низок и сжат, волосы начинались почти над бровями; скулы и челюсти, напротив, были несоразмерно развиты, череп, спереди узкий, переходил без всякой постепенности в какой-то широкий котел к затылку, а за ушами были такие выпуклости, что уши казались впалыми. Глаза неопределенного цвета не смотрели ни на кого прямо, но страшно делалось тому, кто нечаянно встречал их тусклый взгляд. Казалось, никакое великодушное чувство, никакая мысль, выходящая из круга животных побуждений, не могла проникнуть в этот узкий мозг, покрытый толстым черепом и густою щетиной. В выражении этого лица было что-то неумолимое и безнадежное. Глядя на Малюту, чувствовалось, что всякое старание отыскать в нем человеческую сторону было бы напрасно. И подлинно, он нравственно уединил себя от всех людей, жил посреди их особняком, отказался от всякой дружбы, от всяких приятельных отношений, перестал быть человеком и сделал из себя царскую собаку, готовую растерзать без разбора всякого, на кого Иоанну ни вздумалось бы направить ее.

Единственною светлою стороною Малюты казалась горячая любовь его к сыну, молодому Максиму Скуратову; но то была любовь дикого зверя,

любовь бессознательная, хотя и доходившая до самоотвержения. Ее усугубляло любочестие Малюты. Происходя сам от низкого сословия, будучи человеком худородным, он мучился завистью при виде блеска и знатности и хотел, по крайней мере, возвысить свое потомство, начиная с сына своего. Мысль, что Максим, которого он любил тем сильнее, что не знал другой родственной привязанности, будет всегда стоять в глазах народа ниже тех гордых бояр, которых он, Малюта, казнил десятками, приводила его в бешенство. Он старался золотом достичь почестей, недоступных ему по рождению, и с сугубым удовольствием предавался убийствам: он мстил ненавистным боярам, обогащался их добычей и, возвышаясь в милости царской, думал возвысить и возлюбленного сына. Но независимо от этих расчетов кровь была для него потребностью и наслаждением. Много душегубств совершил он своими руками, и летописи рассказывают, что иногда, после казней, он собственноручно рассекал мертвые тела топором и бросал их псам на съедение. Чтобы довершить очерк этого лица, надобно прибавить, что, несмотря на свою умственную ограниченность, он, подобно хищному зверю, был в высшей степени хитер, в боях отличался отчаянным мужеством, в сношениях с другими был мнителен, как всякий раб, попавший в незаслуженную честь, и что никто не умел так помнить обиды, как Малюта Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский.

Таков был человек, над которым столь неосторожно издевался царевич.

Особенный случай подал Иоанну Иоанновичу повод к насмешкам. Малюта, мучимый завистью и любочестием, издавна домогался боярства; но царь, уважавший иногда обычаи, не хотел унижить верховный русский сан в лице своего худородного любимца и оставлял происки его без внимания. Скуратов решился напомнить о себе Иоанну. В этот самый день, при выходе царя из опочивальни, он бил ему челом, исчислил все свои заслуги и в награждение просил боярской шапки. Иоанн выслушал его терпеливо, засмеялся и назвал собакой. Теперь, за столом, царевич напоминал Малюте о неудачной его челобитне. Не напомнил бы о ней царевич, если бы знал короче Григорья Лукьяновича!

Малюта молчал и становился бледнее. Царь с неудовольствием замечал неприязненные отношения между Малютой и сыном. Чтобы переменить разговор, он обратился к Вяземскому.

— Афанасий, — сказал он полуласково, полунасмешливо, — долго ли тебе кручиниться! Не узнаю моего доброго опричника! Аль вконец заела тебя любовь — змея лютая?

– Вяземский не опричник, – заметил царевич. – Он вздыхает, как красная девица. Ты б, государь-батюшка, велел надеть на него сарафан да обрить ему бороду, как Федьке Басманову, или приказал бы ему петь с гусярами. Гусли-то ему, я чай, будут сподручнее сабли!

– Царевич! – вскричал Вяземский, – если бы тебе было годков пять поболее да не был бы ты сынок государев, я бы за бесчестие позвал тебя к Москве на Троицкую площадь, мы померялись бы с тобой, и сам бог рассудил бы, кому владеть саблей, кому на гусях играть!

– Афонька! – сказал строго царь. – Не забывай, перед кем речь ведешь!

– Что ж, батюшка, господин Иван Васильевич, – отвечал дерзко Вяземский, – коли повинен я перед тобой, вели мне голову рубить, а царевичу не дам порочить себя.

– Нет, – сказал, смягчаясь, Иван Васильевич, который за молодечество прощал Вяземскому его выходки, – рано Афоне голову рубить! Пусть еще послужит на царской службе. Я тебе, Афоня, лучше сказку скажу, что рассказывал мне прошлой ночью слепой Филька:

«В славном Ростове, в красном городе, проживал добрый молодец, Алеша Попович. Полюбилась ему пуще жизни молодая княгиня, имени не припомню. Только была она, княгиня, замужем за старым Тугарином Змиевичем, и как ни бился Алеша Попович, всё только отказы от нее получал. „Не люблю-де тебя, добрый молодец; люблю одного мужа мово, милого, старого Змиевича“. – „Добро, – сказал Алеша, – полюбишь же ты и меня, белая лебедушка!“ Взял двенадцать слуг своих добрых, вломился в терем Змиевича и увез его молодую жену. „Исполать тебе, добрый молодец, – сказала жена, – что умел меня любить, умел и мечом добыть; и за то я тебя люблю пуще жиз-ни, пуще свету, пуще старого поганого мужа мово Змиевича!“

– А что, Афоня, – прибавил царь, пристально смотря на Вяземского, – как покажется тебе сказка слепого Фильки?

Жадно слушал Вяземский слова Ивана Васильевича. Запали они в душу его, словно искры в снопы овинные, загорелась страсть в груди его, запылали очи пожаром.

– Афанасий, – продолжал царь, – я этими днями еду молиться в Суздаль, а ты ступай на Москву к боярину Дружине Морозову, спроси его о здоровье, скажи, что я-де прислал тебя снять с него мою опалу... Да возьми, – прибавил он значительно, – возьми с собой, для почету, поболее опричников!

Серебряный видел с своего места, как Вяземский изменился в лице и как дикая радость мелькнула на чертах его, но не слышал он, о чем шла речь

между князем и Иваном Васильевичем.

Кабы догадался Никита Романович, чему радуется Вяземский, забыл бы он близость государеву, сорвал бы со стены саблю острую и рассек бы Вяземскому буйную голову. Погубил бы Никита Романович и свою головушку, но спасли его на этот раз гусли звонкие, колокола дворцовые и говор опричников, не узнал он, чему радуется Вяземский.

Наконец Иоанн встал. Все царедворцы зашумели, как пчелы, потревоженные в улье. Кто только мог, поднялся на ноги, и все поочередно стали подходить к царю, получать от него сушеные сливы, которыми он наделаял братию из собственных рук.

В это время сквозь толпу пробрался опричник, не бывший в числе пировавших, и стал шептать что-то на ухо Малюте Скуратову. Малюта вспыхнул, и ярость изобразилась на лице его. Она не скрылась от зоркого глаза царя. Иоанн потребовал объяснения.

– Государь! – вскричал Малюта, – дело неслыханное! Измена, бунт на твою царскую милость!

При слове «измена» царь побледнел и глаза его засверкали.

– Государь, – продолжал Малюта, – намедни послал я круг Москвы объезд, для того, государь, так ли московские люди соблюдают твой царский указ? Как вдруг неведомый боярин с холопами напал на объезжих людей. Многих убили до смерти, и больно изувечили моего стремянного. Он сам здесь, стоит за дверьми, жестоко избитый! Прикажешь призвать?

Иоанн окинул взором опричников и на всех лицах прочел гнев и негодование. Тогда черты его приняли выражение какого-то странного удовольствия, и он сказал спокойным голосом:

– Позвать!

Вскоре расступилась толпа, и в палату вошел Матвей Хомяк с повязанною головой.

## ГЛАВА 9. Суд

Не смыл Хомяк крови с лица, замарал ею нарочно и повязку и одежду: пусть-де увидит царь, как избили слугу его!

Подойдя к Иоанну, он упал ниц и ожидал на коленях позволения говорить.

Все любопытно смотрели на Хомяка. Царь первый прервал молчание.

– На кого ты просишь, – спросил он, – как было дело? Рассказывай по ряду!

– На кого прошу, и сам не ведаю, надежа православный царь! Не сказал он мне, собака, своего роду-племени! А бью челом твоей царской милости, в бою моем и в увечье, что бил меня своим великим огурством незнаемый человек!

Общее внимание удвоилось. Все притаили дыхание. Хомяк продолжал:

– Приехали мы, государь, объездом в деревню Медведевку, как вдруг они, окаянные, откуда ни возьмись, напустились на нас напуском, грянули как снег на голову, перекололи, перерубили человек с десятеро, достальных перевязали; а боярин-то их, разбойник, хотел было нас всех перевешать, а двух станичников, что мы было объездом захватили, велел свободить и пустить на волю!

Замолчал Хомяк и поправил на голове своей кровавую повязку. Недоверчивый ропот пробежал между опричниками. Рассказ казался невероятным. Царь усомнился.

– Полно, правду ли ты говоришь, детинушка, – сказал он, пронзая Хомяка насквозь орлиным оком, – не закачено ль у тебя в голове? Не у браги ль ты добыл увечья?

– Готов на своей правде крест целовать, государь; кладу голову порукой в речах моих!

– А скажи, зачем не повесил тебя неведомый боярин?

– Должно быть, раздумал; никого не повесил; велел лишь всех нас плетью избить!

Ропот опять пробежал по собранию.

– А много ль вас было в объезде?

– Пятьдесят человек, я пятьдесят первый!

– А много ль ихних было?

– Нечего греха таить, ихних было помене, примерно человек двадцать или тридцать.

– И вы дали себя перевязать и пересечь, как бабы! Что за оторопь на вас напала? Руки у вас отсохли аль душа ушла в пяты? Право, смеху достойно! И что это за боярин средь бело дня напал на опричников? Быть того не может. Пожалуй, и хотели б они извести опричину, да жжется! И меня, пожалуй, съели б, да зуб неймет! Слушай, коли хочешь, чтоб я взял тебе веру, назови того боярина, не то повинися во лжи своей. А не назовешь и не повинишься, несдобровать тебе, детинушка!

– Надёжа-государь! – отвечал стремянный с твердостью, – видит бог, я говорю правду. А казнить меня твоя воля; не боюсь я смерти, боюсь кривды, и в том шлюсь на целую рать твою!

Тут он окинул глазами опричников, как бы призывая их в свидетели. Внезапно взор его встретился со взором Серебряного.

Трудно описать, что произошло в душе Хомяка. Удивление, сомнение и, наконец, злобная радость изобразились на чертах его.

– Государь, – сказал он, вставая, – коли хочешь ведать, кто напал на нас, порубил товарищей и велел избить нас плетьюми, прикажи вон этому боярину назваться по имени, по изотчеству!

Все глаза обратились на Серебряного. Царь сдвинул безволосые брови и пристально в него вглядывался, но не говорил ни слова. Никита Романович стоял неподвижно, спокойный, но бледный.

– Никита! – сказал наконец царь, медленно выговаривая каждое слово, – подойди сюда. Становись к ответу. Знаешь ты этого человека?

– Знаю, государь.

– Нападал ты на него с товарищи?

– Государь, человек этот с товарищи сам напал на деревню...

Хомяк прервал князя. Чтобы погубить врага, он решился не щадить самого себя.

– Государь, – сказал он, – не слушай боярина. То он на меня сором лает, затем что я малый человек, и в том промеж нас правды не будет; а прикажи снять допрос с товарищей или, пожалуй, прикажи пытать нас обоих накрепко, и в том будет промеж нас правда.

Серебряный презрительно взглянул на Хомяка.

– Государь, – сказал он, – я не запираюсь в своем деле. Я напал на этого человека, велел его с товарищи бить плетьюми, затем велел бить...

– Довольно! – сказал строго Иван Васильевич. – Отвечай на допрос мой. Ведал ли ты, когда напал на них, что они мои опричники?

– Не ведал, государь.

– А когда хотел повесить их, сказались они тебе?

– Сказались, государь.



- Зачем же ты раздумал их вешать?
  - Затем, государь, чтобы твои судьи сперва допросили их.
  - Отчего ж ты с самого почину не отослал их к моим судьям?
- Серебряный не нашелся отвечать.

Царь вперил в него испытующий взор и старался проникнуть в самую глубь души его.

– Не затем, – сказал он, – не затем раздумал ты вешать их, чтобы передать их судьям, а затем, что сказались они тебе людьми царскими. И ты, – продолжал царь с возрастающим гневом, – ты, ведая, что они мои люди, велел бить их плетью?

– Государь...

– Довольно! – загремел Иоанн. – Допрос окончен. Братия, – продолжал он, обращаясь к своим любимцам, – говорите, что заслужил себе боярин князь Никита? Говорите, как мыслите, хочу знать, что думает каждый!

Голос Иоанна был умерен, но взор его говорил, что он в сердце своем уже решил участь князя и что беда ожидает того, чей приговор окажется мягче его собственного.

– Говорите ж, люди, – повторял он, возвышая голос, – что заслужил себе Никита?

– Смерть! – отвечал царевич.

– Смерть! – повторили Скуратов, Грязной, отец Левкий и оба Басмановы.

– Так; пусть же приимет он смерть! – сказал Иоанн хладнокровно. – Писано бо: приемшие нож ножом погибнут. Человеки, возьмите его!

Серебряный молча поклонился Иоанну. Несколько человек тотчас окружили его и вывели из палаты.

Многие последовали за ними посмотреть на казнь; другие остались. Глухой говор раздавался в палате. Царь обратился к опричникам. Вид его был торжествен.

– Братия! – сказал он, – прав ли суд мой?

– Прав, прав! – раздалось между ближними опричниками.

– Прав, прав! – повторили отдаленные.

– Неправ! – сказал один голос.

Опричники взволновались.

– Кто это сказал? Кто вымолвил это слово? Кто говорит, что неправ суд государев? – послышалось отовсюду.

На всех лицах изобразилось удивление, все глаза засверкали негодованием. Лишь один, самый свирепый, не показывал гнева. Малюта был бледен как смерть.

– Кто говорит, что неправ суд мой? – спросил Иоанн, стараясь придать чертам своим самое спокойное выражение. – Пусть, кто говорил, выступит пред лицо мое!

– Государь, – произнес Малюта в сильном волнении, – между добрыми слугами твоими теперь много пьяных, много таких, которые говорят, не помня, не спрашивая разума! Не вели искать этого бражника, государь! Протрезвится, сам не поверит, какую речь пьяным делом держал!

Царь недоверчиво взглянул на Малюту.

– Отец параклисиарх! – сказал он, усмехаясь, – давно ль ты умилился сердцем?

– Государь! – продолжал Малюта, – не вели...

Но уже было поздно.

Сын Малюты выступил вперед и стоял почтительно перед Иоанном. Максим Скуратов был тот самый опричник, который спас Серебряного от медведя.

– Так это ты, Максимушка, охаиваешь суд мой, – сказал Иоанн, посматривая с недоброю улыбкой то на отца, то на сына. – Ну, говори, Максимушка, почему суд мой тебе не по сердцу?

– Потому, государь, что не выслушал ты Серебряного, не дал ему очиститься перед тобою и не спросил его даже, за что он хотел повесить Хомяка?

– Не слушай его, государь, – умолял Малюта, – он пьян, ты видишь, он пьян! Не слушай его! Пошел, бражник, вишь, как нарезался! Пошел, уноси свою голову!

– Максим не пил ни вина, ни меду, – заметил злобно царевич. – Я все время на него смотрел, он и усов не омочил!

Малюта взглянул на царевича таким взглядом, от которого всякий другой задрожал бы. Но царевич считал себя недоступным Малютиной мести. Второй сын Грозного, наследник престола, вмещал в себе почти все пороки отца, а злые примеры все более и более заглушали то, что было в нем доброго. Иоанн Иоаннович уже не знал жалости.

– Да, – прибавил он, усмехаясь, – Максим не ел и не пил за обедом. Ему не по сердцу наше житье. Он гнушается батюшкиной опричниной!

В продолжение этого разговора Борис Годунов не спускал глаз с Иоанна. Он, казалось, изучал выражение лица его и тихо, никем не замеченный, вышел из столовой.

Малюта повалился государю в ноги.

– Батюшка, государь Иван Васильевич! – проговорил он, хватаясь за полы царской одежды, – сего утра я, дурак глупый, деревенщина

необтесанный, просил тебя пожаловать мне боярство. Где был разум мой? Куда девался смысл человеческий? Мне ли, смрадному рабу, носить шапку боярскую? Забудь, государь, дурацкие слова мои, вели снять с меня кафтан золоченый, одень в рогожу, только отпусти Максиму вину его! Молод он, государь, глуп, не смыслит, что говорит! А уж если казнить кого, так вели меня казнить, не давай я, дурак, напиваться сыну допьяна! Дозволь, государь, я снесу на плаху глупую голову! Прикажи, тотчас сам на себя руки наложу!

Жалко было видеть, как исказилось лицо Малюты, как отчаянье написалось на чертах, никогда не отражавших ничего, кроме зверства.

Царь засмеялся.

– Не за что казнить ни тебя, ни сына твоего! – сказал он, – Максим прав!

– Что ты, государь? – вскричал Малюта, – как Максим прав? – И радостное удивление его выразилось было глупою улыбкой, но она тотчас исчезла, ибо ему представилось, что царь над ним издевается.

Эти быстрые перемены на лице Малюты были так необыкновенны, что царь, глядя на него, опять принялся смеяться.

– Максим прав, – повторил он наконец, принимая свой прежний степенный вид, – я исторопился. Того быть не может, чтобы Серебряный вольною волей что-либо учинил на меня. Помню я Никиту еще до литовской войны. Я всегда любил его. Он был мне добрый слуга. Это вы, окаянные, – продолжал царь, обращаясь к Грязному и к Басмановым, – это вы всегда подбиваете меня кровь проливать! Мало еще было вам смертного убийства? Нужно было известить моего доброго боярина? Что стоите, звери! Бегите, остановите казнь! Только нет, и не ходите! Поздно! Я чаю, уж слетела с него голова! Вы все заплатите мне за кровь его!

– Не поздно, государь, – сказал Годунов, возвращаясь в палату. – Я велел подождать казнить Серебряного. На милость образца нет, государь; а мне ведомо, что ты милостив, что иной раз и присудишь и простишь виноватого. Только уже Серебряный положил голову на плаху, палач, снем кафтан, засуча рукава, ждет твоего царского веления!

Лицо Иоанна прояснилось.

– Борис, – сказал он, – подойди сюда, добрый слуга мой. Ты один знаешь мое сердце. Ты один ведаешь, что я кровь проливаю не ради потехи, а чтоб измену вывести. Ты меня не считаешь за сыроядца. Подойди сюда, Федорыч, я обниму тебя.

Годунов наклонился. Царь поцеловал его в голову.

– Подойди и ты, Максим, я тебя к руке пожалую. Хлеб-соль ешь, а

правду режь! Так и напредки чини. Выдать ему три сорока соболей на шубу!

Максим поклонился в землю и поцеловал царскую руку.

– Какое идет тебе жалованье? – спросил Иоанн.

– Против рядовых людей обычное, государь.

– Я сравняю тебя с начальными людьми. Будет тебе идти корм и всякий обиход противу начальных людей. Да у тебя, я вижу, что-то на языке мотается, говори без зазору, проси чего хочешь! – Государь! не заслужил я твоей великой милости, недостойн одежды богатой, есть постарше меня. Об одном прошу, государь. Пошли меня воевать с Литвой, пошли в Ливонскую землю. Или, государь, на Рязань пошли, татар колотить!

Что-то вроде подозрения выразилось в глазах Иоанна.

– Что тебе так воевать захотелось, молодец? Аль постыла жизнь слободская?

– Постыла, государь.

– Что так? – спросил Иоанн, глядя пристально на Максима.

Малюта не дал отвечать сыну.

– Государь, – сказал он, – хотелось бы, вишь, ему послужить твоей милости. Хотелось бы и гривну на золотой цепочке получить из царских рук твоих. Горяча в нем кровь, государь. Затем и просится на татар да немцев.

– Не затем он просится, – подхватил царевич, – а затем, чтобы на своем поставить: не хочу-де быть опричником, так и не буду! Пусть-де выйдет по-моему, а не по-цареву!

– Вот как! – сказал Иоанн насмешливо. – Так ты, Максимушка, меня осилить хочешь? Вишь, какой богатырь! Ну где мне, убогому, на тебя! Что ж, не хочешь быть опричником, я, пожалуй, велю тебя в зорники вписать!

– Эх, государь! – поспешил сказать Малюта, – куда твоя милость ни велит вписать Максима, везде готов он служить по указу твоему! Да поди домой, Максим, поздно; скажи матери, чтобы не ждала меня; у нас дело в тюрьме: Колычевых пытаем. Поди, Максим, поди!

Максим удалился. Царь велел позвать Серебряного.

Опричники ввели его с связанными руками, без кафтана, ворот рубахи отстегнут. За князем вошел главный палач, Терешка, засуча рукава, с блестящим топором в руках. Терешка вошел, потому что не знал, прощает ли царь Серебряного или хочет только изменить род его казни.

– Подойди сюда, князь! – сказал Иоанн. – Мои молодцы исторопились было над тобой. Не прогневайся. У них уж таков обычай, не посмотря в святцы, да бух в колокол! Того не разочтут, что казнить человека всегда

успеешь, а слетит голова, не приставишь. Спасибо Борису. Без него отправили б тебя на тот свет; не у кого было б и про Хомяка спросить. Поведай-ка, за что ты напал на него?

– За то, государь, что сам он напал на безвинных людей среди деревни. Не знал я тогда, что он слуга твой, и не слыхивал до того про опричнину. Ехал я от Литвы к Москве обратным путем, когда Хомяк с товарищи нагрянули на деревню и стали людей резать!

– А кабы знал ты, что они мои слуги, побил бы ты их тогда?

Царь пристально посмотрел на Серебряного. Князь на минуту задумался.

– И тогда побил бы, государь, – сказал он простодушно, – не поверил бы я, что они по твоему указу душегубствуют!

Иоанн вперил в князя мрачный взор и долго не отвечал. Наконец он прервал молчание.

– Добрый твой ответ, Никита! – сказал он, одобрительно кивнув головой. – Не для того поставил я на Руси опричнину, чтобы слуги мои побивали людей безвинных. Поставлены они, аки добрые псы, боронить от пыхающих волков овцы моя, дабы мог сказать я на Страшном суде божием по пророческому словеси: се аз и дети, яже дал ми бог! Добрый твой ответ. Скажу на весь мир: ты да Борис, вы одни познали меня. Другие не так мыслят; называют меня кровопийцею, а не ведают того, что, проливая кровь, я заливаюсь слезами! Кровь видят все; она красна, всякому бросается в глаза; а сердечного плача моего никто не зрит; слезы бесцветно падают мне на душу, но, словно смола горячая, проедают, прожигают ее насквозь по вся дни! (И царь при этих словах поднял взор свой кверху с видом глубокой горести.) Яко же древле Рахиль, – продолжал он (и глаза его закатились под самый лоб), – яко же древле Рахиль, плачуще о детях своих, так я, многогрешный, плачу о моих озорниках и злодеях. Добрый твой ответ, Никита. Отпускаю тебе вину твою. Развяжите ему руки. Убирайся, Терешка, ты нам не надобен... Или нет, погоди маленько!

Иоанн обратился к Хомяку.

– Отвечай, – сказал он грозно, – что вы неистовым своим обычаем в Медведевке чинили?

Хомяк взглянул искоса на Терешку, потом на Серебряного, потом почесал затылок.

– Потравились маленько с мужиками! – отвечал, он полухитро, полудерзко, – нечего греха таить; в том виноваты, государь, что с твоими с опальниками потравились. Ведь деревня-то, государь, боярина Морозова!

Грозное выражение Иоанна смягчилось. Он усмехнулся.

– Что ж, – сказал он, – доволен ты княжескими шелепугами? Я чай, будет с тебя? Пожалуй, так уж и быть, и тебя прощу. Убирайся, Терешка, видно, уж день такой выпал!

При милостивом обращении Иоанна к Серебряному шепот удовольствия пробежал между земскими боярами. Чуткое ухо царя услышало этот шепот, а подозрительный ум объяснил его по-своему. Когда Хомяк и Терешка вышли из палаты, Иоанн устремил свой пронизательный взор на земских бояр.

– Вы! – сказал он строго, – не думайте, глядя на суд мой, что я вам начал мирволить! – И в то же время в беспокойной душе его зародилась мысль, что, пожалуй, и Серебряный припишет его милосердие послаблению. В эту минуту он пожалел, что простил его, и захотел поправить свою ошибку.

– Слушай! – произнес он, глядя на князя, – я помиловал тебя сегодня за твое правдивое слово и прощения моего назад не возьму. Только знай, что, если будет на тебе какая новая вина, я взыщу с тебя и старую. Ты же тогда, ведая за собою свою неправду, не захоти уходить в Литву или к хану, как иные чинят, а дай мне теперь же клятву, что, где бы ты ни был, ты везде будешь ожидать наказания, какое захочу положить на тебя.

– Государь! – сказал Серебряный, – жизнь моя в руке твоей. Хорониться от тебя не в моем обычае. Обещаю тебе, если будет на мне какая вина, ожидать твоего суда и от воли твоей не уходить!

– Целуй же мне на том крест! – сказал важно Иоанн, и, приподымая висевший у него на груди узорный крест, он подал его Серебряному, с косвенным взглядом на земских бояр.

Среди общего молчания слышно было бряцание золотой цепи, когда Иоанн выпустил из рук изображение спасителя, к которому, перекрестившись, приложился Серебряный.

– Теперь ступай! – сказал Иоанн, – и молись премилостивой троице и всем святым угодникам, чтобы сохранили тебя от новой, хотя бы и легкой вины!

– Вы же, – прибавил он, глядя на земских бояр, – вы, слышавшие наш уговор, не ждите нового прощения Никите и не помыслите печаловаться мне о нем, если он в другой раз заслужит гнев мой!

Облекши таким образом возможность будущего произвола над Серебряным в подобие нравственного права, Иоанн выразил на лице своем удовлетворение.

– Ступайте все, – сказал он, – каждый к своему делу! Земским ведать приказы по-прежнему, а опричникам, избранным слугам и полчанам моим,

помнить свое крестное целование и не смущаться тем, что я сегодня простил Никиту: несть бо в сердце моем лицепрятия ни к ближним, ни к дальним!

Стали расходиться. Каждый побрел домой, унося с собою кто страх, кто печаль, кто злобу, кто разные надежды, кто просто хмель в голове. Слобода покрылась мраком, месяц зарождался за лесом. Страшен казался темный дворец, с своими главами, теремками и гребнями. Он издали походил на чудовище, свернувшееся клубом и готовое вспрыгнуть. Одно незакрытое окно светилось, словно око чудовища. То была царская опочивальня. Там усердно молился царь.

Молился он о тишине на святой Руси, молился о том, чтоб дал ему господь побороть измену и непокорство, чтобы благословил его окончить дело великого поту, сравнять сильных со слабыми, чтобы не было на Руси одного выше другого, чтобы все были в равенстве, а он бы стоял один надо всеми, аки дуб во чистом поле!

Молится царь и кладет земные поклоны. Смотрят на него звезды в окно косячатое, смотрят светлые, притуманившись, – притуманившись, будто думая: «Ах ты гой еси, царь Иван Васильевич! Ты затеял дело не в добрый час, ты затеял, нас не спрашаючи: не расти двум колосьям в уровень, не сравнять крутых гор со пригорками, не бывать на земле безбоярщине!»

## ГЛАВА 10. Отец и сын

Была уже ночь, когда Малюта, после пытки Колычевых, родственников и друзей сведенного митрополита, вышел наконец из тюрьмы. Густые тучи, как черные горы, нависли над Слободой и грозили непогодой. В доме Малюты все уже спали. Не спал один Максим. Он вышел навстречу к отцу.

– Батюшка, – сказал Максим, – я ждал тебя; мне нужно переговорить с тобою.

– О чем? – спросил Малюта и невольно отворотил взгляд. Григорий Лукьянович никогда не дрожал перед врагом, но в присутствии Максима ему было неловко.

– Я завтра еду, – продолжал Максим, – прости, батюшка!

– Куда? – спросил Малюта и этот раз устремил тусклый взгляд свой на Максима.

– Куда глаза глядят, батюшка; земля не клином сошлась, места довольно!

– Да что, ты с ума спятил али дурь на себя напустил? И подлинно дурь напустил! Что ты сегодня за обедом наделал? Как у тебя язык повернулся царю перечить? Знаешь ли, кто он и кто ты?

– Знаю, батюшка; и знаю, что он мне за то спасибо сказал. А все же мне нельзя оставаться.

– Ах ты самодур! Да откуда у тебя своя воля взялась? Что случилось с тобой сегодня? Отчего ты теперь уезжать вздумал, когда царь тебя пожаловать изволил, с начальными людьми сравнял? Отчего именно теперь?

– Мне давно тяжело с вами, батюшка; ты сам знаешь; но я не доверял себе; с самого детства только и слышал отовсюду, что царева воля – божья воля, что нет тяжелее греха, как думать иначе, чем царь. И отец Левкий, и все попы слободские мне на духу в великий грех ставили, что я к вам не мыслю. Поневоле иногда раздумье брало, прав ли я один противу всех вас? Поневоле уезжать откладывал. А сегодня, – продолжал Максим, и румянец живо заиграл на лице его, – сегодня я понял, что я прав! Как услышал князя Серебряного, как узнал, что он твой объезд за душегубство разбил и не заперся перед царем в своем правом деле, но как мученик пошел за него на смерть, – тогда забилося к нему сердце мое, как ни к кому еще не бывалось, и вышло из мысли моей колебание, и стало мне ясно как день, что не на вашей стороне правда!



– Так вот кто тебя с толку сбил! – вскричал Малюта, и без того озлобленный на Серебряного, – так вот кто тебя с толку сбил! Попадись он мне только в руки, не скорою смертью издохнет он у меня, собака!

– Господь сохранит его от рук твоих! – сказал Максим, делая крестное знамение, – не попустит он тебя все доброе на Руси погубить! Да, – продолжал, одушевляясь, сын Малюты, – лишь увидел я князя Никиту Романыча, понял, что хорошо б жить вместе с ним, и захотелось мне попроситься к нему, но совестно подойти было: очи мои на него не подымутся, пока буду эту одежду носить!

Малюта слушал сына, и два чувства спорили в нем между собою. Ему хотелось закричать на Максима, затопать на него ногами и привести его угрозами к повиновению, но невольное уважение сковывало его злобу. Он понимал чутьем, что угроза теперь не подействует, и в низкой душе своей начал искать других средств, чтоб удержать сына.

– Максимушка! – сказал он, принимая заискивающий вид, насколько позволяло зверское лицо его, – не в пору ты уезжать затеял! Твое слово понравилось сегодня царю. Хоть и напугал ты меня порядком, да заступились, видно, святые угодники за нас, умягчили сердце батюшки-государя. Вместо чтоб казнить, он похвалил тебя, и жалованья тебе прибавил, и соболиею шубой пожаловал! Посмотри, коли ты теперь в гору не пойдешь! А покамест чем тебе здесь не житье?

Максим бросился в ноги Малюты.

– Не житье мне здесь, батюшка, не житье! Не по силам дома оставаться! Невмоготу слышать вой да плач по вся дни, невтерпеж видеть, что отец мой...

Максим остановился.

– Ну? – сказал Малюта.

– Что отец мой – палач! – произнес Максим и опустил взор, как бы испугавшись, что мог сказать отцу такое слово.

Но Малюта не смутился этим названием.

– Палач палачу рознь! – произнес он, покосившись в угол избы. – Ино рядовой человек, ино начальный; ино простых воров казнить, ино бояр, что подтачивают царский престол и всему государству шатанье готовят. Я в разбойный приказ не вступаюсь; мой топор только и сечет, что изменничьи боярские головы!

– Замолчи, отец! – сказал, вставая, Максим, – не возмущай мне сердца такую речью! Кто из тех, кого погубил ты, умышлял на царя? Кто из них замутил государство? Не по винам, а по злобе своей сечешь ты боярские головы! Кабы не ты, и царь был бы милостивее. Но вы ищете измены, вы

пытками вымучиваете изветы, вы, вы всей крови заводчики! Нет, отец, не гневи бога, не клевети на бояр, а скажи лучше, что без разбора хочешь вконец извести боярский корень!

– Да ты-то с чего за них заступаешься? – сказал с злобною усмешкой Малюта. – Или тебе весело видеть, что ты как ни статен, как ни красен собой, а все остаешься между ними последний? А чем любой из них не по плечу тебе? Чем гордятся они перед нами? Из другой, что ли, земли господь их вылепил? Коли богатством гордятся, так дайте срок, государи! Царь не забывает верных слуг своих; а как дойдут до смертной казни Колычевы, так животы их никому другому, а нам же достанутся. Довольно я над ними, окаянными, в застенке-то промучился; жиловаты, собаки, нечего сказать!

Злоба кипела в сердце Малюты, но он еще надеялся убедить Максима и скривил рот свой в ласковую улыбку. Не личила такая улыбка Малюте, и, глядя на нее, Максиму сделалось страшно.

Но Малюта этого не заметил.

– Максимушка, – сказал он, – на кого же я денежки-то копил? На кого тружусь и работаю? Не уезжай от меня, останься со мною. Ты еще молод, не поспел еще в ратный строй. Не уезжай от меня! Вспомни, что я тебе отец! Как посмотрю на тебя, так и прояснится на душе, словно царь меня похвалил или к руке пожаловал, а обидь тебя кто, – так, кажется, и съел бы живого!

Максим молчал, Малюта постарался придать лицу своему самое нежное выражение.

– Ужели ты, Максимушка, вовсе не любишь меня? ужели ничего ко мне в сердце не шлохнется?

– Ничего, батюшка!

Малюта подавил свою злобу.

– А царь что скажет, когда узнает про твой отъезд, коли подумает, что ты от него уехал?

– От него-то я и еду, батюшка. Меня страх берет. Знаю, что бог велит любить его, а как посмотрю иной раз, какие дела он творит, так все нутро во мне перевернется. И хотелось бы любить, да сил не хватает. Как уеду из Слободы да не будет у меня безвинной крови перед очами, тогда, даст бог, снова царя полюблю. А не удастся полюбить, и так ему послужу, только бы не в опричниках!

– А что будет с матерью твоею? – сказал Малюта, прибегая к последнему средству. – Не пережить ей такого горя! Убьешь ты старуху! Посмотри, какая она, голубушка, хворая!

– Премилостивый бог не оставит матери моей, – ответил со вздохом Максим. – Она простит меня.

Малюта начал ходить по избе взад и вперед. Когда остановился он перед Максимом, ласковое выражение, к которому он приневолил черты свои, совершенно исчезло. Грубое лицо его являло одну непреклонную волю.

– Слушай, молокосос, – сказал он, переменяя приемы и голос, – доселе я упрасивал тебя, теперь скажу вот что: нет тебе на отъезд моего благословения. Не пущу тебя ехать. А не уймешься, завтра же заставлю своими руками злодеев царских казнить. Авось, когда сам окровавишься, бросишь быть белоручкой, перестанешь отцом гнушаться!

Побледнел Максим от речи Малюты и не отвечал ничего. Знал он, что крепко слово Григория Лукьяновича и что не переломить его отцовской воли.

– Вишь, – продолжал Малюта, – разговорился я с тобой; скоро ночь глубокая, пора к царю, ключи от тюрьмы отнести. Вот и дождь полил! Поддай мне терлик. Смотри пожалуй, какой стал прыткий! ехать хочу, не житье мне здесь! Дай ему воли – пожалуй, и меня на свой лад переиначит! Нет, брат, рано крылышки распустил! Я и не таких, как ты, унимал! Я те научу слушаться! Эх, погода, погода! Поддай мне шапку. А молонья-то, молонья! Ишь как небо раззевается! словно вся Слобода загорелась. Заволоки окно да ступай спать, авось к утру выкинешь дурь из головы. А уж до твоего Серебряного я доберусь! Уж я ему-то припомню!

Малюта вышел. Оставшись один, Максим задумался. Все было тихо в доме; лишь на дворе гроза шумела да время от времени ветер, ворвавшись в окно, качал цепи и кандалы, висевшие на стене, и они, ударяя одна о другую, звенели зловещим железным звоном. Максим подошел к лестнице, которая вела в верхнее жилье, к его матери. Он наклонился и стал прислушиваться. Все молчало в верхнем жилье. Максим тихонько взошел по крутым ступеням и остановился перед дверью, за которою покоилась мать его.

– Господи боже мой! – сказал Максим про себя. – Ты зришь мое сердце, ведаешь мои мысли! Ты знаешь, господи, что я не по гордости моей, не по духу строптивому ослушаюсь батюшки! Прости меня, боже мой, аще преступаю твою заповедь! И ты, моя матушка, прости меня! Покидаю тебя без ведома твоего, уезжаю без благословения; знаю, матушка, что надорву тебя сердцем, но ты б не отпустила меня вольною волей! Прости меня, государыня-матушка, не увидишь ты меня боле!

Максим припал к порогу светлицы и облобызал его. Потом он

несколько раз перекрестился, сошел с лестницы и вышел на двор. Дождь лил так сердито, как бы злился на весь люд божий. На дворе не было живой души. Максим вошел в конюшню, конюхи спали. Он сам вывел из стойла любимого коня и оседлал его. Большая цепная собака, прикованная у входа, вылезла из конуры и стала визжать и рваться, как бы чуя с ним разлуку. То был косматый пес из породы пастушьих волкодавов. Длинная жесткая шерсть дымчато-бурого цвета падала ему в беспорядке на черную морду, так что почти вовсе не было видно умных глаз его.

Максим погладил собаку, а она положила ему свои черные лапы на плеча и стала лизать его лицо.

– Прощай, Буян, – сказал Максим, – стереги дом наш, служи верно матери! – Он вскочил в седло, выехал в ворота и ускакал от родительского дома.

Еще не доскакал он до земляного валу, как услышал громкий лай и увидел Буяна, который прыгал вокруг коня, радуясь, что сорвался с цепи и что может сопровождать своему господину.

## ГЛАВА 11. Ночное шествие

Пока Малюта разговаривал с сыном, царь продолжал молиться. Уже пот катился с лица его; уже кровавые знаки, напечатленные на высоком челе прежними земными поклонами, яснее обозначились от новых поклонов; вдруг шорох в избе заставил его обернуться. Он увидел свою мамку, Онуфреву.

Стара была его мамка. Взял ее в Верьх еще блаженной памяти великий князь Василий Иоаннович; служила она еще Елене Глинской. Иоанн родился у нее на руках; у нее же на руках благословил его умирающий отец. Говорили про Онуфреву, что многое ей известно, о чем никто и не подозревает. В малолетство царя Глинские боялись ее; Шуйские и Бельские старались всячески угодить ей.

Много сокрытого узнавала Онуфревна посредством гаданья и никогда не ошибалась. В самое величие князя Телепнева – Иоанну тогда было четыре года – она предсказала князю, что он умрет голодною смертью. Так и сбылось. Много лет протекло с тех пор, а еще свежо было в памяти стариков это предсказанье.

Теперь Онуфреве добивал чуть ли не десятый десяток. Она согнулась почти вдвое; кожа на лице ее так сморщилась, что стала походить на древесную кору, и как на старой коре пробивается мох, так на бороде Онуфревы пробивались волосы седыми клочьями. Зубов у нее давно уже не было, глаза, казалось, не могли видеть, голова судорожно шаталась.

Онуфревна опиралась костлявою рукой на клюку. Долго смотрела она на Иоанна, вбирая в себя пожелтевшие губы, как будто бы что-то жевала или бормотала.

– Что? – сказала наконец мамка глухим, дребезжащим голосом, – молишься, батюшка? Молись, молись, Иван Васильич! Много тебе еще отмаливаться! Еще б одни старые грехи лежали на душе твоей! Господь-то милостив; авось и простил бы! А то ведь у тебя что ни день, то новый грех, а иной раз и по два и по три на день придется!

– Полно, Онуфревна, – сказал царь, вставая, – сама не знаешь, что говоришь!

– Не знаю, что говорю! Да разве я из ума выжила, что ли?

И безжизненные глаза старухи внезапно заблестали.

– Да что ты сегодня за столом сделал? За что отравил боярина-то? Ты думал, я и не знаю! Что? чего брови-то хмуришь? Вот погоди, как пробьет

твой смертный час; погоди только! Уж привяжутся к тебе грехи твои, как тысячи тысяч пудов; уж потянут тебя на дно адово! А дьяволы-то подскочат, да и подхватят тебя на крючья!

Старуха опять принялась сердито жевать.

Усердная молитва приготовила царя к мыслям набожным. Раздражительное воображение не раз уже представляло ему картину будущего возмездия, но сила воли одолевала страх загробных мучений. Иоанн уверял себя, что страх этот и даже угрызения совести возбуждаемы в нем врагом рода человеческого, чтоб отвлечь помазанника божия от высоких его начинаний. Хитростям дьявола царь противопоставил молитву; но часто изнемогал под жестоким напором воображения. Тогда отчаяние схватывало его как железными когтями. Неправость дел его являлась во всей наготе, и страшно зияли перед ним адские бездны. Но это продолжалось недолго. Вскоре Иоанн негодовал на свое малодушие. В гневе на самого себя и на духа тьмы, он опять, назло аду и наперекор совести, начинал дело великой крови и великого поту, и никогда жестокость его не достигала такой степени, как после невольного изнеможенья.

Теперь мысль об аде, оживленная наступающею грозой и пророческим голосом Онуфьевны, проняла его насквозь лихорадочною дрожью. Он сел на постель. Зубы его застучали один о другой.

– Ну, что, батюшка? – сказала Онуфьевна, смягчая свой голос, – что с тобой случилось? Захворал, что ли? Так и есть, захворал! Напугала же я тебя! Да нужды нет, утешься, батюшка, хоть и велики грехи твои, а благость-то божия еще больше! Только покайся, да вперед не греши. Вот и я молюсь, молюсь о тебе и денно и нощно, а теперь и того боле стану молиться. Что тут говорить? Уж лучше сама в рай не попаду, да тебя отмолю!

Иоанн взглянул на свою мамку, – она как будто улыбалась, но неприветлива была улыбка на суровом лице ее.

– Спасибо, Онуфьевна, спасибо; мне легче; ступай себе с богом!

– То-то легче! Как обнадежишь тебя, куда и страх девался; уж и гнать меня вздумал: ступай, мол, с богом! А ты на долготерпение-то божие слишком не рассчитывай, батюшка. На тебя и у самого у господина терпения-то не станет. Отречется он от тебя, посмотри, а сатана-то обрадуется, да шарх! и войдет в тебя. Ну вот, опять дрожать начал! Не худо б тебе сбитеньку испить. Испей сбитеньку, батюшка! Бывало, и родитель твой на ночь сбитень пивал, царствие ему небесное! И матушка твоя, упокой господи душу ее, любила сбитень. В сбитне-то и опоили ее проклятые Шуйские!

Старуха как будто забылась. Глаза ее померкли; она опять принялась

жевать губами, непрерывно шатавая головой.

Вдруг что-то застучало в окно. Иван Васильевич вздрогнул.

Старуха перекрестилась дрожащею рукой.

– Вишь, – сказала она, – дождь полил! И молонья блистать начинает! А вот и гром, батюшка, помилуй нас господи!

Гроза усиливалась все более и скоро разыгралась по небу непрерывными перекатами, беспрестанною молнией.

При каждом ударе грома Иоанн вздрагивал.

– Вишь, какой у тебя озноб, батюшка! Вот погоди маленько, я велю тебе сбитеньку заварить...

– Не надо, Онуфревна, я здоров...

– Здоров! Да на тебе лица не видать. Ты б на постелю-то лег, одеялом-то прикрылся бы. И чтой-то у тебя за постель, право! Доски голые. Охота тебе! Царское ли это дело? Ведь это хорошо монаху, а ты не монах какой!

Иоанн не отвечал. Он к чему-то прислушивался.

– Онуфревна, – сказал он вдруг с испугом, – кто там ходит в сенях? Я слышу шаги чьи-то!

– Христос с тобой, батюшка! кому теперь ходить. Послышалось тебе.

– Идет, идет кто-то! Идет сюда! Посмотри, Онуфревна!

Старуха отворила дверь, холодный ветер пахнул в избу. За дверью показался Малюта.

– Кто это? – спросил царь, вскакивая.

– Да твой рыжий пес, батюшка, – отвечала мамка, сердито глядя на Малюту, – Гришка Скуратов; вишь, как напугал, проклятый!

– Лукьяныч! – сказал царь, обрадованный приходом любимца, – добро пожаловать; откуда?

– Из тюрьмы, государь; был у розыску, ключи принес! – Малюта низко поклонился царю и покосился на мамку.

– Ключи! – проворчала старуха, – уж припекут тебя на том свете раскаленными ключами, сатана ты этакой! Ей-богу, сатана! И лицо-то дьявольское! Уж кому другому, а тебе не миновать огня вечного! Будешь, Гришка, лизать сковороды горячие за все клеветы свои! Будешь, проклятый, в смоле кипеть, помяни мое слово!

Молния осветила грозящую старуху, и страшна была она с поднятою клюкой, с сверкающими глазами.

Сам Малюта несколько струсил; но Иоанна ободрило присутствие любимца.

– Не слушай ее, Лукьяныч, – сказал он, – знай свое дело, не смотри на бабьи толки. А ты ступай себе, старая дура, оставь нас!

Глаза Онуфьевны снова засверкали.

– Старая дура? – повторила она, – я старая дура? Вспомняете вы меня на том свете, оба вспомняете! Все твои поплечники, Ваня, все примут мзду свою, еще в сей жизни примут, и Грязной, и Басманов, и Вяземский; кому ждо воздается по делам его, а этот, – продолжала она, указывая клюкою на Малюту, – этот не примет мзды своей: по его делам нет и муки на земле; его мука на дне адовом; там ему и место готово; ждут его дьяволы и радуются ему! И тебе есть там место, Ваня, великое, теплое место!

Старуха вышла, шаркая ногами и стуча клюкой. Иоанн был бледен. Малюта не говорил ни слова. Молчание продолжалось довольно долго.

– Что ж, Лукьяныч, – сказал наконец царь, – винаются Колычевы?

– Нет еще, государь. Да уж повинятся, у меня не откашляются!

Иоанн вошел в подробности допроса. Разговор о Колычевых дал его мыслям другое направление.

Ему показалось, что он может заснуть. Отослав Малюту, он лег на постель и забылся.

Его разбудил как будто внезапный толчок.

Изба слабо освещалась образными лампадами. Луч месяца, проникая сквозь низкое окно, играл на расписанных изразцах лежанки. За лежанкой кричал сверчок. Мышь грызла где-то дерево.

Среди этой тишины Ивану Васильевичу опять сделалось страшно.

Вдруг ему почудилось, что приподымается половица и смотрит из-под нее отравленный боярин.

Такие видения случались с Иоанном нередко. Он приписывал их адскому мороченью. Чтобы прогнать призрак, он перекрестился.

Но призрак не исчез, как то случалось прежде. Мертвый боярин продолжал смотреть на него исподлобья. Глаза старика были так же навывкате, лицо так же сине, как за обедом, когда он выпил присланную Иоанном чашу.

«Опять наваждение! – подумал царь, – но не поддамся я прелести сатанинской, сокрушу хитрость дьявольскую. Да воскреснет бог, и да расточатся врази его!»

Мертвец медленно вытянулся из-под полу и приблизился к Иоанну.

Царь хотел закричать, но не мог. В ушах его страшно звенело.

Мертвец наклонился перед Иоанном.

– Здрав буди, Иване! – произнес глухой нечеловеческий голос, – се кланяюся тебе, иже погубил еси мя безвинно!

Слова эти отозвались в самой глубине души Иоанна. Он не знал, от призрака ли их слышит или собственная его мысль выразилась



ощутительным для уха звуком.

Но вот приподнялась другая половица; из-под нее показалось лицо окольного Данилы Адашева, казненного Иоанном четыре года тому назад.

Адашев также вытянулся из-под полу, поклонился царю и сказал:

– Здрав буди, Иване, се кланяюся тебе, иже казнил еси мя безвинно!

За Адашевым явилась боярыня Мария, казненная вместе с детьми. Она поднялась из-под полу с пятью сыновьями. Все поклонились царю, и каждый сказал:

– Здрав буди, Иване! се кланяюся тебе!

Потом показались князь Курлятев, князь Оболенский, Никита Шереметев и другие казненные или убитые Иоанном.

Изба наполнилась мертвецами. Все они низко кланялись царю, все говорили:

– Здрав буди, здрав буди, Иване, се кланяемся тебе!

Вот поднялись монахи, старцы, инокини, все в черных ризах, все бледные и кровавые.

Вот показались воины, бывшие с царем под Казанью.

На них зияли страшные раны, но не в бою добытые, а нанесенные палачами.

Вот явились девы в растерзанной одежде и молодые жены с грудными младенцами. Дети протягивали к Иоанну окровавленные ручонки и лепетали:

– Здрав буди, здрав буди, Иване, иже погубил еси нас безвинно!

Изба все более наполнялась призраками. Царь не мог уже различить воображения от действительности.

Слова призраков повторялись стократными отголосками. Отходные молитвы и панихидное пение в то же время раздавались над самыми ушами Иоанна. Волосы его стояли дыбом.

– Именем бога живого, – произнес он, – если вы бесы, насланные вражью силою, – сгиньте! Если вы вправду души казненных мною – дожидайтесь Страшного суда божия! Господь меня с вами рассудит!

Взвыли мертвецы и закружились вокруг Иоанна, как осенние листья, гонимые вихрем. Жалобнее раздалось панихидное пение, дождь опять застучал в окно, и среди шума ветра царю слышались как будто звуки труб и голос, взывающий:

– Иване, Иване! на суд, на суд!

Царь громко вскрикнул. Спальники вбежали из соседних покоев в опочивальню.

– Вставайте! – закричал царь, – кто спит теперь! Настал последний день, настал последний час! Все в церковь! Все за мною!

Царедворцы засуетились. Раздался благовест. Только что уснувшие опричники услышали знакомый звон, вскочили с полатей и спешили одеться.

Многие из них пировали у Вяземского. Они сидели за кубками и пели удалые песни. Услышав звон, они вскочили и надели черные рясы поверх богатых кафтанов, а головы накрыли высокими шлыками.

Вся Слобода пришла в движение. Церковь божией матери ярко осветилась. Встревоженные жители бросились к воротам и увидели множество огней, блуждающих во дворце из покоя в покой. Потом огни образовали длинную цепь, и шествие потянулось змеею по наружным переходам, соединявшим дворец со храмом Божиим.

Все опричники, одетые однолично в шлыки и черные рясы, несли смоляные свечки. Блеск их чудно играл на резных столбах и на стенных украшениях. Ветер раздувал рясы, а лунный свет вместе с огнем отражался на золоте, жемчуге и дорогих камнях.

Впереди шел царь, одетый иноком, бил себя в грудь и взывал, громко рыдая:

– Боже, помилуй мя, грешного! Помилуй мя, смрадного пса! Помилуй мою скверную голову! Упокой, господи, души побитых мною безвинно!

У преддверия храма Иоанн упал в изнеможении.

Свечки озарили старуху, сидевшую на ступенях. Она протянула к царю дрожащую руку.

– Встань, батюшка! – сказала Онуфьевна, – я помогу тебе. Давно я жду тебя. Войдем, Ваня, помолимся вместе!

Двое опричников подняли царя под руки. Он вошел в церковь.

Новые шествия, также в черных рясах, также в высоких шлыках, спешили по улицам с зажженными свечками. Храмовые ворота поглощали все новых и новых опричников, и исполинские лики святых смотрели на них, негодуя, с высоты стен и глав церковных.

Среди ночи, дотоле безмолвной, раздалось пение нескольких сот голосов, и далеко слышны были звон колокольный и протяжные псалмы.

Узники в темницах вскочили, гремя цепями, и стали прислушиваться.

– Это царь заутреню служит! – сказали они. – Умягчи, боже, его сердце, вложи милость в душу его!

Маленькие дети в слободских домах, спавшие близ матерей, проснулись в испуге и подняли плач. Иная мать долго не могла унять своего ребенка.

– Молчи! – говорила она наконец, – молчи, не то Малюта услышит!

И при имени Малюты ребенок переставал плакать, в испуге прижимался к матери, и среди ночного безмолвия раздавались опять лишь псалмы опричников да непрерывный звон колокольный.

## ГЛАВА 12. Клевета

Солнце взошло, но не радостное утро настало для Малюты. Возвратясь домой, он не нашел сына и догадался, что Максим навсегда бросил Слободу. Велика была ярость Григорья Лукьяныча. Во все концы поскакала погоня. Конюхов, проспавших отъезд Максима, Малюта велел тотчас вкинуть в темницу.

Нахмуря брови, стиснув зубы, ехал он по улице и раздумывал, доложить ли царю или скрыть от него бегство Максима.

Конский топот и веселая молвь слышались за его спиною. Малюта оглянулся. Царевич с Басмановым и толпою молодых удалцов возвращался с утренней прогулки. Рыхлая земля размокла от дождя, кони ступали в грязи по самые бабки. Завидев Малюту, царевич пустил своего аргамака вскачь и обрызгал грязью Григорья Лукьяновича.

– Кланяюсь тебе земно, боярин Малюта! – сказал царевич, останавливая коня. – Встретили мы тотчас твою погоню. Видно, Максиму солоно пришлось, что он от тебя тягу дал. Али ты, может, сам послал его к Москве за боярскою шапкой, да потом раздумал?

И царевич захохотал.

Малюта, по обычаю, слез с коня. Стоя с обнаженной головой, он всею ладонью стирал грязь с лица своего. Казалось, ядовитые глаза его хотели пронзить царевича.

– Да что он грязь-то стирает? – заметил Басманов, желая подслужиться царевичу, – добро на ком другом, а на нем не заметно!

Басманов говорил вполголоса, но Скуратов его услышал. Когда вся толпа, смеясь и разговаривая, ускакала за царевичем, он надел шапку, влез опять на коня и шагом поехал ко дворцу.

«Добро! – думал он про себя, – дайте срок, государи, дайте срок!» И побледневшие губы его кривились в улыбку, и в сердце, уже раздраженное сыновним побегом, медленно созревало надежное мщение неосторожным оскорбителям.

Когда Малюта вошел во дворец, Иван Васильевич сидел один в своем покое. Лицо его было бледно, глаза горели. Черную рясу заменил он желтым становым кафтаном, стеганным полосами и подбитым голубою бахтой. Восемь шелковых завязок с длинными кистями висели вдоль разреза. Посох и колпак, украшенный большим изумрудом, лежали перед царем на столе. Ночные видения, непрерывная молитва, отсутствие сна не

истощили сил Иоанновых, но лишь привели его в высшую степень раздражительности. Все испытанное ночью опять представилось ему обморочением дьявола. Царь стыдился своего страха.

«Враг имени Христова, – думал он, – упорно перечит мне и помогает моим злодеям. Но не дам ему надо мною тешиться! Не уstraшуся его наваждений! Покажу ему, что не по плечу он себе борца нашел!»

И решился царь карать по-прежнему изменников и предавать смерти злодеев своих, хотя были б их тысячи.

И стал он мыслию пробегать подданных и между ними искать предателей.

Каждый взгляд, каждое движение теперь казалось ему подозрительным.

Он припоминал разные слова своих приближенных и в словах этих искал ключа к заговорам. Самые родные не избежали его подозрений.

Малюта застал его в состоянии, похожем на лихорадочный бред.

– Государь, – сказал, помолчав, Григорий Лукьянович, – ты велишь пытать Колычевых про новых изменников. Уж положишься на меня. Я про все заставлю Колычевых с пыток рассказать. Одного только не сумею: не сумею заставить их назвать твоего наибольшего супротивника!

Царь с удивлением взглянул на любимца.

В глазах Малюты было что-то необыкновенное.

– Оно, государь, дело такое, – продолжал Скуратов, и голос его изменился, – что и глаз видит, и ухо слышит, а вымолвить язык не поворотится...

Царь смотрел на него вопрошающим оком.

– Вот ты, государь, примерно, уже много воров казнил, а измена все еще на Руси не вывелась. И еще ты столько же казнишь и вдесятеро более, а измены всё не избудишь!

Царь слушал и не догадывался.

– Оттого, государь, не избыть тебе измены, что ты рубишь у нее сучья да ветви, а ствол-то самый и с корнем стоит здоровехонек!

Царь все еще не понимал, но слушал с возрастающим любопытством.

– Видишь, государь, как бы тебе сказать. Вот, примерно, вспомни, когда ты при смерти лежал, дай бог тебе много лет здравствовать! а бояре-то на тебя, трудного, заговор затеяли. Ведь у них был тогда старшой, примерно, братец твой Володимир Андреич!

«А! – подумал царь, – так вот что значили мои ночные видения! Враг хотел помрачить разум мой, чтоб убоялся я сокрушить замыслы брата. Но будет не так. Не пожалею и брата!»

– Говори, – сказал он, обращаясь грозно к Малюте, – говори, что знаешь про Володимира Андреича!

– Нет, государь, моя речь теперь не про Володимира Андреича. В нем я уже того не чаю, чтобы он что-либо над тобой учинил. И бояре к нему теперь уже не мыслят. Давно перестал он подыскиваться под тобою царства. Моя речь не про него.

– Про кого же? – спросил царь с удивлением, и черты его судорожно задвигались.

– Видишь, государь: Володимир-то Андреич раздумал государство мутить, да бояре-то не раздумали. Они себе на уме; не удалось, мол, его на царство посадить, так мы посадим...

Малюта замялся.

– Кого? – спросил царь, и глаза его запылали.

Малюта позеленел.

– Государь! Не все пригоже выговаривать. Наш брат думай да гадай, а язык держи за зубами.

– Кого? – повторил Иоанн, вставая с места.

Малюта медлил ответом.

Царь схватил его за ворот обеими руками, придвинул лицо его к своему лицу и впился в него глазами.

Ноги Малюты стали подкашиваться.

– Государь, – сказал он вполголоса, – ты на него не гневайся, ведь он не сам вздумал!

– Говори! – произнес хриплым шепотом Иоанн и стиснул крепче ворот Малюты.

– Ему-то и на ум бы не взбрело, – продолжал Малюта, избегая царского взора, – ну, а должно быть, подбили его. Кто к нему поближе, тот и подбил. А он, грешный человек, подумал себе: немного позже, немного ране, все тем же кончится.

Царь начал догадываться. Он сделался бледнее. Пальцы его стали разгибаться и выпускать ворот Малюты.

Малюта оправился. Он понял, что настала пора для решительного удара.

– Государь! – сказал он вдруг резко, – не ищи измены далеко. Супротивник твой сидит супротив тебя, он пьет с тобой с одного ковша, ест с тобой с одного блюда, платье носит с одного плеча!

Замолчал Скуратов и, полный ожидания, решился устремить на царя кровавые глаза свои.

Замолчал и царь. Руки его опустились. Понял он наконец Малюту.

В это мгновение раздались на дворе радостные крики.

Еще в самое то время, как начался разговор между царем и Скуратовым, царевич с своими окольными въехал на двор, где ожидали его торговые люди черных сотен и слобод, пришедшие от Москвы с хлебом-солью и с челобитьем.

Увидев царевича, они все стали на колени.

– Чего вы просите, аршинники? – спросил небрежно царевич.

– Батюшка! – отвечали старшины, – пришли мы плакаться твоей милости! Будь нам заступником! Умилосердись над нашими головами! Разоряют нас совсем опричники, заедают и с женами и с детьми!

– Вишь, дурачье! – сказал царевич, обращаясь с усмешкой к Басманову. – Они б хотели и жен и товар про себя одних держать! Да чего вы расхныкались? Ступайте себе домой; я, пожалуй, попрошу батюшку за вас, дураков!

– Отец ты наш, дай бог тебе многие лета! – закричали торговые люди.

Царевич сидел на коне. Возле него был Басманов. Просители стояли перед ними на коленях. Старший держал золотое блюдо с хлебом-солью.

Малюта все видел из окна.

– Государь, – шепнул он царю, – должно быть, его подбил кто-нибудь из тех, что теперь с ним. Посмотри, вот уже народ ему на царстве здоровает!

И как чародей пугается недоброй силы, которую сам он вызвал, так Малюта испугался выражения, которое слова его вызвали на чертах Иоанна.

С лица царя исчезло все человеческое. Таким страшным никогда не видывал его Малюта.

Прошло несколько мгновений. Вдруг Иоанн улыбнулся.

– Гриша, – сказал он, положив обе руки на плеча Скуратова, – как бишь ты сейчас говорил? Я рублю сучья да ветки, а ствол-то стоит здоровешенек? Гриша, – продолжал царь, медленно выговаривая каждое слово и смотря на Малюту с какой-то страшной доверчивостью, – берешься ли ты вырвать с корнем измену?

Злобная радость скривила рот Малюты.

– Для твоей милости берусь, – прошептал он, дрожа всем телом.

Выражение Иоанна мгновенно изменилось. Улыбка исчезла, и черты приняли холодную, непреклонную неподвижность. Лицо его казалось высеченным из мрамора.

– Не надо медлить! – сказал он отрывисто и повелительно. – Никто чтобы не знал об этом. Он сегодня будет на охоте. Сегодня же пусть найдут

его в лесу. Скажут, он убился с коня. Знаешь ты Поганую Лужу?

– Знаю, государь.

– Там чтоб нашли его! – Царь указал на дверь.

Малюта вышел и в сенях вздохнул свободнее.

Царь долго оставался неподвижен. Потом он медленно подошел к образам и упал пред ними на колени.

Из всех слуг Малютиных самый удалый и расторопный был стремянный его Матвей Хомяк. Он никогда не уклонялся от опасности, любил буйство и наездничество и уступал в зверстве лишь своему господину. Нужно ли было поджечь деревню или подкинуть грамоту, по которой после казни боярина, требовалось ли увести жену чью-нибудь, всегда посылали Хомяка. И Хомяк поджигал деревни, подкидывал грамоты и вместо одной жены привозил их несколько.

К Хомяку обратился и теперь Григорий Лукьянович. Что они толковали вместе, того никто не услышал. Но в это самое утро, когда гончие царевича дружно заливались в окрестностях Москвы, а внимание охотников, стоявших на лазах, было поглощено ожиданием, и каждый напрягал свое зрение, и ни один не заботился о том, что делали его товарищи, – в это время по глухому проселку скакали, удаляясь от места охоты, Хомяк и Малюта, а промеж них со связанными руками, прикрученный к седлу, скакал кто-то третий, которого лицо скрывал черный башлык, надвинутый до самого подбородка. На одном из поворотов проселка примкнули к ним двадцать вооруженных опричников, и все вместе продолжали скакать, не говоря ни слова.

Охота меж тем шла своим чередом, и никто не заметил отсутствия царевича, исключая двух стремянных, которые теперь издыхали в овраге, пронзенные ножами.

Верст тридцать от Слободы, среди дремучего леса, было топкое и непроходимое болото, которое народ прозвал Поганою Лужей. Много чудесного рассказывали про это место. Дровосеки боялись в сумерки подходить к нему близко. Уверяли, что в летние ночи над водою прыгали и резвились огоньки, души людей, убитых разбойниками и брошенных ими в Поганую Лужу.

Даже среди белого дня болото имело вид мрачной таинственности. Большие деревья, лишённые снизу ветвей, поднимались из воды, мутной и черной. Отражаясь в ней, как в туманном зеркале, они принимали чудный вид уродливых людей и небывалых животных. Не слышно было вблизи болота человеческого голоса. Стаи диких уток прилетали иногда плескаться на его поверхности. В камыше раздавался жалобный крик водяной



курочки. Черный ворон пролетал над вершинами деревьев, и злое карканье его повторялось отголосками. Иногда слышны были далеко-далеко стук топора, треск надрубленного дерева и глухое падение.

Но когда солнце опускалось за вершины, когда над болотом подымался прозрачный пар, стук топора умолкал, и прежние звуки заменялись новыми. Начиналось однообразное кваканье лягушек, сперва тихое и отрывистое, потом громкое, слитым хором.

Чем более сгущалась темнота, тем громче кричали гады. Голоса их составляли как бы один непрерывный и продолжительный гул, так что ухо к нему привыкало и различало сквозь него и дальний вой волков, и вопли филина. Мрак становился гуще; предметы теряли свой прежний вид и облекались в новую наружность. Вода, древесные ветви и туманные полосы сливались в одно целое. Образы и звуки смешивались вместе и ускользали от человеческого понятия. Поганая Лужа сделалась достоянием силы нечистой.

К сему-то проклятому месту, но не в темную ночь, а в утро солнечное, Малюта и опричники его направляли бег свой.

В то самое время, как они торопились и погоняли коней, другие молодцы, недоброго вида, собирались в дремучем лесу недалеко от Поганой Лужи.

## ГЛАВА 13. Ванюха Перстень и его товарищи

На широкой поляне, окруженной древними дубами и непроходимым ломом, стояло несколько земляных куреней; а между ними на опрокинутых пнях, на вывороченных корнях, на кучах сена и сухих листьев лежало и сидело множество людей разных возрастов, в разных одеждах. Вооруженные молодцы беспрестанно выходили из глубины леса и присоединялись к товарищам. Много было между ними разнообразия. Сермяги, ферязи и зипуны, иные в лохмотьях, другие блестящие золотом, виднелись сквозь ветви деревьев. У иных молодцов были привешены к бедрам сабли, другие мотали в руках кистени или опирались на широкие бердыши. Немало было тут рубцов, морщин, всклокоченных голов и бород нечесаных.

Удалое товарищество разделилось на разные кружки. В самой середине поляны варили кашу и жарили на прутьях говядину. Над трескучим огнем висели котлы; дым отделялся сизым облаком от зеленого мрака, окружавшего поляну как бы плотную стеной. Кашевары покашливали, терли себе глаза и отворачивались от дыму.

Немного подалее старик, с седой кудрявой головой, с длинной бородой, рассказывал молодежи какую-то сказку. Он говорил стоя и опершись на топор, насаженный на длинную палку. В этом положении старику было ловчее рассказывать, чем сидя. Он мог и выпрямиться, и обернуться во все стороны, и в приличном месте взмахнуть топором, и присвистнуть по-молодецки. Ребята слушали его с истинным наслаждением. Они уши поразвесили и рты пораззевали. Кто присел на землю, кто взобрался на сучок, кто просто расставил ноги и выпучил глаза; но большая часть лежала на животах, упершись локтями оземь, а подбородком о ладони: оно-де сподручнее.

Далее двое молодцов тузили друг друга по голове кулаками. Игра состояла в том, что кто-де из нас первый попросит пощады. И ни одному не хотелось просить ее. Уже оба противника побагровели, как две свеклы, но дюжие кулаки не переставали стучать о головы, словно молоты о наковальни.

– Эй, не будет ли с тебя, Хлопко? – спросил тот, который казался послабее.

– Небось, брат Андрюшка! когда будет, скажу. А вот тебе так сейчас плохо придется!

И кулаки продолжали стучать.

– Смотрите, братцы, вот Андрюшка тотчас свалится, – говорили зрители.

– Нет, не свалится! – отвечали другие. – Зачем ему свалиться, у него голова здорова!

– А вот увидишь, свалится!

Но Андрюшке и подлинно не хотелось свалиться. Он изловчился и, вместо чтобы ударить противника по макушке, хватил его кулаком в висок.

Хлопко опрокинулся.

Многие из зрителей захохотали, но большая часть изъявила негодование.

– Не честно! не честно! – закричали они. – Андрюшка слукавил! Отодрать Андрюшку!

И Андрюшку тотчас же отодрали.

– Откуда молодцов бог несет? – спросил старый сказочник у нескольких парней, которые подошли к огню и робко озирались во все стороны.

Их привел ражий детина с широким ножом за поясом; на парнях не было оружия, они казались новичками.

– Слышь, вы, соколики! – сказал, обращаясь к ним, ражий детина, – дедушка Коршун спрашивает, откуда вас бог принес? Отвечайте дедушке!

– Да оно, тово, вот как будет. Я-то из-под Москвы! – отвечал один из парней, немного запинаясь.

– А зачем из гнездышка вылетел? – спросил Коршун, – нешто морозомхватило али чересчур жарко стало?

– Стало быть, жарко! – отвечал парень. – Как опричники избу-то запалили, так сперва стало жарко, а как сгорела-то изба, так и морозомхватило на дворе!

– Вот оно как. Ты парень не глупый. Ну, а ты чего пришел?

– А родни искать!

Разбойники захохотали.

– Вишь, что выдумал! Какой тебе родни?

– Да как убили опричники матушку да батюшку, сестер да братьев, скучно стало одному на свете; думаю себе: пойду к добрым людям; они меня накормят, напоят, будут мне братьями да отцами! Встретил в кружале вот этого молодца, догадался, что он ваш, да и попросил взять с собою.

– Добрый ты парень! – сказали разбойники, – садись с нами, хлеб да

соль, мы тебе будем братьями!

– А этот чего стоит, повеся нос, словно несолоно хлебал? Эй ты, плакса, что губы надул? Откуда ты?

– С-под Коломны! – отвечал, лениво ворочая языком, дюжий молодой парень, стоявший с печальным видом позади других.

– Что ж, и тебя опричники обидели, что ли?

– Невесту взяли! – отвечал парень нехотя и протяжно.

– А ну-ка, расскажи!

– Да что тут рассказывать! Наехали, да и взяли!

– Ну, а потом?

– Что ж, потом? Потом ничаво!

– Зачем же ты не отбил невесты?

– Где ж ее было отбивать? Как наехали, так и взяли.

– А ты на них так и смотрел, разиня рот?

– Нет, опосля, как удрали-то, так уж так осерчал, что боже сохрани.

Разбойники опять захохотали.

– Да ты, брат, видно, тяжел на подъем!

Парень скроил глупое лицо и не отвечал.

– Эй ты, пареная репа! – сказал один разбойник, – взяли у тебя невесту, так из-за этого еще нечего киснуть! другую найдешь!

Парень смотрел, разиня рот, и не говорил ни слова.

Лицо его разбойникам показалось забавным.

– Слышь ты, с тобой говорят! – сказал один из них, толкая его под бок.

Парень молчал.

Разбойник толкнул его крепче.

Парень посмотрел на него так глупо, что все опять принялись хохотать.

Несколько человек подошли к нему и стали толкать его. Парень не знал, сердиться ли ему или нет; но один толчок сильнее других вывел его из сонного хладнокровия.

– Полно вам пхаться! – сказал он, – что я вам, куль муки, что ль, дался? Перестаньте, осерчаю!

Разбойники пуще стали смеяться.

Парню и в самом деле хотелось рассердиться, только лень и природная сонливость превозмогали его гнев. Ему казалось, что не стоит сердиться из-за безделицы, а важной-то причины не было!

– Серчай же, дурень! – сказали разбойники, – что ж ты не серчаешь?

– А ну-тка, толкните-ка ящо!

– Вишь, какой лакомый! На, вот тебе!

– А ну-тка крепчае!  
– Вот тебе!  
– Ну тыперь держитесь! – сказал парень, рассердясь наконец не на шутку.

Он засучил рукава, плюнул в кулаки и принялся катать правого и виноватого. Разбойники не ожидали такого нападения. Те, которые были поближе, в один миг опрокинулись и сшибли с ног товарищей. Вся ватага отхлынула к огню; котел упал, и щи разлились на уголья.

– Тише, ты, тише, сатана! Чего расходился! Говорят тебе, тише! – кричали разбойники.

Но парень уже ничего не слышал. Он продолжал махать кулаками вправо и влево и каждым ударом сшибал по разбойнику, а иногда и по два.

– Вишь, медведь! – говорили те, которые успевали отскочить в сторону.

Наконец парень образумился. Он перестал драться и остановился посреди опрокинутых и разбитых горшков, почесывая затылок, как будто желая сказать: «Что ж это я, в самом деле, наделал!»

– Ну, брат, – сказали разбойники, подымаясь на ноги и потирая ребра, – кабы ты тогда в пору осерчал, не отбили бы у тебя невесты! Вишь, какой Илья Муромец!

– Да как тебя зовут, молодца? – спросил старый разбойник.

– А Митькою!

– Ну Митька! Ай да Митька!

– Вот уж Митька!

– Ребята! – сказал, подбегая к ним, один молодец, – атаман опять начал рассказывать про свое житье на Волге. Все бросили и песни петь, и сказки слушать, сидят вокруг атамана. Пойдем поскорее, а то места не найдем!

– Пойдем, пойдем слушать атамана! – раздалось между разбойниками.

На срубленном пне, под тенью огромного дуба, сидел широкоплечий детина среднего роста, в богатом зипуне, шитом золотом. Голову его покрывала мисюрка, или железная круглая шапка, вроде тафьи, называвшаяся также и наплешником. К шапке приделана была бармица, или стальная кольчатая сеть, защищавшая от сабельных ударов затылок, шею и уши. Широкоплечий детина держал в руке чекан, молот, заостренный с задней стороны и насаженный на топорище. В этом убранстве трудно было бы узнать старого нашего знакомого, Ванюху Перстня. Глаза его бегали во все стороны. Из-под коротких черных усов сверкали зубы столь ослепительной белизны, что они, казалось, освещали все лицо его.

Разбойники молчали и слушали.

– Так вот, братцы, – говорил Перстень, – это еще не диковина, остановить обоз или боярина ограбить, когда вас десятеро на одного. А вот была бы диковина, кабы один остановил да ограбил человек пятьдесят или боле!

– Эх, хватил! – отозвались разбойники, – малого захотел! Небось ты остановишь!

– Моя речь не про меня, а знаю я молодца, что и один обозы останавливал!

– Уж не опять ли твой волжский богатырь!

– Да не кто другой. Вот, примерно, тянулось раз судишко на бичеве из-под Астрахани вверх по матушке-Волге. На судишке-то народу было немало: всё купцы молодцы с пищалями, с саблями, кафтаны нараспашку, шапки набекрень, не хуже нашего брата. А грузу-то: золота, камней самоцветных, жемчугу, вещей астраханских и всякой дряни; еще, али полно! Берег-то высокий, бичевник-то узенький, а среди Волги остров: скала голая, да супротив теченья, словно ножом угол вышел, такой острый, что боже упаси.

Вот проведал мой молодец, с чем бог несет судно. Не сказал никому ни слова, пошел с утра, засел в кусты, в ус не дует. Проходит час, проходит другой, идут, понатужившись, лямочники, человек двенадцать, один за другим, налегли на ремни, да и кряхтят, высунув языки. Судишко-то, видно, не легонько, да и быстрина-то народу не под силу!

Вот мой молодец и прожди, чтоб они скалу-то остроу миновали саженой на полсотни. Да как выскочит из-за кустов, да как хватит саблей поперек бичевы, так и перерубил пополам, а лямочники-то как шли, сердечные, так и шлепнулись оземь носами. Тут он кого кистенем, кого кулаком, а кто вскочил да давай бог ноги! Понесло судно назад по течению, прямо на скалу. Всполошились купцы, никто и стрелять не думает, думают только, как бы миновать угол, чтобы судна-то не разбить! А мой молодец одной рукой поймай бичеву, а другой ухватись за дерево, да и останови судно:

«Эй вы, аршинники, купцы! удалые молодцы! Бросайте в воду сабли да пищали, честью прошу, не то бичеву пущу, так вас и с грузом поминай как звали!»

Купцы навели было на богатыря стволы, да тотчас и опустили; думают: как же это? убьем его, так некому и бичевы поддержать!

Нечего делать, побросали оружие в воду, да только не всё, думают, как взойдешь, молодец, на палубу грабить судно, так мы тут тебе и карачун! Да

мой богатырь не промах.

«Добро, говорит, купчики голубчики, пошло оружие ко дну, ступайте ж и вы, куда кому угодно! А сказать другими словами: прыгайте с судна вниз головами!»

Они было замялись, а он, ребяташки, зацепил бичеву за дерево, схватил пицаль, да и пустил по них пулю.

Тут все, сколько ни было их, попрыгали в воду, словно лягушки.

А он кричит:

«Не плыть сюда, приставай к тому берегу, не то всех, как уток, перестреляю!»

Что, ребята, каков богатырь?

– Молодец! – сказали разбойники, – вот уж подлинно молодец! Да что ж он с судном-то сделал?

– С судном-то? А намотал на руку бечеву, словно нитку с бумажным змеем, да и вытащил судно на мель.

– Да что ж, он ростом с Полкана, что ли?

– Нет, не с Полкана. Ростом-то он не боле мово, да плечики будут пошире!

– Шире твоих! Что ж это, на что ж он похож выходит!

– Да похож на молодца: голова кудластая, борода черная, сутуловат маленько, лицо плоское, да зато глаза посмотреть – страх!

– Воля твоя, атаман, ты про него говоришь, как про чудо какое, а нам что-то не верится. Уж молодцеватее тебя мы не видывали!

– Не видывали лучше меня! Да что вы, дураки, видели! Да знаете ли, – продолжал Перстень с жаром, – знаете ли, что я перед ним ничего! Дрянь, просто дрянь, да и только!

– Да как же зовут твоего богатыря?

– Зовут его, братцы, Ермаком Тимофеичем!

– Вишь, какое имя! Что ж, он один, что ли, без шайки промышляет?

– Нет, не один. Есть у него шайка добрая, есть и верные есаулики. Только разгневался на них царь православный. Послал на Волгу дружину свою разбить их, голубчиков, а одному есаулику, Ивану Кольцу, головушку велел отсечь да к Москве привезти.

– Что ж, поймали его?

– Поймали было царские люди Кольцо, только проскользнуло оно у них промеж пальцев, да и покатилося по белу свету. Где оно теперь, сердечное, бог весть, только, я чаю, скоро опять на Волгу перекатится! Кто раз побывал на Волге, тому не ужиться на другой сторонushке!

Замолчал атаман и задумался.

Задумались и разбойники. Опустили они буйные головы на груди могучие и поглаживали молча усы длинные и бороды широкие. О чем думали удалцы разудалые, сидя на поляне, среди леса дремучего? О молодости ли своей погибшей, когда были еще честными воинами и мирными поселянами? О матушке ли Волге серебряной? или о дивном богатыре, про которого рассказывал Перстень? или думали они о хоромах высоких среди поля чистого, о двух столбиках с перекладинкой, о которых в минуту грусти думала в то время всякая лихая, забубенная голова?

– Атаман! – вскричал один разбойник, подбегая к Перстню и весь запыхавшись, – верст пять отсюда, по Рязанской дороге едут человек двадцать вершников с богатым оружием, все в золоченых кафтанах! Аргамаки и бахматы под ними рублей во сто каждый или боле!

– Куда едут? – спросил Перстень, вскакивая.

– Вот только что поворотили к Поганой Луже. Я как увидел, так напрямик сюда и прибежал болотом да лесом.

– Ну, ребята, – вскричал Перстень, – полно бобы на печи разводить! двадцать человек чтобы шли за мной!

– Ты, Коршун, – продолжал он, обращаясь к старому разбойнику, – возьми двадцать других, да засядьте у кривого дуба, отрежьте им дорогу, коли мы, неравно, опоздаем. Ну, живо за сабли!

Перстень взмахнул чеканом и сверкнул очами. Он походил на грозного полководца среди послушного войска.

Прежнее свободное обращение разбойников исчезло и уступило место безусловной покорности.

В один миг сорок станичников отошли от толпы и разделились на два отряда.

– Эй, Митька! – сказал Коршун молодому парню из-под Коломны, – на тебе посошок, ступай с нами, да понатужься, авось осерчаешь!

Митька скроил глупую рожу, взял хладнокровно из рук старика огромную дубину, взвалил ее на плеча и пошел, переваливаясь, за своим отрядом ко кривому дубу.

Другой отряд, предводимый Перстнем, поспешил к Поганой Луже, на переём неизвестным всадникам.



## ГЛАВА 14. Оплеуха

В то самое время, как Малюта и Хомяк, сопровождаемые отрядом опричников, везли незнакомца к Поганой Луже, Серебряный сидел в дружеской беседе с Годуновым за столом, уставленным кубками.

– Скажи, Борис Федорыч, – говорил Серебряный, – что случилось с царем сею ночью? с чего поднялась вся Слобода на полунощницу? Аль то у вас часто бывает?

Годунов пожал плечами.

– Великий государь наш, – сказал он, – часто жалеет и плачет о своих злодеях и часто молится за их души. А что он созвал нас на молитву ночью, тому дивиться нечего. Сам Василий Великий во втором послании к Григорию Назианзину говорит: что другим утро, то трудящимся в благочестии полунощь. Среди ночной тишины, когда ни очи, ни уши не допускают в сердце вредительного, пристойно уму человеческому пребывать с богом!

– Борис Федорыч! Случалось мне видеть и прежде, как царь молился; оно было не так. Все теперь стало иначе. И опричнины я в толк не возьму. Это не монахи, а разбойники. Немного дней, как я на Москву вернулся, а столько неистовых дел наслышался и насмотрелся, что и поверить трудно. Должно быть, обошли государя. Вот ты, Борис Федорыч, близок к нему, он любит тебя, что б тебе сказать ему про опричнину?

Годунов улыбнулся простоте Серебряного.

– Царь милостив ко всем, – сказал он с притворным смирением, – и меня жалует не по заслугам. Не мне судить о делах государских, не мне царю указывать. А опричнину понять нетрудно: вся земля государева, все мы под его высокою рукою; что возьмет государь на свой обиход, то и его, а что нам оставит, то наше; кому велит быть около себя, те к нему близко, а кому не велит, те далеко. Вот и вся опричнина.

– Так, Борис Федорыч, когда ты говоришь, оно выходит гладко, а на деле не то. Опричники губят и насилуют земщину хуже татар. Нет на них никакого суда. Вся земля от них гибнет! Ты бы сказал царю. Он бы тебе поверил!

– Князь Никита Романыч, много есть зла на свете. Не потому люди губят людей, что одни опричники, другие земские, а потому, что и те и другие люди! Положим, я бы сказал царю; что ж из того выйдет? Все на меня подымутся, и сам царь на меня ж опалится!..

– Что ж? Пусть опалится, а ты сделал по совести, сказал ему правду!

– Никита Романыч! Правду сказать недолго, да говорить-то надо умеючи. Кабы стал я перечить царю, давно бы меня здесь не было, а не было б меня здесь, кто б тебя вчера от плахи спас?

– Что дело, то дело, Борис Федорыч, дай бог тебе здоровья, пропал бы я без тебя!

Годунов подумал, что убедил князя.

– Видишь ли, Никита Романыч, – продолжал он, – хорошо стоять за правду, да один в поле не воевода. Что б ты сделал, кабы, примерно, сорок воров стали при тебе резать безвинного?

– Что б сделал? А хватил бы саблею по всем по сорока и стал бы крошить их, доколе б души богу не отдал!

Годунов посмотрел на него с удивлением.

– И отдал бы душу, Никита Романыч, – сказал он, – на пятом, много на десятом воре; а достальные все-таки б зарезали безвинного. Нет; лучше не трогать их, князь; а как станут они обдирать убитого, тогда крикнуть, что Степка-де взял на себя более Мишки, так они и сами друг друга перережут!

Серебряному был такой ответ не по сердцу. Годунов заметил это и переменял разговор.

– Вишь, – сказал он, глядя в окно, – кто это сюда скачет, сломя шею? Смотри, князь, никак, твой стремянный?

– Вряд ли! – отвечал Серебряный, – он отпросился у меня сегодня верст за двадцать на богомолье...

Но, взглядевшись пристальнее во всадника, князь в самом деле узнал Михеича. Старик был бледен как смерть. Седла под ним не было; казалось, он вскочил на первого коня, попавшегося под руку, а теперь, вопреки приличию, влетел на двор, под самые красные окна.

– Батюшка Никита Романыч! – кричал он еще издали, – ты пьешь, ешь, прохлаждаешься, а кручинушки-то не ведаешь? Сейчас встrel я, вон за церковей, Малюту Скуратова да Хомяка; оба верхом, а промеж них, руки связаны, кто бы ты думал? Сам царевич! сам царевич, князь! Надели они на него черный башлык, проклятые, только ветром-то сдуло башлык, я и узнал царевича! Посмотрел он на меня, словно помощи просит, а Малюта, тетка его подкурятина, подскочил, да опять и нахлобучил ему башлык на лицо!

Серебряный вспрянул с места.

– Слышишь, слышишь, Борис Федорыч! – вскричал он, сверкая глазами. – Али ждaть еще, чтоб вoры перессорились меж собой! – И он бросился с крыльца.

– Давай коня! – крикнул он, вырывая узду из рук Михеича.

– Да это, – сказал Михеич, – конь-то не по тебе, батюшка, это конь плохой, да и седла-то на нем нетути... да и как же тебе на таком коне к царю ехать?...

Но князь уже вскочил и полетел не к царю, а в погоню за Малютой...

Есть старинная песня, может быть, современная Иоанну, которая описывает по-своему приводимое здесь событие:

Когда зачиналась каменна Москва,  
Зачинался царь Иван, государь Васильевич.  
Как ходил он под Казань-город,  
Под Казань-город, под Астрахань;  
Он Казань-город мимоходом взял,  
Полонил царя и с царицею;  
Выводил измену из Пскова,  
Из Пскова и из Новгорода.

Как бы вывести измену из каменной Москвы!  
Что возговорит Малюта, злодей Скурлатович:  
«Ах ты гой еси, царь Иван Васильевич!  
Не вывести тебе изменушки довеку!  
Сидит супротивник супротив тебя,  
Ест с тобой с одного блюда,  
Пьет с тобой с одного ковша,  
Платье носит с одного плеча!»  
И тут царь догадается,  
На царевича осержается.

«Ах вы гой еси, князья и бояре!  
Вы берите царевича под белы руки,  
Надевайте на него платье черное,  
Поведите его на то болото жидкое,  
На тое ли Лужу Поганую,  
Вы предайте его скорой смерти!»  
Все бояре разбежались,  
Один остался Малюта-злодей,  
Он брал царевича за белы руки,  
Надевал на него платье черное,

Повел на болото жидкое,  
Что на ту ли Лужу Поганую.

Проведал слуга Никиты Романыча,  
Садился на лошадь водовозную,  
Скоро скакал к Никите Романычу:  
«Гой еси, батюшка Никита Романыч!  
Ты пьешь, ешь, прохлаждаешься,  
Над собой кручинушки не ведаешь!  
Упадает звезда поднебесная,  
Угасает свеча воску ярого,  
Не становится млада царевича!»

Никита Романыч испугается,  
Садится на лошадь водовозную,  
Скоро скачет на болото жидкое,  
Что на ту ли Лужу Поганую.  
Он ударил Малюту по щеке:  
«Ты, Малюта, Малюта Скурлатович!  
Не за свой ты кус принимаешься,  
Ты этим кусом подавишься!..»

Песня эта, может быть и несходная с действительными событиями, согласна, однако, с духом того века. Не полно и не ясно доходили до народа известия о том, что случалось при царском дворе или в кругу царских приближенных, но в то время, когда сословия еще не были разъединены правами и не жили врозь одно другого, известия эти, даже искаженные, не выходили из границ правдоподобия и носили на себе печать общей жизни и общих понятий.

Таков ли ты был, князь Никита Романович, каким воображаю тебя, — про то знают лишь стены кремлевские да древние дубы подмосковные! Но таким ты предстал мне в час тихого мечтания, в вечерний час, когда поля покрывались мраком, вдали замирал шум хлопотливого дня, а вблизи все было безмолвно, и лишь ветер шелестил в листьях, и лишь жук вечерний пролетал мимо. И грустно и больно сказывалась во мне любовь к родине, и ясно выступала из тумана наша горестная и славная старина, как будто

взамен зрения, заграждаемого темнотою, открывалось во мне внутреннее око, которому столетия не составляли преграды. Таким предстал ты мне, Никита Романович, и ясно увидел я тебя, летящего на коне в погоню за Малютой, и перенесся я в твоё страшное время, где не было ничего невозможного!

Забыл Серебряный, что он без сабли и пистолей, и не было ему нужды, что конь под ним стар. А был то добрый конь в своё время; прослужил он лет двадцать и на войне и в походах; только не выслужил себе покою на старости; выслужил упряжь водовозную, сено гнилое да удары палочные!

Теперь почуял он на себе седока могучего и вспомнил о прежних днях, когда носил богатырей в грозные сечи, и кормили его отборным зерном, и поили медвяною сытой. И раздул он красные ноздри, и вытянул шею, и летит в погоню за Малютой Скуратовым.

Скачет Малюта во дремучем лесу с своими опричниками. Он торопит их к Поганой Луже, поправляет башлык на царевиче, чтоб не узнали опричники, кого везут на смерть. Кабы узнали они, отступились бы от Малюты, схоронились бы больший за меньшего. Но думают опричники, что скачет простой человек меж Хомяка и Малюты, и только дивятся, что везут его казнить так далеко.

Торопит Малюта опричников, серчает на коней, бьёт их плетью по крутым бедрам.

– Ах вы волчья сыть, травяные мешки! Не одумался бы царь, не послал бы за нами погони!

Скачет злодей Малюта во дремучем лесу, смотрят на него пташки, вытянув шейки, летят над ним черные вороны – уже близко Поганая Лужа!

– Эй, – говорит Малюта Хомяку, – никак, стучат за нами чужие подковы?

– Нет, – отвечает Хомяк, – то от наших коней топот в лесу раздается.

И пуще торопит Малюта опричников, и чаще бьёт коней по крутым бедрам.

– Эй, – говорит он Хомяку, – никак, кто-то кричит за нами?

– Нет, – отвечает Хомяк, – то нашу молвь отголоски разносят.

И серчает Малюта на коней.

– Ах вы волчья сыть, травяные мешки! Ой, не было б за нами погони!

Вдруг слышит Малюта за собою:

– Стой, Григорий Лукьяныч!

Серебряный был у Скуратова за плечами. Не выдал его старый конь водовозный.

– Стой, Малюта! – повторил Серебряный и, нагнав Скуратова, ударил

его в щеку рукою могучею.

Силен был удар Никиты Романовича. Раздался пощечина, словно выстрел пищальный; загудел сыр-бор, посыпались листья; бросились звери со всех ног в чащу; вылетели из дупел пучеглазые совы; а мужики, далеко оттоле дравшие лыки, посмотрели друг на друга и сказали, дивясь:

– Слышь, как треснуло! Уж не старый ли дуб надломился над Поганою Лужей?

Малюта свалился с седла. Бедный старый конь Никиты Романовича споткнулся, покатился и испустил дух.

– Малюта! – вскричал князь, вскочив на ноги, – не за свой ты кус принимаешься! Ты этим кусом подавишься!

И, вырвав из ножен саблю Малюты, он замахнулся разрубить ему череп.

Внезапно другая сабля свистнула над головою князя. Матвей Хомяк прилетел господину на помощь. Завязался бой меж Хомяком и Серебряным. Опричники напали с голыми саблями на князя, но деревья и лом защитили Никиту Романовича, не дали всем вдруг окружить его.

«Вот, – думал князь, отбивая удары, – придется живот положить, не спася царевича! Кабы дал бог хоть с полчаса подержаться, авось подоспела бы откуда-нибудь подмога!»

И лишь только он подумал, как пронзительный свист раздался в лесу; ему отвечали громкие окрики. Один опричник, уже занесший саблю на князя, упал с раздробленною головой, а над трупом его явился Ванюха Перстень, махая окровавленным чеканом. В тот же миг разбойники, как стая волков, бросились на Малютиных слуг, и пошла между ними рукопашная. Хотел бы Малюта со своими дать дружный напуск на врагов, да негде было разогнаться, все пришел лес да валежник. Многие легли на месте; но другие скоро оправились. Крикнули: гой-да! и потоптали удалую вольницу. Сам Перстень, раненный в руку, уже слабее разил чеканом, как новый свист раздался в лесу.

– Стойте дружно, ребята! – закричал Перстень, – то дедушка Коршун идет на прибавку!

И не успел он кончить речи, как Коршун с своим отрядом ударил на опричников, и зачался меж ними бой великий, свальный, самый красный.

Трудно было всадникам стоять в лесу против пеших. Кони вздымались на дыбы, падали навзничь, давили под собой седоков. Опричники отчаялись насмерть. Сабля Хомяка свистела, как вихорь, над головой его сверкала молния.

Вдруг среди общей свалки сделалось колебанье. Дюжий Митька

буравил толпу и лез прямо на Хомяка, валяя без разбору и чужих и своих. Митька узнал похитителя невесты. Подняв обеими руками дубину, он грянул ею в своего недруга. Хомяк отшатнулся, удар пал в конскую голову, конь покотился мертвый, дубина переломилась.

– Погоди! – сказал Митька, наваливаясь на Хомяка, – тяперь не уйдешь!

Кончилась битва. Не с кем было более драться, все опричники легли мертвые, один Малюта спасся на лихом аргамаке.

Стали разбойники считать своих и многих недосчитались. Было и между ними довольно урону.

– Вот, – сказал Перстень, подходя к Серебряному и стирая пот с лица, – вот, боярин, где довелось свидеться!

Серебряный, с первым появлением разбойников, бросился к царевичу и отвел его коня в сторону; царевич был привязан к седлу. Серебряный саблею разрезал веревки, помог царевичу сойти и снял платок, которым рот его был завязан. Во все время сечи князь от него не отходил и заслонял его собою.

– Царевич, – сказал он, видя, что станичники уже принялись грабить мертвых и ловить разбежавшихся коней, – битва кончена, все твои злодеи полегли, один Малюта ушел, да я чаю, и ему несдобровать, когда царь велит сыскать его!

При имени царевича Перстень отступил назад.

– Как? – сказал он, – это сам царевич? Сын государев? Так вот за кого бог привел постоять! Так вот кого они, собаки, связамши везли!

И атаман повалился Иоанну Иоанновичу в ноги.

Весть о его присутствии быстро разнеслась меж разбойников. Все бросили выворачивать карманы убитых и пришли бить челом царевичу.

– Спасибо вам, добрые люди! – сказал он ласково, без обычного своего высокомерия, – кто б вы ни были, спасибо вам!

– Не на чем, государь! – отвечал Перстень. – Кабы знал я, что это тебя везут, я бы привел с собою не сорок молодцов, а сотенки две; тогда не удрал бы от нас этот Скурлатыч; взяли б мы его живьем да при тебе бы вздернули. Впрочем, есть у нас, кажись, его стремянный; он же мне старый знакомый, а на безрыбье и рак рыба. Эй, молодец, у тебя он, что ли?

– У меня! – отвечал Митька, лежа на животе и не выпуская из-под себя своей жертвы.

– Давай его сюда, небось не уйдет! А вы, ребяташки, разложите-ка огоньку для допросу да приготовьте веревку, аль, пожалуй, хоть чумбур отрежь.

Митька встал. Из-под него поднялся здоровый детина; но лишь только он обернулся лицом к разбойникам, все вскрикнули от удивления.

– Хлопко! – раздалось отовсюду, – да это Хлопко! это он Хлопка притиснул вместо опричника.

Митька смотрел, разиня рот.

Хлопко насилиу дышал.

– Ишь, – проговорил наконец Митька, – так это я, должно быть, тебя придавил! Чаво ж ты молчал?

– Где ж мне было говорить, коли ты у меня на горле сидел, тюлень этакий! Тьфу!

– Да чаво ж ты подвернулся?

– Чаво! чаво! Как ты, медведь, треснул коня по лбу, так седок-то на меня и свалился, а ты, болван, вместо чтобы на него, да на меня и сел, да и давай душить сдуру, знай обрадовался!

– Ишь! – сказал Митька, – вот што! – и почесал затылок.

Разбойники захохотали. Сам царевич улыбнулся. Хомяка нигде не могли найти.

– Нечего делать, – сказал Перстень, – видно, не доспел ему час, а жаль, право! Ну, так и быть, даст бог, в другой раз не свернется! А теперь дозвожь, государь, я тебя с ребятами до дороги провожу. Совестно мне, государь! Не приходилось бы мне, худому человеку, и говорить с твоею милостью, да что ж делать, без меня тебе отселе не выбраться!

– Ну, ребята, – продолжал Перстень, – собирайтесь оберегать его царскую милость. Вот ты, боярин, – сказал он, обращаясь к Серебряному, – ты бы сел на этого коня, а я себе, пожалуй, вот этого возьму. Тебе, дядя Коршун, я чай, пешему будет сподручнее, а тебе, Митька, и подавно!

– Ништо! – сказал Митька, ухватясь за гриву одного коня, который от этого покачнулся на сторону, – и я сяду!

Он занес ногу в стремя, но, не могши попасть в него, взвалился на коня животом, проехал так несколько сажений рысью и наконец уже взобрался на седло.

– Эхва! – закричал он, болтая ногами и подкидывая локти.

Вся толпа двинулась из лесу, окружая царевича. Когда показалось наконец поле, а вдали запестрела крыша Александровой слободы, Перстень остановился.

– Государь, – сказал он, соскакивая с коня, – вот твоя дорога, вон и Слобода видна. Не пристало нам доле с твоею царскою милостью оставаться. К тому ж там пыль по дороге встает; должно быть, идут ратные люди. Прости, государь, не взыщи; поневоле бог свел!



– Погоди, молодец! – сказал царевич, который, по миновании опасности, начал возвращаться к своим прежним приемам. – Погоди, молодец! Скажи-ка наперед, какого ты боярского рода, что золоченый зипун носишь?

– Государь, – ответил скромно Перстень, – много нас здесь бояр без имени-прозвища, много князей без роду-племени. Носим что бог послал!

– А знаешь ли, – продолжал строго царевич, – что таким князьям, как ты, высокие хоромы на площади ставят и что ты сам своего зипуна не стоишь? Не сослужи ты мне службы сегодня, я велел бы тем ратникам всех вас перехватать да к Слободе привести. Но ради сегодняшнего дела я твое прежнее воровство на милость кладу и батюшке-царю за тебя слово замолвлю, коли ты ему повинную принесешь!

– Спасибо на твоей ласке, государь, много тебе благодарствую; только не пришло еще мне время нести царю повинную. Тяжелы мои грехи перед богом, велики винности перед государем; вряд ли простит меня батюшка-царь, а хоча бы и простил, так не приходится бросать товарищей!

– Как? – сказал удивленный царевич, – ты не хочешь оставить воровства своего, когда я сам тебе мой упрор обещаю? Видно, грабить-то по дорогам прибыльнее, чем честно жить?

Перстень погладил черную бороду и лукавою усмешкой выказал два ряда ровных и белых зубов, от которых загорелое лицо его показалось еще смуглее.

– Государь! – сказал он, – на то щука в море, чтобы карась не дремал! Не привычен я ни к ратному строю, ни к торговому делу. Прости, государь; вон уж пыль сюда подвигается; пора назад; рыба ищет где глубже, а наш брат – где место крепче!

И Перстень исчез в кустах, уводя за собою коня. Разбойники один за другим пропали меж деревьев, а царевич сам-друг с Серебряным поехали к Слободе и вскоре встретились с отрядом конницы, которую вел Борис Годунов.

Что делал царь во все это время? Послушаем, что говорит песня и как она выражает народные понятия того века.

Что возговорит грозный царь:  
«Ах вы гой еси, князья мои и бояре!  
Надевайте платье черное,  
Собирайтесь ко заутрене,  
Слушать по царевиче панихиду,  
Я всех вас, бояре, в котле сварю!»

Все бояре испугались,  
Надевали платье черное,  
Собирались ко заутрене,  
Слушать по царевиче панихиду.  
Приехал Никита Романович,  
Нарядился в платье цветное,  
Привел с собой млада царевича  
И поставил за дверьми северны.

Что возговорит грозный царь:  
«Ах ты гой еси, Никита Романович!  
Что в глаза ль ты мне насмехаешься?  
Как упала звезда поднебесная,  
Что угасла свеча воску ярого,  
Не стало у меня млада царевича».

Что возговорит Никита Романович:  
«Ах ты гой еси, надёжа, православный царь!  
Мы не станем по царевиче панихиду петь,  
А станем мы петь молебен заздравный!»  
Он брал царевича за белу руку,  
Выводил из-за северных дверей.

Что возговорит грозный царь:  
«Ты, Никита, Никита Романович!  
Еще чем мне тебя пожаловать?  
Или тебе полцарства дать?  
Или золотой казны сколько надобно?»

«Ах ты гой еси, царь Иван Васильевич!  
Не сули мне полцарства, ни золотой казны,  
Только дай мне злодея Скурлатова:  
Я сведу на то болото жидкое,

Что на ту ли Лужу Поганую!»  
Что возговорит царь Иван Васильевич:  
«Еще вот тебе Малюта-злодей,  
И делай с ним, что хочешь ты!»

Так гласит песня; но не так было на деле. Летописи показывают нам Малюту в чести у Ивана Васильевича еще долго после 1565 года. Много любимцев в разные времена пали жертвою царских подозрений. Не стало ни Басмановых, ни Грязного, ни Вяземского, но Малюта ни разу не испытал опалы. Он, по предсказанию старой Онуфревы, не приял своей муки в этой жизни и умер честною смертью. В обиходе монастыря св. Иосифа Волоцкого, где погребено его тело, сказано, что он убит на государственном деле под Найдю.

Как оправдался Малюта в клевете своей – мы не знаем.

Может быть, Иоанн, когда успокоилась встревоженная душа его, приписал поступок любимца обманутому усердию; может быть, не вполне отказался от подозрений на царевича. Как бы то ни было, Скуратов не только не потерял доверия царского, но с этой поры стал еще драгоценнее Иоанну. Доселе одна Русь ненавидела Малюту, теперь стал ненавидеть его и самый царевич; Иоанн был отныне единственною опорой Малюты. Общая ненависть ручалась царю за его верность.

Намек на Басманова также не прошел даром. В Иоанновом сердце остался зародыш подозрения и хотя не тотчас пустил в нем корни, но значительно охладил расположение его к своему кравчему, ибо царь никогда не прощал тому, кого однажды опасался, хотя бы впоследствии и сам признал свое опасение напрасным.

## ГЛАВА 15. Поцелуйный обряд

Пора нам возвратиться к Морозову. Смущение Елены в присутствии Серебряного не ускользнуло от проницательности боярина. Правда, сначала он подумал, что встреча с Вяземским тому причиной, но впоследствии новое подозрение зародилось в душе его.

Простившись с князем и проводив его до сеней, Морозов возвратился в избу. Навислые брови его были грозно сдвинуты; глубокие морщины бороздили чело; его бросало в жар, ему было душно. «Елена теперь спит, – подумал он, – она не будет ждать меня; пройдуся я по саду, авось освежу свою голову».

Морозов вышел; в саду было темно. Подходя к ограде, он увидел белую ферязь. Он стал всматриваться.

Внезапно любовные речи поразили его слух. Старик остановился. Он узнал голос жены. За оградою рисовался на звездном небе неопределенный образ всадника. Незнакомец нагнулся к Елене и что-то говорил ей. Морозов притаил дыхание, но порыв ветра потряс вершины деревьев и умчал слова и голос незнакомца. Кто был этот незнакомец? Ужели Вяземский успел своею настойчивостью склонить к себе Елену? Загадочно женское сердце! Ему нравится сегодня, что вчера возбуждало его ненависть! Или уж не Серебряный ли назначил свидание жене его? Кто знает? Быть может, князь, которого он принял как сына, нанес ему в тот же день кровавое оскорбление, ему, лучшему другу отца его; ему, который готов был подвергнуть опасности собственную жизнь, чтобы скрыть Серебряного от царского гнева!

«Но нет, – подумал Морозов, – это не Серебряный! Это какой-нибудь опричник, новый любимец царский. Им не в диковину бесчестить столбового боярина. А жена-то, змея подколенная! Уж ее ли не любил я! Ее ли не держал как дочь родную! И не вольною ли волей вышла она за меня? Не благодарила ль меня, лукавая? Не клялась ли мне в верности? Нет, не надейся, Дружина Андреич, на верность женскую! Женская верность – терем высокий, дверь дубовая да запоры железные! Поторопился, Дружина Андреич, вручать девке честь свою! Обуяло тебя, старого, сердце пылкое! Провела тебя жена, молодая змея; посмеются над тобою люди московские!»

Так думал Морозов и мучился догадками. Ему хотелось ринуться вперед. Но всадник мог ускакать, и боярин не узнал бы врага своего. Он

решился повременить.

Как нарочно, в эту ночь ветер не переставал шуметь, а месяц не выходил из-за облак. Морозов не узнал ни лица, ни голоса всадника. Он только расслышал, что боярыня сказала ему сквозь слезы:

– Я люблю тебя боле жизни, боле солнца красного! Я никого, кроме тебя, не любила и любить не могу и не буду.

Вскоре Елена прошла мимо Морозова, не заметив его. Медленно последовал за нею Дружина Андреич.

На другой день он не показал и виду, что подозревает Елену. Он был с нею по-прежнему приветлив и ласков. Но временам лишь, когда она того не примечала, боярин забывался, сдвигал брови и грозно смотрел на Елену. Страшную думу думал тогда Дружина Андреевич. Он думал, как бы сыскать ему своего недруга.

Прошло дня четыре. Морозов сидел в брусяной избе за дубовым столом. На столе лежала разогнутая книга, обложенная червчатым бархатом, с серебряными застежками и жуками. Но боярин думал не о чтении. Глаза его скользили над пестрыми заголовками и узорными травами страницы, а воображение бродило от жениной светлицы к садовой ограде.

Накануне этого дня Серебряный возвратился из Слободы и, по данному обещанию, посетил Морозова.

Елена в этот день сказалась больною и не вышла из светлицы. Морозов ни в чем не изменил своего обращения с Никитой Романовичем. Но, поздравляя его с счастливым возвратом и потчуя прилежно дорогого гостя, он не переставал вникать в выражение его лица и старался уловить на нем признаки предательства. Серебряный был задумчив, но прост и откровенен по-прежнему; Морозов не узнал ничего.

И вот о чем думал он теперь, сидя за столом перед разогнутою книгой.

Размышления его перервал вошедший слуга, но, увидя нахмуренный лоб Морозова, он почтительно остановился. Морозов спросил его взглядом.

– Государь, – сказал слуга, – едут царские люди. Впереди всех князь Афанасий Иваныч Вяземский; уж они близко; прикажешь встречать?

В то же время послышался звон бубна, в который бил кожаную плетью, или вощагой, передовой холоп, чтобы разгонять народ и очищать дорогу господину.

– Вяземский едет ко мне? – сказал Морозов. – Что он, рехнулся? Да может, он едет мимо. Ступай к воротам и подожди! А если он поворотит сюда, скажи ему, что мой дом не кружало, что опричников я не знаю и с

ними хлеба-соли не веду! Ступай!

Слуга колебался.

– Что еще? – спросил Морозов.

– Боярин, твоя надо мной воля, а этого не скажу Вяземскому!

– Ступай! – закричал Морозов и топнул ногой.

– Боярин! – сказал, вбегая, дворецкий, – князь Вяземский с опричниками подъезжает к нашим воротам! Князь говорит, я-де послан от самого государя.

– От государя? Он тебе сказал – от государя? Настежь ворота! Подайте золотое блюдо с хлебом-солью! Вся дворня чтобы шла навстречу посланным государя!

Между тем ближе и ближе слышались звон и бряцанье бубна; человек двадцать всадников, а впереди Афанасий Иванович на статном караковом жеребце, в серебряной сбруе, въехали шагом на двор Морозова. На князе был белый атласный кафтан. Из-за низко вырезанного ворота виднелось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужные запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, небрежно подпоясанного малиновым шелковым кушаком с выпущенною в два конца золотою бахромой, с заткнутыми по бокам узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были в желтые сафьянные сапоги, с серебряными скобами на каблуках, с голенищами, шитыми жемчугом и спущенными в частых складках до половины икор. Поверх кафтана надет был внакидку шелковый легкий опашень золотистого цвета, застегнутый на груди двойною алмазною запоной. Голову князя покрывала белая парчовая мурmolка с гибким алмазным пером, которое качалось от каждого движения, играя солнечными лучами. Черные кудри Афанасия Ивановича, выбегая из-под шапки, смешивались с его бородой, короткой и кудрявою. Легкий ус образовывал над верхнею губой не черную полосу, но лишь темную тень. Стан Вяземского был высок и строен; вид молод и весел.

Согласно роскошному обычаю того времени, пешие конюхи вели за ним под уздцы шесть верховых коней в полном убранстве; из них один был вороной, один буланый, один железно-серый, а три совершенно белой масти. На головах коней качались цветные перья, на хребтах их пестрели звериные кожи или парчовые чепраки и чалдары, усаженные дорогими камнями, и все шестеро звенели на ходу множеством серебряных бубенчиков или золотыми прорезными яблоками, подобранными в согласный звон и висевшими по обеим сторонам налобников длинными гроздами.

При появлении Дружины Андреевича Вяземский и все опричники

сошли с коней.

Морозов с золотым блюдом медленно шел к ним навстречу, а за ним шли знакомцы, держальники и холопи боярские.

– Князь, – сказал Морозов, – ты послан ко мне от государя. Спешу встретить с хлебом-солью тебя и твоих! – И сивые волосы боярина пали ему на глаза от низкого поклона.

– Боярин, – ответил Вяземский, – великий государь велел тебе сказать свой царский указ: «Боярин Дружина! царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси слагает с тебя гнев свой, сымает с главы твоей свою царскую опалу, милует и прощает тебя во всех твоих виновностях; и быть тебе, боярину Дружине, по-прежнему в его, великого государя, милости, и служить тебе и напредки великому государю, и писаться твоей чести по-прежнему ж!»

Изговоря речь, Вяземский заложил одну руку за кушак, другою погладил бороду, приосанился и, устремив на Морозова орлиные глаза, ожидал его ответа.

При начале речи Морозов опустился на колени. Теперь держальники подняли его под руки. Он был бледен.

– Да благословит же святая троица и московские чудотворцы нашего великого государя! – произнес он дрожащим голосом, – да продлит прещедрый и премилостивый бог без счету царские дни его! не тебя ожидал я, князь, но ты послан ко мне от государя, войди в дом мой. Войдите, господа опричники! Прошу вашей милости! А я пойду отслужу благодарственный молебен, а потом сяду с вами пировать до поздней ночи.

Опричники вошли.

Морозов подозвал холопа.

– Садись на коня, скачи к князю Серебряному, отвези ему поклон и скажи, что прошу отпраздновать сегодняшней день: царь-де пожаловал меня милостию великою, изволил-де снять с меня свою опалу!

Отдав это приказание и проводив в сени гостей, Морозов отправился через двор в домовую церковь; перед ним шли знакомцы и держальники, а за ним многочисленные холопи. В доме остался лишь дворецкий да сколько нужно было людей для прислуги оприщикам.

Подали разные закуски и наливки, но обед был еще впереди.

Вскоре приехал Серебряный, также сопровождаемый знакомцами и холопами, ибо в тогдашнее время ездить боярину в важных случаях одиночеством или малолюдством считалось порухой чести.

Стол уже был накрыт в большой избе, слуги стояли по местам, все ожидали хозяина.

Дружина Андреевич, отслушав молебен, вошел в добром платье, в парчовом кафтане, с собольей шапкою в руках. Сивые кудри его были ровно подстрижены, борода тщательно расчесана. Он поклонился гостям, гости ему поклонились, и все сели за стол.

Зачался почестный пир, зазвенели кубки и братины, и вместе с ними зазвенел еще другой звон, несовместный со звуками веселого пира. Зазвенели под кафтанами опричников невидимые доспехи.

Но Морозов не услышал зловещего звона. Другие мысли занимали его. Внутреннее чувство говорило Морозову, что ночной его оскорбитель пирует с ним за одним столом, и боярин придумал наконец средство его открыть. Средство это, по мнению его, было надежно.

Уже много кубков осушили гости; пили они про государя, и про царицу, и про весь царский дом; пили про митрополита и про все русское духовенство; пили про Вяземского, про Серебряного и про ласкового хозяина; пили про каждого из гостей особенно. Когда все здоровья были выпиты, Вяземский встал и предложил еще здоровье молодой боярыни.

Того-то и ожидал Морозов.

— Дорогие гости, — сказал он, — непригоже без хозяйки пить про хозяйку! Сходите, — продолжал он, обращаясь к слугам, — сходите за боярыней, пусть сойдет потчевать из своих рук дорогих гостей!

— Ладно, ладно! — зашумели гости, — без хозяйки и мед не сладок!

Через несколько времени явилась Елена в богатом сарафане, сопровождаемая двумя сенными девушками; она держала в руках золотой поднос с одною только чаркой. Гости встали. Дворецкий наполнил чарку тройным зеленчаком, Елена прикоснулась к ней губами и начала обносить ее кругом гостей, кланяясь каждому, малым обычаем, в пояс. По мере того как гости выпивали чарку, дворецкий наполнял ее снова.

Когда Елена обошла всех без изъятия, Морозов, пристально за ней следивший, обратился к гостям.

— Дорогие гости, — сказал он, — теперь, по старинной русской обыкlosti, прошу вас, уважили б вы дом мой, не наложили б охулы на мое хозяйство, прошу вас, дорогие гости, не побрезгали бы вы поцеловать жену мою! Дмитриевна, становись в большом месте и отдавай все поцелуй, каждому поочередно!

Гости благодарили хозяина. Елена с трепетом стала возле печи и опустила глаза.

— Князь, подходи! — сказал Морозов Вяземскому. — Нет, нет, по обычаю! — закричали гости, — пусть хозяин поцелует первый хозяйку! Пусть будет по обычаю, как от предков повелось!



– Пусть же будет по обычаю, – сказал Морозов и, подойдя к жене, он сперва поклонился ей в ноги. Когда они поцеловались, губы Елены горели как огонь; как лед были холодны губы Дружина Андреевича.

За Морозовым подошел Вяземский.

Морозов стал примечать.

Глаза Афанасья Ивановича сверкали словно уголья, но лицо Елены осталось неподвижно. Она при муже, при Серебряном не боялась нахального князя.

«Не он», – подумал Морозов.

Вяземский положил земной поклон и поцеловал Елену; но как поцелуй его длился долее, чем было нужно, она отвернулась с приметною досадой.

«Нет, не он!» – повторил про себя Морозов.

За Вяземским подошли поочередно несколько опричников. Они все кланялись, большим обычаем, в землю и потом целовали Елену; но Дружина Андреевич ничего не мог прочесть на лице жены своей, кроме беспокойства. Несколько раз длинные ресницы ее подымались, и взор, казалось, со страхом искал кого-то между гостями.

«Он здесь!» – подумал Морозов.

Вдруг ужас овладел Еленой. Глаза ее встретились с глазами мужа, и, с свойственною женскому сердцу сметливостию, она отгадала его мысли. Под этим тяжелым, неподвижным взором ей показалось невозможным поцеловать Серебряного и не быть в тот же миг уличенною. Все обстоятельства их встречи у садовой ограды, в первый приезд Серебряного, живо представились ее памяти. Теперешнее ее положение и ожидающий ее поцелуй показались ей божьим наказанием за ту преступную встречу, за тот преступный поцелуй. Смертельный холод пробежал по ее членам.

– Я нездорова... – прошептала она, – отпусти меня, Дружина Андреич...

– Останься, Елена, – сказал спокойно Морозов, – подожди; ты не можешь теперь уйти; это невидано, неслыхано; надо кончить обряд!

И он проникал жену насквозь испытующим взглядом.

– Ноги не держат меня!.. – произнесла Елена.

– Что? – сказал Морозов, будто не расслышан, – угорела? эка невидаль! Прошу вас, государи, подходите, не слушайте жены! Она еще ребенок; больно застенчива, ей в новинку обряд! Да к тому еще угорела! Подходите, дорогие гости, прошу вас!

«Да где же Серебряный?» – подумал Дружина Андреевич, пробегая глазами гостей.

Князь Никита Романович стоял в стороне. От него не скрылось

необыкновенное внимание, с каким Морозов всматривался в жену и в каждого подходившего к ней гостя. Он прочел в лице Елены страх и беспокойство. Никита Романович, всегда решительный, когда совесть его ни в чем не укоряла, теперь не знал, что делать. Он боялся, подойдя к Елене, умножить ее смущение, боялся, оставаясь позади других, возбудить подозрение мужа. Если бы мог он сказать ей хоть одно слово неприметно, он ободрил бы ее и возвратил бы ей, может быть, потерянную силу, но Елену окружали гости, муж не спускал с нее глаз; надо было на что-нибудь решиться.

Серебряный подошел, поклонился Елене, но не знал, смотреть ли ей в глаза или нарочно не встречать ее взора. Это колебание выдало князя. С своей стороны, Елена не выдержала пытки, которой подвергал ее Морозов.

Елена обманула мужа не по легкомыслию, не по внушению сердца испорченного. Она обманула его потому, что сама обманулась, думая, что может полюбить Дружину Андреевича. Когда ночью у садовой ограды она уверяла Серебряного в любви своей, слова вырывались у нее невольно; она не торговалась выражениями, и если бы тогда она увидела за собой мужа, то призналась бы ему во всем чистосердечно. Но воображение Елены было пылко, а нрав робок. После ночного свидания с Серебряным ее не переставали мучить угрызения совести. К ним присоединилось еще смертельное беспокойство об участии Никиты Романовича. Сердце ее раздиралось противоположными ощущениями; ей хотелось пасть к ногам мужа и просить у него прощения и совета; но она боялась его гнева, боялась за Никиту Романовича.

Эта борьба, эти мучения, страх, внушаемый ей мужем, добрым и ласковым, но неумолимым во всем, что касалось его чести, – все это разрушительно потрясло ее телесные силы. Когда губы Серебряного прикоснулись к губам ее, она задрожала как в лихорадке, ноги под ней подкосились, а из уст вырвались слова:

– Пресвятая богородица! пожалей меня!

Морозов подхватил Елену.

– Эх! – сказал он, – вот женское-то здоровье! Посмотреть, так кровь с молоком, а немного угару, так и ноги не держат. Да ничего, пройдет! Подходите, дорогие гости!

Голос и приемы Морозова ни в чем не изменились. Он так же казался спокоен, так же был приветлив и доброхотен.

Серебряный остался в недоумении, в самом ли деле он проник его тайну?

Когда кончился обряд и Елена, поддерживаемая девушками, удалилась

в светлицу, гости, по приглашению Морозова, опять сели за стол.

Дружина Андреевич всех нудил и потчевал с прежнею заботливостью и не забывал ни одной из мелочных обязанностей, доставлявших в те времена хозяину дома славу доброго хлебосола.

Уже было поздно. Вино горячило умы, и странные слова проскакивали иногда среди разговора опричников.

– Князь, – сказал один из них, наклонясь к Вяземскому, – пора бы за дело!

– Молчи! – отвечал шепотом Вяземский, – старик услышит!

– Хоть и услышит, не поймет! – продолжал громко опричник с настойчивостью пьяного.

– Молчи! – повторил Вяземский.

– Я те говорю, князь, пора! Ей-богу, пора! Вот я знак подам!

И опричник двинулся встать. Вяземский сильною рукою пригвоздил его к скамье.

– Уймись, – сказал он ему на ухо, – не то вонжу этот нож тебе в горло!

– Ого, да ты еще грозишь! – вскричал опричник, вставая со скамьи, – вишь, ты какой! Я говорил, что нельзя тебе верить! Ведь ты не наш брат! Уж я бы вас всех, князей да бояр, что наше жалованье заедаете! Да погоди, посмотрим, чья возьмет. Долой из-под кафтана кольчугу-то! Вымай саблю! Посмотрим, чья возьмет!

Слова эти были произнесены неверным языком, среди общего говора и шума; но некоторые из них долетели до Серебряного и возбудили его внимание. Морозов их не слышал. Он видел только, что между гостями вспыхнула ссора.

– Дорогие гости! – сказал он, вставая из-за стола, – на дворе уж темная ночь! Не пора ли на покой? Всем вам готовы и перины мягкие, и подушки пуховые!

Опричники встали, благодарили хозяина, раскланялись и пошли в приготовленные для них на дворе опочивальни.

Серебряный также хотел удалиться.

Морозов остановил его за руку.

– Князь, – сказал он шепотом, – обожди меня здесь!

И, оставя Серебряного, Дружина Андреевич отправился на половину жены.

## ГЛАВА 16. Похищение

Во время обеда вокруг дома происходило нечто необыкновенное.

С наступлением сумерек новые опричники стали являться по одному возле садовой ограды, возле забора, окружавшего двор, и наконец на самом дворе.

Люди Морозова не обратили на них внимания.

Когда настала ночь, дом был со всех сторон окружен опричниками.

Стремянный Вяземского вышел из застольной, будто бы напоить коня. Но, не дойдя конюшни, он оглянулся, посмотрел на все стороны, подошел к воротам и просвистал как-то особенно. Кто-то к нему подкрался.

– Все ли вы? – спросил стремянный.

– Все, – отвечал тот.

– Много ли вас?

– Пятьдесят.

– Добро, ожидайте знака.

– А скоро ли? Ждать надоело.

– Про то знает князь. Да слышь ты, Хомяк, князь не велит ни жечь, ни грабить дома!

– Не велит! Да что, он мне господин, что ли?

– Видно, господин, коли Григорий Лукьяныч велел быть тебе сегодня у него в приказе.

– Служить-то я ему послужу, да только ему, а не Морозову. Помогу князю увезти боярыню, а потом уж и мне никто не указывай!

– Смотри, Хомяк, князь не шутит!

– Да что ты, с ума спятил? – сказал Хомяк, злобно усмехаясь. – Князь князем, а я сам по себе. Коли мне хочется погулять, кому какое дело?

В то самое время, как разговор этот происходил у ворот, Морозов, остановив Серебряного, вошел на половину Елены.

Боярыня еще не ложилась. На голове ее уже не было кокошника. Густая, полураспущенная коса упала на ее белые плечи. Летник был на груди расстегнут. Елена готовилась раздеться, но склонила голову на плечо и забылась. Мысли ее блуждали в прошедшем. Она вспоминала первое знакомство с Серебряным, свои надежды, отчаянье, предложение Морозова и данную клятву. Ей живо представилось, как в радуницу, перед самой свадьбой, она, по обычаю сирот, пошла на могилу матери, поставила под крестом чашу с красными яйцами, мысленно христосовалась с матерью и

просила благословения на любовь и союз с Морозовым.

Она верила в то время, что переможет первую любовь свою, верила, что будет счастлива за Морозовым; а теперь... Елена вспомнила о поцелуйном обряде, и ее обдало холодом. Боярин вошел, не примеченный ею, и остановился на пороге. Лицо его было сурово и грустно. Несколько времени смотрел он молча на Елену. Она была еще так молода, так неопытна, так неискусна в обмане, что Морозов почувствовал невольную жалость.

– Елена! – сказал он, – отчего ты смутилась во время обряда?

Елена вздрогнула и устремила на мужа глаза, полные страха. Ей хотелось пасть к его ногам и сказать всю правду, но она подумала, что, может быть, он еще не подозревает Серебряного, и побоялась навлечь на него мщение мужа.

– Отчего смутилась ты? – повторил Морозов.

– Мне понездоровилось... – отвечала Елена шепотом.

– Так. Тебе нездоровилось, но не телом, а душой. Болезнь твоя душевная. Ты погубишь свою душу, Елена!

Боярыня дрожала.

– Когда сего утра, – продолжал Морозов, – Вяземский с опричниками приехали в дом наш, я читал Священное писание. Знаешь ли, что говорится в Писании о неверных женах?

– Боже мой! – произнесла Елена.

– Я читал, – продолжал Морозов, – о наказании за прелюбодеяние...

– Господи! – умоляла боярыня, – будь милостив, Дружина Андреич, пожалей меня, я не столько виновна, как ты думаешь... Я не изменила тебе...

Морозов грозно сдвинул брови.

– Не лги, Елена. Не мудрствуй. Не умножай греха своего лукавою речью. Ты не изменила мне, потому что для измены нужна хотя краткая верность, а ты никогда не была мне верна...

– Дружина Андреич, пожалей меня!

– Ты никогда не была мне верна! Когда нас венчали, когда ты своею великою неправдой целовала мне крест, ты любила другого... Да, ты любила другого! – продолжал он, возвышая голос.

– Боже мой, боже мой! – прошептала Елена, закрыв лицо руками.

– Дмитриевна! А Дмитриевна! Зачем не сказала ты мне, что любишь его!

Елена плакала и не отвечала ни слова.

– Когда я тебя увидел в церкви, беззащитную сироту, в тот день, как

хотели выдать тебя насильно за Вяземского, я решился спасти тебя от постылого мужа, но хотел твоей клятвы, что не посрамишь ты седых волос моих. Зачем ты дала мне клятву? Зачем не призналась во всем? Словами ты была со мною, а сердцем и мыслию с другим! Если бы знал я про любовь твою, разве я взял бы тебя? Я бы схоронил тебя где-нибудь в глухом поместье, далеко от Москвы, или свез бы в монастырь; но не женился бы на тебе, видит бог, не женился бы! Лучше было отойти от мира, чем достаться постылому. Зачем ты не отошла от мира? Зачем защитилась моим именем, как стеной каменною, а потом насмеялась мне с твоим полюбовником? Вы думали: Морозов стар, Морозов слаб, нам легко его одурачить!

– Нет, господин мой! – взрыдала Елена и упала на колени, – я никогда этого не думала! Ни в уме, ни в помышлении того не было! Да он же в ту пору был в Литве...

При слове *он* глаза Морозова засверкали, но он овладел собою и горько усмехнулся.

– Так. Вы не в ту пору спознались, но позже, когда он вернулся. Вы спознались ночью, в саду у ограды, в тот самый вечер, когда я принял и обласкал его как сына. Скажи, Елена, ужели в самом деле вы думали, что я не угадаю вашего замысла, дам себя одурачить, не сумею наказать жену вероломную и злодея моего, ее сводчика? Ужели чаял этот молокосос, что гнусное его дело сойдет ему с рук? Аль не читал он, что в книгах Левит написано: человек аще прелюбы содеет с мужнею женой, смертию да умрут прелюбодей и прелюбодейца!

Елена с ужасом взглянула на мужа. В глазах его была холодная решительность.

– Дружина Андреич! – сказала она в испуге, – что ты хочешь сделать?

Боярин вынул из-под опашня длинную пистолю.

– Что ты делаешь? – вскричала боярыня и отступила назад.

Морозов усмехнулся.

– Не бойся за себя! – сказал он холодно, – тебя я не убью. Возьми свечу, ступай передо мною!

Он осмотрел пистолю и подошел к двери. Елена не двигалась с места. Морозов оглянулся.

– Свети мне! – повторил он повелительно.

В эту минуту слышался на дворе шум. Несколько голосов говорили вместе. Слуги Морозова звали друг друга. Боярин стал прислушиваться. Шум усиливался. Казалось, множество людей врывалось в подклети. Раздался выстрел.

Елене представилось, что Серебряный убит по воле Морозова. Негодование возвратило ей силы.

– Боярин! – вскричала она, и взор ее загорелся, – меня, меня убей! Я одна виновна!

Но Морозов не обратил внимания на слова ее. Он слушал, наклоня голову, и лицо его выражало удивление.

– Убей меня! – просила в отчаянье Елена, – я не хочу, я не могу пережить его! Убей меня! Я обманула тебя, я насмеялась тебе! Убей меня!

Морозов посмотрел на Елену, и если бы кто увидел его в это мгновенье, тот не решил бы, жалость или негодование преобладали в его взоре.

– Дружина Андреич! – раздался голос снизу, – измена! Предательство! Опричники врываются к жене твоей! Остерегись, Дружина Андреич!

То был голос Серебряного. Узнав его, Елена в неизъяснимой радости бросилась к двери. Морозов оттолкнул жену; задвинул запор и укрепил дверь на железный крюк.

Поспешные шаги послышались на лестнице, потом стук сабель, потом проклятия, борьба, громкий крик и падение. Дверь затрещала от ударов.

– Боярин! – кричал Вяземский, – отопри, не то весь дом раскидаю по бревнам!

– Не верю, князь! – отвечал с достоинством Морозов. – Еще не видано на Руси, чтобы гость бесчестил хозяина, чтобы силой врвался в терем жены его. Хмелен был мед мой; он вскружил тебе голову, князь, поди выпись; завтра всё забудем. Не забуду лишь я, что ты гость мой.

– Отопри! – повторил князь, напирая дверь.

– Афанасий Иванович! вспомни, кто ты? Вспомни, что ты не разбойник, но князь и боярин!

– Я опричник! слышишь, боярин, я опричник! Нет у меня чести! Полюбилась мне жена твоя, слышишь, боярин! Не боюсь студного дела; всю Москву пуцу на дым, а добуду Елену!

Внезапно изба ярко осветилась. Морозов увидел в окно, что горят крыши людских служб. В то же время дверь, потрясенная новыми ударами, повалилась с треском, и Вяземский явился на пороге, озаренный пожаром, с переломленною саблей в руке.

Белая атласная одежда его была истерзана; по ней струилась кровь. Видно было, что он не без боя достиг до светлицы.

Морозов выстрелил в Вяземского почти в упор, но рука изменила боярину; пуля ударилась в косяк; князь бросился на Морозова.

Недолго продолжалась между ними борьба. От сильного удара

рукоятью сабли Морозов упал навзничь. Вяземский подбежал к боярыне, но лишь только кровавые руки его коснулись ее одежды, она отчаянно вскрикнула и лишилась чувств. Князь схватил ее на руки и помчался вниз по лестнице, метя ступени ее распущенною косой.

У ворот дожидались кони. Вскочив в седло, князь полетел с полумертвою боярыней, а за ним, гремя оружием, полетели его холопы.

Ужас был в доме Морозова. Пламя охватило все службы. Дворня кричала, падая под ударами хищников. Сенные девушки бегали с воплем взад и вперед. Товарищи Хомяка грабили дом, выбегали на двор и бросали в одну кучу дорогую утварь, деньги и богатые одежды. На дворе, над грудой серебра и золота, заглушая голосом шум, крики и треск огня, стоял Хомяк в красном кафтане.

– Эх, весело! – говорил он, потирая руки, – вот пир так пир!

– Хомяк! – вскричал один опричник, – дворня увезла Морозова по реке. Догнать аль не надо?

– Черт с ним! Не до него теперь! Эй, вы! Все на двор, не то скоро задохнемся!

– Хомяк, – сказал другой, – что велишь делать с Серебряным?

– Не трогать его ни пальцем! Приставить к нему сторожевых, чтоб глаз с него не сводили. Отвезем его милость к Слободе с почетом. Ведь видели вы, как он князь Афанасья Иваныча хватил? Как наших саблей крошил?

– Видели, видели!

– А будете в том крест целовать перед государем?

– Будем, будем! Все будем крест целовать!

– Ну ж, смотрите! Теперь чтоб никто не смел его обидеть, а как приедем домой, так уж Григорий Лукьяныч припомнит ему свою оплеуху, а я мои плети!

Долго еще шумели и грабили опричники, и когда поехали они, навьючив лошадей тяжелою добычей, то еще долго после их отъезда видно было зарево над местом, где недавно стоял дом Дружины Андреевича; и Москва-река, протекая мимо, до самого утра играла огненными струями, как растопленным золотом.



## ГЛАВА 17. Заговор на кровь

Соседние люди, узнав о нападении опричников и видя зарево над двором Морозова, спешили запирать ворота и гасить огонь.

– Господи! – говорили, крестясь, те из них, мимо которых скакал Вяземский с своими холопами, – господи, помилуй нас! пронеси беду мимо!

И лишь топот коней удалялся и бряцанье броней замирало в пустых улицах, жители говорили: «Слава богу, миновала беда!» И опять крестились.

Между тем князь продолжал скакать и уже далеко оставил за собою холопей. Он положил на мысль еще до рассвета достичь деревни, где ожидала его подстава, а оттуда перевезть Елену в свою рязанскую вотчину. Но не проскакал князь и пяти верст, как увидел, что сбился с дороги.

В то же время он почувствовал, что раны, на которые он сгоряча не обратил внимания, теперь причиняют ему нестерпимую боль.

– Боярыня! – сказал он, останавливая коня, – мои холопы отстали... надо обождать!

Елена понемногу приходила в себя. Открыв глаза, она увидела сперва зарево, потом стала различать лес и дорогу, потом почувствовала, что лежит на хребте коня и что держат ее сильные руки. Мало-помалу она начала вспоминать события этого дня, вдруг узнала Вяземского и вскрикнула от ужаса.

– Боярыня, – сказал Афанасий Иванович с горькой усмешкой, – я тебе страшен? Ты клянeshь меня? Не меня кляни, Елена Дмитриевна! Кляни долю свою! Напрасно хотела ты миновать меня. Не миновать никому судьбы, не объехать конем суженого! Видно, искони, боярыня, было тебе на роду написано, чтобы досталась ты мне!

– Князь! – прошептала Елена, дрожа от ужаса, – коли нет в тебе совести, вспомни боярскую честь свою, вспомни хоть стыд...

– Нет у меня чести, нет стыда! Все, все отдал я за тебя, Елена Дмитриевна!

– Князь, вспомни суд божий, не погуби души своей!

– Поздно, боярыня! – отвечал Вяземский со смехом. – Я уже погубил ее! Или ты думаешь, кто платит за хлеб-соль, как я, тот может спасти душу? Нет, боярыня! Этою ночью я потерял ее навеки! Вчера еще было время, сегодня нет для меня надежды, нет уж мне прощенья в моем

окаянстве! Да и не хочу я райского блаженства мимо тебя, Елена Дмитриевна!

Вяземский слабел все более. Он видел свое изнеможение, но тщетно крепился. Бред отуманил его рассудок.

– Елена, – сказал он, – я истекаю кровью, – холопи мои далеко... помощи взять неоткуда, может быть, чрез краткий час я отойду в пламень вечный... полюби меня, полюби на один час... чтоб не даром отдал я душу сатане!.. Елена! – продолжал он, собирая последние силы, – полюби меня, прилука моего сердца, погубительница души моей!..

Князь хотел сжать ее в кровавых объятиях, но силы ему изменили, поводья выпали из рук, он зашатался и свалился на землю. Елена удержалась за конскую гриву. Не чуя седока, конь пустился вскачь. Елена хотела остановить его, конь бросился в сторону, помчался лесом и унес с собою боярыню.

Долго мчались они в темном бору. Сначала Елена силилась удержать коня, но вскоре руки ее ослабли, она, ухватясь за гриву, отдалась на божью волю. Конь мчался без остановки. Сучья цеплялись за платье Елены, ветви хлестали ее в лицо. Когда неслась она через поляны, освещенные месяцем, ей казалось, что в белом тумане двигаются русалки и манят ее к себе. Она слышала отдаленный однообразный шум. Вот мелькнул огонек, вот как будто серебристый призрак махнул крыльями... вдруг конь остановился, и Елена лишилась чувств.

Она очнулась на мягкой траве. Вокруг нее разливалась приятная свежесть. Воздух был напитан древесным запахом; шум еще продолжался, но в нем не было ничего страшного. Он, как старая знакомая песня, убаюкивал и усыплял Елену.

Она с трудом раскрыла глаза. Большое колесо, движимое водою, шумя, вертелось перед нею, и далеко летели вокруг него брызги. Отражая луну, они напомнили ей алмазы, которыми девушки украшали ее в саду в тот день, когда приехал Серебряный.

– Уж не в саду ли я у себя? – подумала Елена. – Ужель опять в саду? Девушки! Пашенька! Дуняша! Где вы?

Но вместо свежего девичья лица седая сморщенная голова нагнулась над Еленой; белая как снег борода почти коснулась ее лица.

– Вишь, как господь тебя соблюл, боярыня, – сказал незнакомый старик, любопытно вглядываясь в черты Елены, – ведь возьми конь немного левее, прямо попала бы в плёс; ну да и конь-то привычный, – продолжал он про себя, – место ему знакомо; слава богу, не в первый раз на мельнице!

Появление старика испугало было Елену; она вспомнила рассказы про леших, и странно подействовали на нее морщины и белая борода незнакомца, но в голосе его было что-то добродушное; Елена, переменив внезапно мысли, бросилась к нему в ноги.

– Дедушка, дедушка! – вскричала она, – оборони меня, укрой!

Мельник тотчас смекнул, в чем дело: конь, на котором прискакала Елена, принадлежал Вяземскому. По всем вероятностям, она была боярыня Морозова, та самая, которую он пытался приворожить к князю. Он никогда ее не видал, но много узнал о ней через Вяземского. Она не любила князя, просила о помощи, стало быть, она, вероятно, спаслась от князя на его же коне.

Старик вмиг сообразил все эти обстоятельства.

– Господь с тобою, боярыня! – сказал он, – как мне оборонить тебя? Силен князь Афанасий Иванович, длинны у него руки, погубит он меня, старика!

Елена со страхом посмотрела на мельника.

– Ты знаешь... – сказала она, – ты знаешь, кто я?

– Мало ли что я знаю, матушка Елена Дмитриевна! Много на моем веку нажурчала мне вода, нашептали деревья! Знаю я довольно; не обо всем говорить пригоже!

– Дедушка, коли все тебе ведомо, ты, стало быть, знаешь, что Вяземский не погубит тебя, что он лежит теперь на дороге, изрубленный. Не его боюсь, дедушка, боюсь опричников и холопей княжеских... ради пречистой богородицы, дедушка, укрой меня!

– Ох-ох-ох! – сказал старик, тяжело вздыхая, – лежит Афанасий Иванович на дороге изрубленный! Но не от меча ему смерть написана. Встанет князь Афанасий Иванович, прискачет на мельницу, скажет: где моя боярыня-душа, зазноба ретива сердца мово? А какую дам я ему отповедь? Не таков он человек, чтобы толковать с ним. Изрубит в куски!

– Дедушка, вот мое ожерелье! Возьми его! Еще больше дам тебе, коли спасешь меня!

Глаза мельника заблистали. Он взял жемчужное ожерелье из рук боярыни и стал любоваться им на месяце.

– Боярыня, лебедушка моя, – сказал он с довольным видом, – да благословит тебя прещедрый господь и московские чудотворцы! Нелегко мне укрыть тебя от княжеских людей, коль, неравно, они сюда наедут! Только уж послужу тебе своею головою, авось бог нас помилует!

Еще не успел старик договорить, как в лесу послышался конский топот.

– Едут, едут! – вскричала Елена. – Не выдавай меня, дедушка!

– Добро, боярыня, сюда ступай за мною!

Мельник поспешно повел Елену в мельницу.

– Притаись здесь, за мешками, – сказал он, запер за нею дверь и побежал к коню.

– Ах, бог ты мой, как бы коня-то схоронить, чтоб не догадались!

Он взял его за узду, отвел на другую сторону мельницы, где была у него пасека, и привязал в кустах за ульями.

Между тем топот коней и людские голоса раздавались ближе. Мельник заперся в каморе и задул лучину.

Вскоре показались на поляне люди Вяземского. Двое из холопей шли пешие и несли на сплетенных ветвях бесчувственного князя. У мельницы они остановились.

– Полно, сюда ли мы заехали? – спросил старший из всадников.

– Сюда конь убежал! – отвечал другой. – Я след видел! Да здесь же и знахарь живет. Пусть посмотрит князя!

– Опустите на землю его милость, да с бережением! Что, кровь не унимается?

– Не дает бог легче, – отвечали холопы, – вот уж третий раз князь на ходу очнется, да и опять обомрет! Коли мельник не остановит руды, так и не встать князю, истечет до капли!

– Да где он, колдун проклятый? Ведите его проворней!

Опричники стали стучать в мельницу и в камору. Долго стук их и крики оставались без ответа. Наконец в каморе послышался кашель, из прорубленного отверстия высунулась голова мельника.

– Кого это господь принес в такую пору? – сказал старик, кашляя так тяжело, как будто бы готовился выкашлять душу.

– Выходи, колдун, выходи скорее, кровь унять! Боярин князь Вяземский посечен саблей!

– Какой боярин? – спросил старик, притворяясь глухим.

– Ах ты бездельник! Еще спрашивает: какой? Ломайте двери, ребята!

– Постойте, кормильцы, постойте! Сам выйду, зачем ломать? Сам выйду!

– Ага, небось услышал, глухой тетерев!

– Не взыщи, батюшка, – сказал мельник, вылезая, – виноват, родимый, туг на ухо, иного сразу не пойму! Да к тому ж, нечего греха таить, как стали вы, родимые, долбить в дверь да в стену, я испужался, подумал, оборони боже, уж не станичники ли! Ведь тут, кормильцы, их самые засеки и притоны. Живешь в лесу со страхом, все думаешь: что коли, не дай бог,

навернутся!

– Ну, ну, разговорился! Иди сюда, смотри: вишь, как кровь бежит. Что, можно унять?

– А вот посмотрим, родимые! Эх, батюшки-светы! Да кто ж это так секанул-то его? Вот будь на полвершка пониже, как раз бы висок рассек! Ну, соблюл его бог! А здесь-то? Плечо мало не до кости прорубано! Эх, должно быть, ловок рубиться, кто так хватил его милость!

– Можно ль унять кровь, старик?

– Трудно, кормилец, трудно. Сабля-то была наговорная!

– Наговорная? Слышите, ребята, я говорил, наговорная. А то как бы ему одному семерых посечь!

– Так, так! – отозвались опричники, – вестимо, наговорная; куды Серебряному на семерых!

Мельник все слушал и примечал.

– Ишь как руда точится! – продолжал он, – ну как ее унять? Кабы сабля была не наговорная, можно б унять, а то теперь... оно, пожалуй, и теперь можно, только я боюсь. Как стану нашептывать, язык у меня отыметсЯ!

– Нужды нет, нашептывай!

– Да! нужды нет! Тебе-то нет нужды, родимый, а мне-то будет каково!

– Истома! – сказал опричник одному холопу, – подай сюда кошель с морозовскими червонцами. На тебе, старик, горсть золотых! Коль уймешь руду, еще горсть дам; не уймешь – дух из тебя вышибу!

– Спасибо, батюшка, спасибо! награди тебя господь и все святые угодники! Нечего делать, кормильцы, постараюсь, хоть на свою голову, горю пособить. Отойдите, родимые, дело глаза боится!

Опричники отошли. Мельник нагнулся над Вяземским, перевязал ему раны, прочитал «Отче наш», положил руку на голову князя и начал шептать:

«Ехал человек стар, конь под ним кар, по ристаням, по дорогам, по притонным местам. Ты, мать, руда жильная, жильная, телесная, остановись, назад воротись. Стар человек тебя запирает, на покой согревает. Как коню его воды не стало, так бы тебя, руда-мать, не бывало. Пух земля, одна семья, будь по-моему! Слово мое крепко!»

По мере того как старик шептал, кровь текла медленнее и с последним словом совсем перестала течь. Вяземский вздохнул, но не открыл глаз.

– Подойдите, отцы родные, – сказал мельник, – подойдите без опасенья; унялась руда, будет жив князь; только мне худо... вот уж теперь замечаю, язык костенеет!

Опричники обступили князя. Месяц освещал лицо его, бледное как смерть, но кровь уже не текла из ран.

– И впрямь унялась руда! Вишь, старичина, не ударил лицом в грязь!

– На тебе твои золотые! – сказал старший опричник. – Только это еще не все. Слушай, старик. Мы по следам знаем, что этой дорогой убежал княжеский конь, а может, на нем и боярыня ускакала. Коли ты их видел, скажи!

Мельник вытаращил глаза, будто ничего не понимал.

– Видел ты коня с боярыней?

Старик стал было колебаться, сказать или нет? Но тот же час он сделал следующий расчет:

Кабы Вяземский был здоров, то скрыть от него боярыню было б ой как опасно, а выдать ее куда как выгодно! Но Вяземский оправится ль, нет ли, еще бог весть! А Морозов не оставит услуги без награды. Да и Серебряный-то, видно, любит не на шутку боярыню, коль порубил за нее князя. Стало быть, думал мельник, Вяземский меня теперь не обидит, а Серебряный и Морозов, каждый скажет мне спасибо, коль я выручу боярыню.

Этот расчет решил его сомнения.

– И слухом не слышал, и видом не видал, родимые! – сказал он, – и не знаю, про какого коня, про какую боярыню говорите!

– Эй, не соврал бы ты, старик!

– Будь я анафема! Не видать мне царствия небесного! Вот пусть меня тут же громом хлопнет, коли я что знаю про коня либо про боярыню!

– А вот давай лучину, посмотрим, нет ли следов на песке!

– Да нечего смотреть! – сказал один опричник. – Хотя бы и были следы, наши кони их затоптали. Теперь ничего не увидим!

– Так нечего и смотреть. Отворяй, старик, камору, князя перенести!

– Сейчас, родимые, сейчас. Эх, стар я, кормильцы, а то бы сбегал на постоялый двор, притащил бы вам браги да вина зеленчатого!

– А дома разве нет?

– Нет, родимые. Куда мне, убогому! Нет ни вина, харчей, ни лошадям вашим корма. Вот на постоялом дворе, там все есть. Там такое вино, что хоть бы царю на стол. Тесненько вам будет у меня, государи честные, и перекусить-то нечего; да ведь вы люди ратные, и без ужина обойдетесь! Кони ваши травку пощиплют... вот одно худо, что трава-то здесь такая... иной раз наестся конь, да так его разопрет, что твоя гора! Покачается, покачается, да и лопнет!

– Черт тебя дери, боровик ты старый! Что ж ты хочешь, чтоб наши

кони перелопались?

– Обороны бог, родимые! Коней можно привязать, чтоб не ели травы; одну ночку не беда, и так простоят! А вас, государи, прошу покорно, уважьте мою камору; нет в ней ни сена, ни соломы, земля голая. Здесь не то, что постоялый двор. Вот только, как будете спать ложиться, так не забудьте перед сном прочитать молитву от ночного страха... оно здесь нечисто!

– Ах ты чертов кум этакий! Провались ты и с своею каморой! Вишь, чем потчевать вздумал! Ребята, едем на постоялый двор! Далеко ль дотудова, старик?

– Блиско, родимые, совсем блиско. Вот ступайте эту тропую; как выедете на большую дорогу, повернете влево, проедете не более версты, тут вам будет и постоялый двор!

– Едем! – сказали опричники.

Вяземский все еще был в обмороке. Холопи подняли его и осторожно понесли на носилках. Опричники сели на коней и поехали вслед.

Лишь только удалилась толпа и не стало более слышно в лесу человеческого голоса, старик отпер мельницу.

– Боярыня! Ушли! – сказал он. – Пожалуй в камору. Ах ты, сотик мой забрушенный, как притаилась-то! Пожалуй в камору, лебедушка моя, там тебе будет получше!

Он настлал свежего моху в углу каморы, зажег лучину и поставил перед Еленой деревянную чашку с медовыми сотами и краюху хлеба.

– Ешь на здоровье, боярыня! – сказал он, низко кланяясь, – вот я тебе сейчас винца принесу.

Сбегав еще раз в мельницу, он вынес из нее большую сулею и глиняную кружку.

– Во здравие твое, боярыня!

Старик, как хозяин, первый опорожнил кружку. Вино его развеселило.

– Выпей, боярыня! – сказал он, – теперь некого тебе бояться! Они ищут постоялого двора! Найдут ли, не найдут ли, а уж сюда не вернуться; не по такой дороге я их послал, хе-хе! Да что ты, боярыня, винца не отведаешь? А впрочем, и не отведай! Это вино дрянь! Плюнь на него; я тебе другого принесу!

Мельник опять сбегал на мельницу и этот раз воротился с баклагою под мышкой и с серебряным кубком в руках.

– Вот вино так вино! – сказал он, нагибая баклагу над кубком. – Во здравие твое, боярыня! Это вино и с кубком подарил мне добрый человек... зовут его Перстнем... хе-хе! Здесь много живет добрых людей в лесу: все

они со мной в дружбе! Ешь, боярыня! Да что же ты сотов не ешь? Это соты не простые. Таких сотов за сто верст не найдешь. А почему они не простые? Потому что я пчелиное дело знаю лучше любого ведуна. Я не так, как другие! Я кажинное лето самый лучший улей в болото бросаю водяному дедушке: на тебе, дедушка, кушай! Хе-хе! А он, боярыня, дай бог ему здоровья, мою пасеку бережет. Ведь от него-то на земле и пчелы пошли. Как заездил он коня да бросил в болото, так от этого-то коня и пчелы отроились; а рыбаки-то, вишь, закинули невод да вместо рыбы и вытащили пчел... Эх, боярыня! мало ешь, мало пьешь! А вот посмотри, коли не заставлю тебя винца испить... слушай, боярыня! Во здравие... хе-хе! Во здравие князя... князя, то есть, не того, а Серебряного! Дай бог ему здоровья, вишь, как порубил того-то, то есть Вяземского-то! А боярин-то Дружина Андреич, хе-хе! Во здравие его, боярыня! Поживешь у меня денька два в похоронках, а потом куда хошь ступай, хошь к Дружине Андреичу, хошь к Серебряному, мне какое дело! Во здравие твое!

Чудно и болезненно отозвались в груди Елены слова пьяного мельника. Самые сокровенные мысли ее казались ему известны; он как будто читал в ее сердце; лучина, воткнутая в стену, озаряла его сморщенное лицо ярким светом; серые глаза его были отуманены хмелем, но, казалось, проникали Елену насквозь. Ей опять сделалось страшно, она стала громко молиться.

– Хе-хе! – сказал мельник, – молись, молись, боярыня, я этого не боюсь... меня молитвой не испугаешь, ладаном не выкуришь... я сам умею причитывать... я не какой-нибудь такой... меня и водяной дед знает, и лесовой дед... меня знают русалки... и ведьмы... и кикиморы... меня все знают... меня... меня... вот хошь, я их позову? Шикалу! Ликалу!

– Господи! – прошептала Елена.

– Шикалу! Ликалу! Что? нейдут? Постой, я их приведу! Бду, бду!

Старик встал и, шатаясь и приплясывая, вышел из каморы. Елена в ужасе заперла за ним дверь. Долго мельник разговаривал за дверью сам с собою.

– Меня все знают! – повторял он хвастливым, но уже неверным голосом, – и лесовой дед... и водяной дед... и русалки... и кикиморы... я не какой-нибудь такой!.. меня все знают! Бду, бду!

Слышно было, как старик плясал и притопывал ногами. Потом голос его стал слабеть, он лег на землю, и вскоре раздалось его храпение, которое во всю ночь сливалось с шумом мельничного колеса.



## ГЛАВА 18. Старый знакомый

На другой день после разорения морозовского дома пожилой ратник пробирался на вороной лошади в дремучем лесу. Он беспрестанно снимал шапку и к чему-то прислушивался.

– Тише, Галка, полно те фыркать, – говорил он, трепля лошадь по крутой шее, – вишь, какая неугомонная, ничего расслушать не даст. Фу ты пропасть, никак и места не спознаю! Все липа да орешник, а когда в ту пору ночью ехали, кажись, смолою пахло!

И всадник продолжал путь свой.

– Постой, Галка! – сказал он вдруг, натянув поводья, – вот теперь опять как будто слышу! Да стой ты смирно, эх тебя разбирает! И вправду слышу! Это уж не лист шумит, это мельничное колесо! Вишь, она, мельница, куда запряталась! Только уж постой! Теперь от меня не уйдешь, тетка твоя подкурятина!

И Михеич, как будто опасаясь опять сбиться с дороги, пустился во всю прыть по направлению шума.

– Ну, слава ти, господи, – сказал он, когда между деревьями стал виднеться поросший мхом сруб с вертящимся колесом, – насили-то догнал; а то ведь чуть было не уморился: то впереди шум, то за самой спиной, ничего не разберешь! Вот она и мельница! Вон с той стороны мы в ту пору с боярином подъехали, когда станичники-то дорогу указывали. Да как же это опять будет? В ту пору колесо было справа, а теперь слева; в ту пору камора стояла окном к мельнице, а дверью к лесу, а теперь стоит окном к лесу, а дверью к мельнице! Тьфу ты, уж этот мне мельник! Вишь, как глаза отводит! Недаром же я и колесил целый день круг этого места; кабы не боярина выручать, ни за что бы сюда не приехал!

Михеич слез с своей Галки, привязал ее к дереву, подошел с некоторою боязнию к мельнице и постучался в дверь.

– Хозяин, а хозяин!

Никто не отвечал.

– Хозяин, а хозяин!

Внутри мельницы было молчание: только жернова гудели да шестерни постукивали.

Михеич попытался толкнуть дверь; она была заперта.

«Да что он, седой черт, спит али притаился?» – подумал Михеич и стал изо всей мочи стучать в дверь и руками и ногами. Ответу не было. Михеич

начал горячиться.

– Эй ты, хрен! – закричал он, – вылезай, не то огоньку подложу!

Раздался кашель, и сквозь небольшое отверстие над дверью показалась белая борода и лицо, изрытое морщинами, среди которых светились два глаза ярко-серого цвета. Михеичу стало неловко в присутствии мельника.

– Здравствуй, хозяин! – сказал он ласковым голосом.

– Господь с тобою! – отвечал мельник, – чего тебе, добрый человек?

– Аль не узнал меня, хозяин? Ведь я у тебя ономнясь с боярином ночевал.

– С князем-то? Как не узнать, узнал! Что ж, батюшка, с чем бог принес?

– Да что ж ты, хозяин, забился, как филин в дупло! Или меня впусти, или сам выйди; так говорить несподручно!

– Постой, батюшка, дай только хлебушка подсыпать, вот я к тебе сейчас выйду!

«Да! – подумал Михеич, – посмотрел бы я, какого ты, чертов кум, хлеба подсыпешь? Я чай, кости жидовские ведьмам на муку перемалываешь! Тут и заводу быть не может; вишь, какая глушь, и колеи-то все травой заросли!»

– Ну вот, батюшка, я к тебе и вышел, – сказал мельник, тщательно запирая за собою дверь.

– Насилу-то вышел! Довольно ты поломался, хозяин.

– Да что, куманек, живу ведь не на базаре, в лесу. Всякому отпирать не приходится; далеко ли до беды: видно, что человек, а почему знать, хлеб ли святой у него под полой или камень булыжник!

«Вишь, мухомор! – подумал Михеич, – прикидывается, что разбойников боится, а я чай, нет лешего, с которым бы детей не крестил!»

– Ну, батюшка, что тебе до меня? Ты мне расскажи, а я послушаю!

– Да вот что, хозяин: беда случилась, хуже смерти пришлось; схватили окаянные опричники господина моего, повезли к Слободе с великою крепостью, сидит он теперь, должно быть, в тюрьме, горем крутит, горе мыкает; а за что сидит, одному богу ведомо; не сотворил никакого дурна ни перед царем, ни перед господом; постоял лишь за правду, за боярина Морозова да за боярыню его, когда они лукавством своим, среди веселья, на дом напали и дотла разорили.

Глаза мельника приняли странное выражение.

– Ох-ох-ох! – сказал он – худо, кормилец; худо, кормилец; худо карасю, когда в шум заплывет. Худо князю твоему в темнице сидеть, хуже Морозову без жены молодой, еще хуже Вяземскому от чужой жены!

Михеич удивился.

– Да ты почему знаешь, что Вяземский Морозова жену увез? Я тебе ничего про это не сказывал!

– Эх, куманек, не то одно ведомо, что сказывается; иной раз далеко в лесу стукнет, близко отзовется; когда под колесом воды убыло, знать есть засуха и за сто верст, и будет хлебу недород велик, а наш брат, старик, живи себе молча; слушай, как трава растет, да мотай себе за ухо!

– Что ж, хозяин, уж не знаешь ли, как помочь боярину? Я вот все думал да гадал, раскидывал умом-разумом, ничего не придумал. Пойду, говорю, к доброму человеку, попрошу совета. Да, признаться, и тот молодец на уме все мотался, что проводил-то нас до тебя. Говорил мне тогда: коли понадобится, говорит, боярину, приходи, говорит, на мельницу, спроси у дедушки, где Ванюха Перстень, а я, говорит, рад боярину служить; за него, говорит, и живот положу! Вот я к тебе и приехал, хозяин; сделай божескую милость, научи, как боярина вызволить. А научишь, уж не забудет тебя князь Никита Романыч, да и я, горемычный, буду вечным слугою твоим.

«Провалиться бы тебе сквозь землю, тетка твоя подкурятина, – прибавил мысленно Михеич, – вот кому довелось кланяться!»

– Что ж, батюшка, почему не попытаться горю пособить. Плохо дело, что и говорить, да ведь ухватом из поломя горшки вымаются, а бывает инольды, и зернышко из-под жернова цело выскочит; всяко бывает, какое кому счастье!

– Оно так, хозяин, при счастье и петушок яичко снесет, а при несчастье и жук забодает, только бью тебе челом, научи уму-разуму, что мне теперь делать?

Мельник опустил голову и стал как будто прислушиваться к шуму колеса.

Прошло несколько минут. Старик покачал головой и заговорил, не обращая внимания на Михеича:

«Ходит, ходит колесо кругом, что было высоко, то будет низко, что было низко, будет высоко; слышу, далеко звонит колокол, невесть на похороны, невесть на свадьбу; а кого венчать, кого хоронить, не слышать, вода шумит, не видать за великим дымом!

Слетаются вороны издалека, кличут друг друга на богатый пир, а кого клевать, кому очи вымать, и сами не чувят, летят да кричат! Наточен топор, наряжен палач; по дубовым доскам побегут, потекут теплой крови ручьи; слетят головы с плеч, да неведомо чьи!»

Михеич струсил.

– Что ты, дедушка, говоришь такое, да еще и причитываешь, словно по покойнике?

Мельник, казалось, не слышал Михеича. Он уже ничего не говорил, но только бормотал себе что-то под нос. Губы его без умолку шевелились, а серые глаза смотрели тускло, как будто ничего не видели.

– Дедушка, а дедушка! – и Михеич дернул его за рукав.

– А? – отозвался мельник и обратился к Михеичу, будто теперь только его заметил.

– Что ты бормочешь, дедушка?

– Эх, куманек! Много слышится, мало сказывается. Ступай теперь путем-дорогой мимо этой сосны. Ступай все прямо; много тебе будет поворотов и вправо и влево, а ты все прямо ступай; верст пять проедешь, будет в стороне избушка, в той избушке нет живой души. Подожди там до ночи, придут добрые люди, от них больше узнаешь. А обратным путем заезжай сюда, будет тебе работа; залетела жар-птица в западню; отвезешь ее к царю Далмату, а выручку пополам!

И, не дожидаясь ответа, старик вошел в мельницу и запер за собою дверь.

– Дедушка! – закричал ему вслед Михеич, – да скажи мне толком, про каких ты людей говоришь, про какую птицу?

Но мельник не отозвался на голос Михеича, и сколько тот ни прислушивался, он ничего не мог услышать, кроме шума воды и стука колес.

«Вишь, тетка его подкурятина! – подумал Михеич, – куда вздумал посылать! Верст пять будет избушка, в ней жди до ночи, а там черт знает кто придет, больше скажет. Послал бы я тебя самого туда, хрен этакий! Кабы не боярин, уж я бы дал тебе! Вишь, какой, в самом деле! Тьфу! Ну, Галка, нечего делать, давай искать чертовой избушки!»

И, сев на коня, Михеич присвистнул и пустился рысцей по направлению, указанному мельником.

## ГЛАВА 19. Русский человек добро помнит

Было уже поздно, когда Михеич увидел в стороне избушку, черную и закоптевшую, похожую больше на полуистлевший гриб, чем на человеческое жилище. Солнце уже зашло. Полосы тумана стлались над высокою травой на небольшой расчищенной поляне. Было свежо и сыро. Птицы перестали щебетать, лишь иные время от времени зачинали сонную песнь и, не окончив ее, засыпали на ветвях. Мало-помалу и они замолкли, и среди общей тишины слышно было лишь слабое журчанье невидимого ручья да изредка жужжание вечерних жуков.

– Вишь, куда заехали, – сказал Михеич, оглядываясь кругом, – и подлинно тут живой души нет! Подожду, посмотрю, кто такой придет, какого даст совета? Ну, а коли, не дай бог, кто-нибудь такой придет, что... тьфу! С нами крестная сила! Дал бы я карачуна этому мельнику, кабы не боярина выручать.

Михеич слез с своей Галки, стреножил ее путами, снял узду и пустил лошадку на волю божию.

– Щипли себе травку, – сказал он, – а я войду в избу, коли дверь не заперта, посмотрю, нет ли чего перекусить! Хозяйство, может, хоть и недоброе, да ведь и голод не тетка!

Он толкнул ногой низенькую косую дверь; странно раздался в этом безлюдном месте ее продолжительный скрип, почти похожий на человеческий плач. Когда наконец, повернувшись на петлях, она ударилась в стену, Михеич нагнулся и вошел в избу. Его обдало темнотой и запахом остывшего дыма. Пошарив кругом, он ощупал на столе краюху хлеба и принялся убирать ее за обе щеки. Потом подошел к очагу, порылся в золе, нашел там горячие уголья, раздул их не без труда и зажег лучину, валявшуюся на лавке. Между печью и стеною были укреплены полати. На них лежало разное платье, между прочим один парчовый кафтан, шитый хоть бы на боярина. На стене висела мисюрка с богатою золотою насечкой. Но более всего привлек внимание Михеича стоявший на косяке образ, весь почерневший от дыма. Он примирил его с неизвестными хозяевами.

Михеич несколько раз на него перекрестился, потом погасил лучину, влез на полати, растянулся, покряхтел и заснул богатырским сном. Он спал довольно сладко, когда внезапный удар кулаком в бок свалил его с полатей.

– Это что? – вскричал Михеич, проснувшись уже на голой земле, – кто это дерется? смотри, тетка твоя...

Перед ним стоял детина со всклоченною бородой, с широким ножом за поясом и готовился попотчевать его новым ударом кулака.

– Не замай! – сказал ему другой дюжий парень, у которого только что ус пробивался, – что он тебе сделал? А? – При этом он оттер товарища плечом, а сам уставился на Михеича и выпучил глаза.

– Ишь, сядой! – заметил он с каким-то почтительным удивлением.

– Да ты, тюлень, чего ввязался! – закричал на него первый, – что он тебе, отец али сват?

– А то он мне, что старик. Ишь, сядой, потому старик. Я те говорю, не тронь, осерчаю!

Громкий смех раздался между людьми, вошедшими толпою в избу.

– Эй, Хлопко, – сказал один из них, – берегись! Коли Митька осерчает, плохо будет! С ним, брат, не связывайся!

– Леший с ним свяжется! – отвечал Хлопко, отходя в сторону. – Жили, жили в лесу, да и нажили медведя!

Другие молодцы, все вооруженные, обступили Михеича и смотрели на него не слишком ласково.

– Откуда кожан залетел? – спросил один из них, глядя ему прямо в глаза.

Михеич между тем успел оправиться.

«Эге! – подумал он, – да это они-то и есть, станичники-то!»

– Здравствуйте, добрые люди! А где у вас тот, что зовут Ванюхой Перстнем?

– Так тебе атамана надо? Чего ж ты прежде не говорил? Сказал бы сразу, так не отведал бы тумака!

– А вот и атаман! – прибавил другой, указывая на Перстня, который только что вошел в сопровождении старого Коршуна.

– Атаман! – закричали разбойники, – вот пришел человек, про тебя спрашивает!

Перстень окинул быстрым оком Михеича и тотчас узнал его.

– А, это ты, товарищ! – сказал он, – добро пожаловать! Ну, что его княжеская милость, как здоровует с того дня, как мы вместе Малютиных опричников щелкали? Досталось им от нас на Поганой Луже! Жаль только, что Малюта Лукьяныч ускользнул да что этот увалень, Митька, Хомяка упустил. Несдобровать бы им у меня в руках! Что, я чай, батюшка-царь куда как обрадовался, как царевича-то увидал! Я чай, не нашел, чем пожаловать князь Никиту Романыча!

– Да! – отвечал со вздохом Михеич, – жалует царь, да не жалует псарь! Батюшка-государь Иван Васильич, дай бог ему здоровья, таки миловал

господина моего. Только, видно, не угодил Никита Романыч опричникам окаянным. Правда, не за что им и любить нас. Перво в Медведевке мы их плетью отшлепали, да вдругорь на Поганой Луже Малюте оплеуху дали, да вот вчера на Москве боярин таки порубил их порядком. А они, окаянные, навалились на него многолюдством, опрокинули, связали, да и повезли к Слободе. Оно бы все ничего, да этот Малюта, песий сын, обнесет нас перед государем, выместит на князе свою оплеуху!

– Гм! – сказал Перстень, садясь на скамью, – так царь не велел повесить Малюту? Как же так? Ну, про то знает его царская милость. Что ж ты думаешь делать?

– Да что, батюшка Иван, не знаю, как и величать твоё здоровье по изотчеству...

– Величай Ванюхой, и дело с концом!

– Ну, батюшка Ванюха, я и сам не знаю, что делать. Авось ты чего не пригадаешь ли? Ведь один-то ум хорош, а два лучше! Вот и мельник ни к кому другому, а к тебе послал: ступай, говорит, к атаману, он поможет; уж я, говорит, по приметам вижу, что ему от этого будет всякая удача и корысть богатая! Ступай, говорит, к атаману!

– Ко мне! Так и сказал, ко мне?

– К тебе, батюшка, к тебе. Ступай, говорит, к атаману, отдай от меня поклон, скажи, чтобы во что б ни стало выручил князя. Я-де, говорит, уж вижу, что ему от этого будет корысть богатая, по приметам, дескать, вижу. Пусть, во что б ни стало, выручит князя! Я-де, говорит, этой службы не забуду. А не выручит атаман князя, всякая, говорит, будет напасть на него; исчахнет, говорит, словно былинка; совсем, говорит, пропадет!

– Вот что! – сказал Перстень, потупя голову и как будто задумавшись. – Ужель и вправду исчахну?

– Да, батюшка, и руки и ноги, говорит, отсохнут; а на голове такая, говорит, пойдет дрянь, что не приведи господи!

Перстень поднял голову и пристально взглянул на Михеича.

– А ещё ничего не сказал мельник?

– Как же, батюшка! – продолжал Михеич, поглядывая сбоку на дымящийся горшок щей, который разбойники поставили на стол, – ещё мельник сказал так: скажи, дескать, атаману, чтоб он тебя накормил и напоил хорошенько, примерно, как бы самого меня. А главное, говорит, чтоб выручил князя. Вот что, батюшка, мельник сказал.

И Михеич посматривал на атамана, изведывая, какое впечатление произвели его слова?

Но Перстень взглянул на него ещё пристальнее и вдруг залился самым

громким, самым веселым смехом.

– Эх, старина, старина! Так тебе и вправду мельник сказал, что коли не выручу князя, так вот и пропаду?

– Да, батюшка, – отвечал стремянный, немного запинаясь, – и руки и ноги...

– Хитер же ты, брат! – перебил Перстень, ударив его по плечу и продолжая смеяться, – только меня-то напрасно надувать вздумал! Садись с нами, – прибавил он, придвигаясь к столу, – хлеб да соль! На тебе ложку, повечеряем; а коли можно помочь князю, я и без твоих выдумок помогу. Только как и чем помочь? Ведь князь-то в тюрьме сидит?

– В тюрьме, батюшка.

– В той самой, что на площади, у Малютина дома?

– Да уж ни в какой другой. Эта будет покрепче!

– А ключи ведь у кого? У Малюты?

– Да как были мы в Слободе, так, бывало, видели, как он хаживал в тюрьму пытаться людей. Ключи, бывало, всегда с ним. А к ночи, бывало, он их к царю относит, а уж царь, всем ведомо, под самое изголовье кладет.

– Ну так вишь ли! – сказал Перстень, опуская ложку в щи, – какой тут бес твоему князю поможет? Ну говори сам: какой бес ему поможет?

Михеич почесал затылок.

– Так ты видишь, что нельзя помочь?

– Вижу, – отвечал Михеич и ложку бросил. – Стало, и мне не жить на белом свете! Пойду к господину, сложу старую голову подле его головы, стану ему на том свете служить, коль на этом заказано!

– Ну, ну, уж и отходную затынул! Еще, может, князь твой и не в тюрьме. Тогда и плакать нечего; а коли в тюрьме, так дай подумать... Слободу-то я хорошо знаю; я туда прошедшего месяца медведя водил, и дворец знаю, все высмотрел; думал себе: когда-нибудь пригодится!.. Постой, дай поразмыслить...

Перстень задумался.

– Нашел! – вскричал он вдруг и вскочил с места. – Дядя Коршун! Нас с тобой князь от смерти спас – спасем и мы его; теперь наша очередь! Хочешь идти со мной на трудное дело?

Старый разбойник нахмурился и покачал кудрявою головой.

– Что, Коршун, нешто не хочется тебе?

– Да что ты, атаман, с ума, что ли, спятил? Аль не слыхал, где сидит князь? Аль не слыхал, что ключи днем у Малюты, а ночью у царя под изголовьем? Что тут делать? Плетью обуха не перешибешь. Пропал он, так и пропал! Нешто из-за него и нам пропадать? Легче ему, что ли, будет,



когда с нас шкуру сдерут?

– Оно так, Коршун, да ведь недаром пословица говорится: долг платежом красен! Ведь не спаси нас в то время князь, где бы мы теперь были? Висели бы где-нибудь на березе, ветер бы нас покачивал! А каково-то ему теперь? Я чай, думает себе: вот, я в ту пору ребятушек вызволил из беды, теперь и они меня вызволят! А как бросим мы его, да как поведут его казнить, – тьфу! скажет, – чтой-то за люди были, воровать-разбойничать умеют, а добра-то не помнят! Только, скажет, кровь неповинную проливают, а христианина спасти не их дело! Я, скажет, за них господу богу и доброго слова не замолвлю! Пусть себе, скажет, и на этом свету и на том пропадают! Вот что скажет князь!

Коршун еще более нахмурил брови. Внутренняя борьба отразилась на суровом лице его. Заметно было, что Перстень удачно тронул живую струну в очерствелом его сердце.

Но недолго продолжалась эта борьба. Старик махнул рукою.

– Нет, брат, – сказал он, – пустое затеваешь; своя рубаха ближе к телу! Не пойду!

– Ну нет так нет! – сказал Перстень. – Подождем утра, авось что другое придумаем, утро вечера мудренее! А теперь, ребятушки, пора бы и соснуть! Кто может богу молиться, молись, а кто не может, так ложись!

Атаман посмотрел искоса на Коршуна. Видно, знал он что-нибудь за стариком, ибо Коршун слегка вздрогнул и, чтоб никто того не заметил, стал громко зевать, а потом напевать себе что-то под нос.

Разбойники встали. Иные тотчас влезли на полати; другие еще долго молились перед образом. Из числа последних был Митька. Он усердно клал земные поклоны, и если б одежда и вооружение не обличали ремесла его, никто бы по добродушному лицу Митьки не узнал в нем разбойника.

Не таков был старый Коршун. Когда все улеглись, Михеич увидел при слабом мерцании огня, как старик слез с лежанки и подошел к образу. Несколько раз он перекрестился, что-то пробормотал и наконец сказал с сердцем:

– Нет, не могу! А чаял, будет легче сегодня!

Долго слышал Михеич, как Коршун ворочался с боку на бок, ворчал что-то про себя, но не мог заснуть. Перед рассветом он разбудил атамана.

– Атаман, – сказал он, – а атаман!

– Чего тебе, дядя?

– Пожалуй, я пойду с тобой; веди куда знаешь!

– Что так?

– Да так, спать не могу. Вот уж которую ночь не спится.

– А назад не попятишься?

– Уж сказал иду, так не попячусь!

– Ну, ладно, дядя Коршун, спасибо! Теперь только бы еще одного товарища, а более не надо! Много ли ночи осталось?

– Уж, слышно, птахи заиграли.

– Ну, так уже вволю полежано, и вставать пора, Митька! – сказал Перстень, толкая под бок Митьку.

– А? – отвечал, раскрыв глаза, парень.

– Хочешь идти с нами?

– Куда?

– Тебе что за дело? Спрашивают тебя, хочешь ли идти со мной да с дедушкой Коршуном?

– А для ча? – отвечал Митька, зевая, и свесил ноги с полатей.

– Ну, за это люблю. Иди куда поведут, а не спрашивай: куда? Расшибут тебе голову, не твое дело, про то мы будем знать, а тебе какая нужда! Ну, смотри ж, взялся за гуж, не говори: не дюж; попятишься назад, раком назову!

– Ня назовешь! – отвечал Митька и стал обертывать ноги онучами.

Разбойники начали одеваться.

В чем состояла выдумка Перстня и удачно ль он исполнил ее, – узнаем из следующих глав.

## ГЛАВА 20. Веселые люди

В глубокой и темной тюрьме, которой мокрые стены были покрыты плесенью, сидел князь Никита Романович, скованный по рукам и ногам, и ожидал себе смерти. Не знал он наверно, сколько прошло дней с тех пор, как его схватили, ибо свет ниоткуда не проникал в подземелье; но время от времени доходил до слуха его отдаленный благовест, и, соображаясь с этим глухим и слабым звоном, он рассчитал, что сидит в тюрьме более трех дней. Брошенный ему хлеб был уже давно съеден, оставленный ковш с водою давно выпит, и голод и жажда начинали его мучить, как непривычный шум привлек его внимание. Над головой его отпирали замок. Заскрипела первая, наружная дверь темницы. Шум раздался ближе. Загремел другой замок, и вторая дверь заскрипела. Наконец отперли третью дверь, и слышались шаги, спускающиеся в подземелье. Сквозь щели последней двери блеснул огонь, ключ с визгом повернулся, несколько засовов отодвинулось, ржавые петли застонали, и яркий, нестерпимый свет ослепил Серебряного.

Когда он опустил руки, которыми невольно закрыл глаза, перед ним стояли Малюта Скуратов и Борис Годунов. Сопровождавший их палач держал высоко над ними смоляный светоч.

Малюта, скрестив руки, глядел, улыбаясь, в лицо Серебряному, и зрачки его, казалось, сжимались и расширялись.

– Здравствуй, батюшка-князь! – проговорил он таким голосом, которого никогда еще не слыхивал Никита Романович, голосом протяжно-вкрадчивым и зловеще-мягким, напоминающим кровожадное мяуканье кошки, когда она подходит к мышеловке, в которой сидит пойманная мышь.

Серебряный невольно содрогнулся, но вид Годунова подействовал на него благотворно.

– Борис Федорович, – сказал он, отворачиваясь от Малюты, – спасибо тебе, что ты посетил меня. Теперь и умереть будет легче!

И он протянул к нему скованную руку. Но Годунов отступил назад, и на холодном лице его ни одна черта не выразила участия к князю.

Рука Серебряного, гремя цепью, опять упала к нему на колени.

– Не думал я, Борис Федорович, – сказал он с упреком, – что ты отступишься от меня. Или ты только пришел на мою казнь посмотреть?

– Я пришел, – ответил спокойно Годунов, – быть у допроса твоего вместе с Григорьем Лукьяновичем. Отступить мне не от чего; я никогда

не мыслил к тебе и только, ведая государево милосердие, остановил в ту пору заслуженную тобою казнь!

Сердце Серебряного болезненно сжалось, и перемена в Годунове показалась ему тяжелее самой смерти.

– Время милосердия прошло, – продолжал Годунов хладнокровно, – ты помнишь клятву, что дал государю? Покорись же теперь его святой воле, и если признаешься нам во всем без утайки, то минуешь пытку и будешь казнен скорою смертью. Начнем допрос, Григорий Лукьянович!

– Погоди, погоди маленько! – отвечал Малюта, улыбаясь. – У меня с его милостью особые счета! Укороти его цепи, Фомка, – сказал он палачу.

И палач, воткнув светоч в железное кольцо, вделанное в стену, подтянул руки Серебряного к самой стене, так что он не мог ими двинуть.

Тогда Малюта подступил к нему ближе и долго смотрел на него, не изменяя своей улыбки.

– Батюшка, князь Никита Романыч! – заговорил он наконец, – не откажи мне в милости великой!

Он стал на колени и поклонился в землю Серебряному.

– Мы, батюшка-князь, – продолжал он с насмешливою покорностью, – мы перед твоею милостью малые люди; таких больших бояр, как ты, никогда еще своими руками не казнили, не пытавали и к допросу-то приступить робость берет! Кровь-то, вишь, говорят, не одна у нас в жилах течет...

И Малюта остановился, и улыбка его сделалась ядовитее, и глаза расширились более, и зрачки запрыгали чаще.

– Дозволь, батюшка-князь, – продолжал он, придавая своему голосу умоляющее выражение, – дозволь перед допросом, для смелости-то, на твою боярскую кровь посмотреть!

И он вынул из-за пояса нож и подполз на коленях к Серебряному.

Никита Романович рванулся назад и взглянул на Годунова.

Лицо Бориса Федоровича было неподвижно.

– А потом, – продолжал, возвышая голос, Малюта, – потом дозволь мне, худородному, из княжеской спины твоей ремней выкроить! Дозволь мне, холопу, боярскую кожу твою на конский чепрак снять! Дозволь мне, смрадному рабу, вельможным мясом твоим собак моих накормить!

Голос Малюты, обыкновенно грубый, теперь походил на визг шакала, нечто между плачем и хохотом.

Волосы Серебряного стали дыбом. Когда в первый раз Иоанн осудил его на смерть, он твердо шел на плаху; но здесь, в темнице, скованный цепями, изнуренный голодом, он не в силах был вынести этого голоса и

взгляда.

Малюта несколько времени наслаждался произведенным им действием.

– Батюшка-князь, – взвизгнул он вдруг, бросая нож свой и подымаясь на ноги, – дозвожь мне прежде всего тебе честно долг заплатить!

И, стиснув зубы, он поднял ладонь и замахнулся на Никиту Романовича.

Кровь Серебряного отхлынула к сердцу, и к негодованию его присоединился тот ужас омерзения, какой производит на нас близость нечистой твари, грозящей своим прикосновением.

Он устремил отчаянный взор свой на Годунова. В эту минуту, подъятая рука Малюты остановилась на воздухе, схваченная Борисом Федоровичем.

– Григорий Лукьянович, – сказал Годунов, не теряя своего спокойствия, – если ты его ударишь, он расшибет себе голову об стену, и некого будет нам допрашивать. Я знаю этого Серебряного.

– Прочь! – заревел Малюта, – не мешай мне над ним потешиться! не мешай отплатить ему за Поганую Лужу!

– Опомнись, Григорий Лукьянович! мы отвечаем за него государю!

И Годунов схватил Малюту за обе руки.

Но как дикий зверь, почуявший кровь, Малюта ничего уже не помнил. С криком и проклятиями вцепился он в Годунова и старался опрокинуть его, чтобы броситься на свою жертву. Началась между ними борьба; светоч, задетый одним из них, упал на землю и погас под ногою Годунова.

Малюта пришел в себя.

– Я скажу государю, – прохрипел он, задыхаясь, – что ты стоишь за его изменника!

– А я, – ответил Годунов, – скажу государю, что ты хотел убить его изменника без допроса, потому что боишься его показаний!

Нечто вроде рычания вырвалось из груди Малюты, и он бросился из темницы, позвав с собою палача.

Между тем как они ощупью взбирались по лестнице, Серебряный почувствовал, что ему отпускают цепи и что он опять может двигаться.

– Не отчаивайся, князь! – шепнул ему на ухо Годунов, крепко сжимая его руку, – главное – выиграть время!

И он поспешил вслед за Малютой, заперев предварительно за собою дверь и тщательно задвинув засовы.

– Григорий Лукьянович, – сказал он Скуратову, догнав его у выхода и подавая ему ключи в присутствии стражи, – ты не запер тюрьмы. Этак делать не годится; неравно, подумают, ты заодно с Серебряным!

В то самое время, как описанное происходило в тюрьме, Иоанн сидел в своем тереме, мрачный и недовольный. Незнакомое ему чувство мало-помалу им овладело. Чувство это было невольное уважение к Серебряному, которого смелые поступки возмущали его самодержавное сердце, а между тем не подходили под собственные его понятия об измене. Доселе Иоанн встречал или явное своеволие, как в боярах, омрачавших своими раздорами время его малолетства, или гордое непокорство, как в Курбском, или же рабскую низкопоклонность, как во всех окружавших его в настоящее время. Но Серебряный не принадлежал ни к одному из этих разрядов. Он разделял убеждения своего века в божественной неприкосновенности прав Иоанна; он умственно подчинялся этим убеждениям и, более привыкший действовать, чем мыслить, никогда не выходил преднамеренно из повиновения царю, которого считал представителем божией воли на земле. Но несмотря на это, каждый раз, когда он сталкивался с явной несправедливостью, душа его вскипала негодованием, и врожденная прямота брала верх над правилами, принятыми на веру. Он тогда, сам себе на удивление и почти бессознательно, действовал наперекор этим правилам, и на деле выходило совсем не то, что они ему предписывали. Эта благородная непоследовательность противоречила всем понятиям Иоанна о людях и приводила в замешательство его знание человеческого сердца. Откровенность Серебряного, его неподкупное прямоту и неспособность преследовать личные выгоды были очевидны для самого Иоанна. Он понимал, что Серебряный его не обманет, что можно на него вернее положиться, чем на кого-либо из присяжных опричников, и ему приходило желание приблизить его к себе и сделать из него свое орудие; но вместе с тем он чувствовал, что орудие это, само по себе надежное, может неожиданно ускользнуть из рук его, и при одной мысли о такой возможности расположение его к Серебряному обращалось в ненависть. Хотя подвижная впечатлительность Иоанна и побуждала его иногда отказываться от кровавых дел своих и предаваться раскаянию, но то были исключения; в обыкновенное же время он был проникнут сознанием своей непогрешимости, верил твердо в божественное начало своей власти и ревниво охранял ее от посторонних посягательств; а посягательством казалось ему всякое, даже молчаливое осуждение. Так случилось и теперь. Мысль простить Серебряного мелькнула в душе его, но тотчас же уступила место убеждению, что Никита Романович принадлежит к числу людей, которых не должно терпеть в государстве.

«Аще, – подумал он, – целому стаду, идущу одесную, единая овца идет ошую, пастырь ту овцу изъемлет из стада и закланию предает!» Так

подумал Иоанн и решил в сердце своем участь Серебряного. Казнь ему была назначена на следующий день; но он велел снять с него цепи и послал ему вина и пищи от своего стола. Между тем, чтобы разогнать впечатления, возбужденные в нем внутреннею борьбою, впечатления непривычные, от которых ему было неловко, он вздумал проехаться в чистом поле и приказал большую птичью охоту.

Утро было прекрасное. Сокольничий, подсокольничий, начальные люди и все чины сокольничья пути выехали верхами, в блестящем убранстве, с соколами, кречетами и челигами на рукавицах и ожидали государя в поле.

Недаром искони говорилось, что полевая потеха утешает сердца печальные, а кречетья добыча веселит весельем радостным старого и малого. Сколь ни пасмурен был царь, когда выехал из Слободы с своими опричниками, но при виде всей блестящей толпы сокольников лицо его прояснилось. Местом сборища были заповедные луга и перелески верстах в двух от Слободы по Владимирской дороге.

Сокольничий, в красном бархатном кафтане с золотою нашивкой и золотою перевязью, в парчовой шапке, в желтых сапогах и в нарядных рукавицах, слез с коня и подошел к Иоанну, сопровождаемый подсокольничим, который нес на руке белого кречета, в клобучке и в колокольцах.

Поклонившись до земли, сокольничий спросил:

– Время ли, государь, веселью быть?

– Время, – отвечал Иоанн, – начинай веселье!

Тогда сокольничий подал царю богатую рукавицу, всю испещренную золотыми притчами, и, приняв кречета от подсокольничего, посадил его государю на руку.

– Честные и доброхвальные охотники! – сказал сокольничий, обращаясь к толпе опричников, – забавляйтесь и утешайтесь славною, красною и премудрою охотой, да исчезнут всякие печали и да возрадуются сердца ваши!

Потом, обратясь к сокольникам:

– Добрые и прилежные сокольники, – сказал он, – напускайте и добывайте!

Тогда вся пестрая толпа сокольников рассеялась по полю. Иные с криком бросились в перелески, другие поскакали к небольшим озерам, разбросанным как зеркальные осколки между кустами. Вскоре стаи уток поднялись из камышей и потянулись по воздуху.

Охотники пустили соколов. Утки бросились было обратно к озерам, но

там встретили их другие соколы, и они в испуге разметались, как стрелы, по всем направлениям.

Соколы, дермлиги и разные челиги, ободряемые криками поддатней, нападали на уток, кто вдогонку, кто наперехват, кто прямым боем, сверху вниз, падая, как камень, на спину добычи.

Отличились в этот день и Бедряй, и Смеляй, сибирские челиги, и Арбаси Анпрас, соколы-дикомыты, и Хорьяк, и Худяк, и Малец, и Палец. Досталось от них и уткам и тетеревам, которых рядовые сокольники выпугивали бичами из зарослей. Чуден и красносмотрителен был лет разнопородных соколов. Тетерева беспрестанно падали, кувыркаясь в воздухе. Несколько раз утки в отчаянье бросались лошадям под ноги и были схвачены охотниками живьем. Не обошлось и без наклада. Молодик Гамаюн, бросившись с высоты на старого косача, летевшего очень низко, ударился грудью оземь и убился на месте.

Астрец и Сородум, два казанские розмытя, улетели из виду охотников, несмотря ни на свист поддатней, ни на голубиные крылья, которыми они махали.

Но всех славнее и удивительнее выказал себя царский кречет, честник, по прозванию Адраган. Два раза напускал его царь, и два раза он долго оставался в воздухе, бил без промаху всякую птицу и, натешившись вдоволь, спускался опять на золотую рукавицу царя. В третий раз Адраган пришел в такую ярость, что начал бить не только полевою птицу, но и самих соколов, которые неосторожно пролетали мимо него. Сокол Смышляй и соколий челиг Кружок упали на землю с подрезанными крыльями. Тщетно царь и все бывшие при нем сокольники манили Адрагана на красное сукно и на птичьи крылья. Белый кречет чертил в небе широкие круги, подымался на высоту невидимую и подобно молнии стремился на добычу; но вместо того чтоб опускаться за нею на землю, Адраган после каждой новой победы опять взмывал кверху и улетал далеко.

Сокольниковый, потеряв надежду достать Адрагана, поспешил подать царю другого кречета. Но царь любил Адрагана и припечалился, что пропала его лучшая птица. Он спросил у сокольника, кому из рядовых указано держать Адрагана? Сокольниковый отвечал, что указано рядовому Тришке.

Иоанн велел позвать Тришку. Тришка, чуя беду, явился бледный.

– Человече, – сказал ему царь, – так ли ты блюдешь честника? На что у тебе вабило, коли ты не умеешь наманить честника? Слушай, Тришка, отдаю в твои руки долю твою: коли достанешь Адрагана, пожалую тебя



так, что никому из вас такого времени не будет; а коли пропадет честник, велю, не прогневайся, голову с тебя снять, – и то будет всем за страх; а я давно замечаю, что нет меж сокольников доброго строения и гибнет птичья потеха!

При последних словах Иоанн покосился на самого сокольничего, который, в свою очередь, побледнел, ибо знал, что царь ни на кого не косится даром.

Тришка, не теряя времени, вскочил на конь и поскакал искать Адрагана, молясь своему заступнику, святому угоднику Трифону, чтоб указал он ему потерянного кречета.

Охота меж тем шла своим чередом. Уже не по один час тешился государь, и уже много всякой добычи было ввязано в торока, как новое зрелище обратило на себя внимание Иоанна.

По Владимирской дороге тащились двое слепых, один средних лет, другой старик с седою кудрявою головой и длинною бородой. На них были белые, изношенные рубахи, а на полотенцах, перекинутых через плечи крест-накрест, висели с одной стороны мешок для сбирания милостыни, а с другой – изодранный кафтан, скинутый по случаю жары. Остальные пожитки, как-то: гусли, балалайки и торбу с хлебом, – они взвалили на дюжего молодого парня, служившего им вожатым. Сначала тот из слепых, который был помоложе, держался за плечо вожатого, а сам тащил за собою старика. Только молодой парень, видно, зазевался на охоту и забыл про товарищей. Слепые отстали от зрячего. Держась один за другого, они щупали землю высокими палками и часто спотыкались. Глядя на них, Иван Васильевич не мог удержаться от смеха. Он подъехал к ним ближе. В это время передний слепой оступился, упал в лужу и потянул за собою товарища. Оба встали покрытые грязью, отплевываясь и браня вожатого, который смотрел, разиня рот, на блестящих опричников. Царь громко смеялся.

– Кто вы, молодцы? – спросил он. – Откуда и куда идете?

– Проваливай! – отвечал младший слепой, не снимая шапки, – много будешь знать, скоро состаришься.

– Дурень! – закричал один опричник, – аль не видишь, кто перед тобой!

– Сам ты дурень, – отвечал слепой, выкатив на опричника белки свои, – где мне видеть, коли глаз нетути. Вот ты – дело другое; у тебя без двух четыре, так видишь ты и дале и шире; скажи, кто передо мной, так буду знать!

Царь приказал молчать опричнику и ласково повторил вопрос свой.

– Мы люди веселые, – отвечал слепой, – исходили деревни и села, идем из Мурома в Слободу, бить баклуши, добрых людей тешить, кого на лошадь подсадить, кого спешить!

– Вот как! – сказал царь, которому нравились ответы слепого, – так вы муромцы, калашники, вертячие бобы! А есть еще у вас богатыри в Муроме?

– Как не быть! – отвечал слепой, не запинаясь, – этот товар не переводится; есть у нас дядя Михей: сам себя за волосы на вершок от земли подымает; есть тетка Ульяна: одна ходит на таракана.

Все опричники засмеялись. Царю давно уже не было так весело.

«Вот и вправду веселые люди, – подумал он, – видно, что не здешние. Надоели мне уже мои сказочники. Всё одно и то же наладили, да уж и скоморохи мне наскучили. С тех пор как пошутил я с одним неосторожно, стали все меня опасаться; смешного слова не добьешься; точно будто моя вина, что у того дурака душа не крепко в теле сидела!»

– Слушай, молодец: что, сказки сказывать умеешь?

– Какова сказка, – отвечал слепой, – и кому сказывать. Вот мы ономнясь рассказали старицкому воеводе сказку про козу косматую, да на свою шею: коза-то, вишь, вышла сама воеводша, так он нас со двора и велел согнать, наkostenявши затылок. Вперед не расскажем.

Трудно описать хохот, который раздался между опричниками. Старицкий воевода был в немилости у царя. Насмешка слепого пришлась как нельзя более кстати.

– Слушайте, человеки, – сказал царь, – ступайте в Слободу, прямо во дворец, там ждите моего приезда, царь-де вас прислал. Да чтоб вас накормили и напоили, а приеду домой, послушаю ваших сказок!

При слове «царь» слепые оробели.

– Батюшка-государь! – сказали они, упав на колени, – не взыщи за нашу грубую, мужицкую речь! Не вели нам головы сечь, по неведению согрешили!

Царь усмехнулся испугу слепых и поехал опять в поле продолжать охоту, а слепые с вожатым побрели по направлению Слободы.

Пока толпа опричников могла их видеть, они держались один за другого и беспрестанно спотыкались, но лишь только поворот дороги скрыл их из виду, младший слепой остановился, оглянулся во все стороны и сказал товарищу:

– А что, дядя Коршун, устал небось спотыкаться? Ведь пока дело-то недурно идет; что-то будет дале? Да чего ты так брови-то понасупил, дядя? Аль жаль тебе, что дело затеяли?

– Не то, – отвечал старый разбойник, – уж взялся идти, небось оглядываться не стану; да только вот сам не знаю, что со мной случилось; так тяжело на сердце, как отродясь еще не бывало, и о чем ни задумаю, все опять то же да то же на ум лезет!

– А что тебе лезет на ум?

– Слушай, атаман. Вот уж двадцать лет минуло с той поры, как тоска ко мне прикачнулась, привалилась, а никто ни на Волге, ни на Москве про то не знает; никому я ни слова не вымолвил; схоронил тоску в душе своей, да и ношу двадцать лет, словно жернов на шее. Пытался было раз говеть в великий пост, хотел попу все на духу рассказать, да молиться не смог – и говеть бросил. А вот теперь опять оно меня и душит и давит; кажется, вот как вымолвлю, так будет легче. Тебе-то сказать и не так тяжело, как попу: ты ведь и сам такой же, как я.

Глубокая грусть изображалась на лице Коршуна. Перстень слушал и молчал. Оба разбойника сели на краю дороги.

– Митька, – сказал Перстень вожатому, – садись-ка поодаль да гляди в оба; коли кого дозришь, махни нам; да смотри не забудь: ты глух и нем; слова не вырони!

– Добро, – сказал Митька, – нябось ня выроню!

– Типун тебе на язык, дурень этакий, нишкни! И с нами не говори. Привыкай молчать; не то как раз при ком-нибудь языком брякнешь, тогда и нас и тебя поминай как звали!

Митька отошел шагов на сто и лег на брюхо, уперев локти в землю, а подбородок в руки.

– Ведь добрый парень, – сказал Перстень, глядя ему вслед, – а глуп, хоть кол на голове теши. Пусти его только, разом проврется! Да нечего делать, лучше его нет; он, по крайней мере, не выдаст; постоит и за себя и за нас, коли, не дай бог, нам круто придется. Ну что, дядя, теперь никто нас не услышит: говори, какая у тебя кручина? Эх, не вовремя она тебя навестила!

Старый разбойник опустил кудрявую голову и провел ладонью по лбу. Хотелось ему говорить, да начать было трудно.

– Вишь, атаман, – сказал он, – довольно я людей перегубил на своем веку, что и говорить! Смолоду полюбилась красная рубашка! Бывало, купец ли заартачится, баба ли запищит, хвачу ножом в бок – и конец. Даже и теперь, коли б случилось кого отправить – рука не дрогнет! Да что тут! не тебя уверять стать; я чай, и ты довольно народу на тот свет спровадил; не в диковинку тебе, так ли?

– Ну, что ж с того? – отвечал Перстень с приметным неудовольствием.

– Да то, что ни ты, ни я, мы не бабы, не красные девицы; много у нас крови на душе; а ты мне вот что скажи, атаман: приходилось ли тебе так, что как вспомнишь о каком-нибудь своем деле, так тебя словно клещами за сердце схватит и холодом и жаром обдаст с ног до головы, и потом гложет, гложет, так что хоть бы на свет не родиться?

– Полно, дядя, о чем спрашивать вздумал, не такое теперь время.

– Вот, – продолжал Коршун, – я много уж и позабыл дел своих, одного не могу забыть. Тому будет полсорока годов, жили мы на Волге, ходили на девяти стругах; атаманом был у нас Данило Кот; о тебе еще и помину не было, меня уже знали в шайке и тогда уже величали Коршуном. Разбивали мы и суда богатые, и пристани грабили, а что, бывало, добудем, то всегда поровну делим, и никакого спору Данило Кот не терпел. Кажется, чего бы лучше? Житье привольное, всегда сыты, одеты. Бывало, как нарядимся в цветные кафтаны, как заломим шапки, да ударим в весла, да затащим удалую, так в деревнях и городах народ на берег и валит, на молодцов посмотреть, на соколов ясных полюбоваться! А мы себе гребем да поем, во всю глотку заливаемся, из пищалей на ветер постреливаем, красным девкам подмигиваем. А иной раз, как посядем с копьями да с рогатинами, так струги наши словно лесом поросли! Хорошо было житье, да подбил меня бес проклятый. Думаю себе раз: что ж? я ведь больше других работаю, а корысть идет мне со всеми ровная! И положил себе на мысль: пойти одному на промысел, зашибить добычи, да не отдавать в артель, а взять на себя одного. Оделся нищим, почитай как теперь, повесил на шею торбу, всунул засапожник за онучу, да и побрел себе по дороге к посадку, не проедет ли кто? Жду себе, жду: ни обозу, ни купца, никого не видать. Разобрала меня досада. Добро ж, говорю, не дает бог корысти, так теперь кто б ни прошел, будь он хоть отец родной, дочиста оберу! Только лишь подумал, идет по дороге баба убогая, несет что-то в лукошке, лукошко холстом обернуто. Лишь только поравнялась она со мной, я и выскочил из-за куста. Стой, говорю, баба! Давай лукошко! Она мне в ноги: что хочешь бери, а лукошко не тронь! Эге, думаю я, так у тебя, видно, казна там спрятана, да и ухватился рукой за лукошко. А баба голосить, ругать меня, кусать за руку. Я уж был больно сердит, что день даром пропал, а тут осерчал еще пуще. Бес толкнул меня под бок, я вытащил засапожник, да и всадил бабе в горло. Как только свалилась она, страх меня взял. Ударился было бежать, да одумался и воротился за лукошком. Думаю себе: уж убил бабу, так пусть же не даром! Взял лукошко, не раскрывая, да и пустился лесом. Отошел не более, как на песий брех, ноги стали подкашиваться, думаю себе: сяду, отдохну да посмотрю, много ли казны добыл? Развернул

лукошко, гляжу: ан там лежит малый ребенок, чуть живой, и еле дышит. «Ах ты бесенок! – подумал я, – так вот зачем баба не хотела лукошка отдавать! Так из-за тебя, проклятого, я грех на душу взял!»

Коршун хотел было продолжать, да замолчал и задумался.

– Что ж ты с ребенком сделал? – спросил Перстень.

– Что ж его было, нянчить, что ли? Что сделал? Вестимо что!

Старик опять замолчал.

– Атаман, – сказал он вдруг, – как подумаю об этом, так сердце и защежит. Вот особенно сегодня, как нарядился нищим, то так живо все припоминаю, как будто вчера было. Да не только то время, а не знаю с чего стало мне вдруг памятно и такое, о чем я давно уж не думал. Говорят, оно не к добру, когда ни с того ни с другого станешь вдруг вспоминать, что уж из памяти вышиб!..

Старик тяжело вздохнул.

Оба разбойника молчали. Вдруг свистнули над ними крылья, – и бурый коршун упал кувырком к ногам старика. В то же время кричит Адраган плавно нырнул в воздухе и пронесся мимо, не удостоив спуститься на свою жертву.

Митька махнул рукою. Вдали показались сокольники.

– Дядя! – сказал поспешно Перстень, – забудь прошлое; мы ведь теперь не разбойники, а слепые сказочники. Вон скачут царские люди, тотчас будут здесь. Живо, дядя, приосанься, закидай их прибаутками!

Старый разбойник покачал головою.

– Несдобровать мне, – сказал он, показывая на убитого коршуна. – Это меня срезал белый кричит. Вишь, и нет уж его. Убил, да и пропал!

Перстень пристально посмотрел на него и с досадою почесал затылок.

– Слушай, дядя, – сказал он, – кто тебя знает, что с тобою сегодня случилось! Только я тебя неволить не буду. Говорят, сердце вещун. Пожалуй, твое сердце и недаром чуёт беду. Оставайся, я один пойду в Слободу.

– Нет, – отвечал Коршун, – я не к тому вел речь. Уж если такая моя доля, чтобы в Слободе голову положить, так нечего оставаться. Видно, мне так на роду написано. А вот к чему я речь вел. Знаешь ли, атаман, на Волге село Богородицкое?

– Как не знать, знаю.

– А около того села, верстах в пяти, место, что зовут Попов Круг?

– И Попов Круг знаю.

– А на Поповом Кругу дуб старый, помнишь?

– И дуб помню; только нет уже того дуба, срубили его.

– Дуб-то срубили, да пень оставили.

– Так что ж с того?

– А вот что. Я-то уж никогда Волги-матушки не увижу, а ты, еще статья может, вернешься на родимую сторонку. Так когда будешь на Волге, ступай на Попов Круг. Отыщи пень старого дуба. Как отыщешь пень, сосчитай полдевяносто ступней на закат солнечный. Сосчитаешь ступни, начинай рыть землю в том месте. Там, – продолжал Коршун, понизив голос, – я в былое время закопал казну богатую. Довольно там лежит корабленников золотых, и червонцев, и рублей серебряных. Откроешь клад, все будет твое. Не взять мне с собою казны на тот свет. А как иной раз подумаешь, что будешь там ответ держать за все, что здесь делал, так в ночное время индо мороз по коже дерет! Ты бы, атаман, как не будет меня, велел по мне панихиду отслужить. Оно все вернее. Да не жалея денег на панихиду. Заплати хорошенько попу; пусть отслужит как следует, ничего не пропустит. А зовут меня, ты знаешь, Амеляном. Это так только люди Коршуном прозвали; а крестили ведь меня Амеляном; так пусть поп отслужит панихиду по Амеляне; а ты уж заплати ему хорошенько, не пожалей денег, атаман; я тебе казну оставляю богатую, на всю жизнь твою станет!

Коршуна прервали подскакавшие сокольники.

– Эй вы, убогие! – закричал один из них, – говорите, куда полетел кречет?

– И рад бы сказать, родимые, – отвечал Перстень, – да вот уж сорок годов глаза запорошило!

– Как так?

– Да пошел раз в горы, с камней лыки драть, вижу, дуб растет, в дупле жареные цыплята пищат. Я влез в дупло, съел цыплят, потолстел, вылезти не могу! Как тут быть? Сбегал домой за топором, обтесал дупло, да и вылез; только тесамши-то, видно, щепками глаза засорил; с тех пор ничего не вижу: иной раз щи хлебаю, ложку в ухо сую; чешется нос, а я скребу спину!

– Так это вы, – сказал, смеясь, сокольник, – те слепые, что с царем говорили! Бояре еще и теперь вам смеются. Ну, ребята, мы днем потешали батюшку-государя, а вам придется ночью тешить его царскую милость. Сказывают, хочет государь ваших сказок послушать!

– Дай бог здоровья его царской милости, – подхватил Коршун, внезапно переменяя приемы, – почему не послушать! Коли до ночи не свихнем языков, можем скрозь до утра рассказывать!

– Добро, добро, – сказали сокольники, – в другой раз побалываем с вами. Теперь едем кречета искать, товарища выручать. Не найдет Трифон

Адрагана, быть ему без головы; батюшка-царь не шутит!

Сокольники поскакали в поле. Перстень и Коршун опять уцепились за Митьку и побрели по дороге в Слободу.

Не дошли они до первого подворья, как увидели двух песенников, которые брянчали на балалайках и пели во все горло:

Как у нашего соседа  
Весела была беседа!

Когда разбойники с ними поравнялись, один из песенников, крепкий детина с павлиньим пером на шапке, нагнулся к Перстню.

– Уж дней пять твой князь в тюрьме! – сказал он шепотом, продолжая перебирать лады. – Я все разузнал. Завтра ему карачун. Сидит он в большой тюрьме, против Малютина дома. С которого конца петуха пускать?

– Вот с того! – отвечал Перстень, мигнув на сторону, противоположную тюрьме.

Рыжий песенник щелкнул всеми пальцами по животу балалайки и, отвернувшись от Перстня, будто и не с ним говорил, продолжал тонким голосом:

Как у нашего соседа  
Весела была беседа!

## ГЛАВА 21. Сказка

Иван Васильевич, утомленный охотою, удалился ранее обыкновенного в свою опочивальню.

Вскоре явился Малюта с тюремными ключами.

На вопрос царя Малюта ответил, что нового ничего не случилось, что Серебряный повинился в том, что стоял за Морозова на Москве, где убил семерых опричников и рассек Вяземскому голову.

– Но, – прибавил Малюта, – не хочет он виниться в умысле на твое царское здравие и на Морозова также показывать не хочет. После заутрени учиним ему пристрастный допрос, а коли он и с пытки и с огня не покажет на Морозова, то и ждать нечего, тогда можно и покончить с ним.

Иоанн не отвечал. Малюта хотел продолжать, но в опочивальню вошла старая мамка Онуфревна.

– Батюшка, – сказала она, – ты утром прислал сюда двух слепых: сказочники они, что ли; ждут здесь в сенях.

Царь вспомнил свою встречу и приказал позвать слепых.

– Да ты их, батюшка, знаешь ли? – спросила Онуфревна.

– А что?

– Да полно, слепые ли они?

– Как? – сказал Иоанн, и подозрение мигом им овладело.

– Послушай меня, государь, – продолжала мамка, – берегись этих сказочников; чуется мне, что они недоброе затеяли; берегись их, батюшка, послушай меня.

– Что знаешь ты про них? Говори! – сказал Иоанн.

– Не спрашивай меня, батюшка. Мое знание словами не сказывается; чуется мне, что они недобрые люди, а почему чуется, не спрашивай. Даром я никого еще не остерегала. Кабы послушалась меня покойная матушка твоя, она, может, и теперь бы здравствовала еще!

Малюта поглядел со страхом на мамку.

– Ты чего на меня смотришь? – сказала Онуфревна. – Ты только безвинных губишь, а лихого человека распознать, видно, не твое дело. Чутья-то у тебя на это не хватит, рыжий пес!

– Государь, – воскликнул Малюта, – дозвожь мне попытать этих людей. Я тотчас узнаю, кто они и от кого подосланы!

– Не нужно, – сказал Иоанн, – я их сам попытаю. Где они?

– Тут, батюшка, за дверью, – отвечала Онуфревна, – в сенях стоят.



– Подай мне, Малюта, кольчугу со стены; да ступай, будто домой, а когда войдут они, вернись в сени, притаись с ратниками за этою дверью. Лишь только я кликну, вбегайте и хватайте их. Онуфревна, подай сюда посох.

Царь вздел кольчугу, надел поверх нее черный стихарь, лег на постель и положил возле себя тот самый посох, или осён, которым незадолго перед тем пронзил ногу гонцу князя Курбского.

– Теперь пусть войдут! – сказал он.

Малюта положил ключи под царское изголовье и вышел вместе с мамкою. Иконные лампы слабо освещали избу. Царь с видом усталости лежал на одре.

– Войдите, убогие, – сказала мамка, – царь велел!

Перстень и Коршун вошли, осторожно передвигая ноги и щупая вокруг себя руками.

Одним быстрым взглядом Перстень обозрел избу и находившиеся в ней предметы.

Налево от двери была лежанка; в переднем углу стояла царская кровать; между лежанкой и кроватью было проделано в стене окно, которое никогда не затворялось ставнем, ибо царь любил, чтобы первые лучи солнца проникали в его опочивальню. Теперь сквозь окно это смотрела луна, и серебряный блеск ее играл на пестрых изразцах лежанки.

– Здравствуйте, слепые, муромские калашники, вертячие бобы! – сказал царь, пристально, но неприметно вглядываясь в черты разбойников.

– Много лет здравствовать твоей царской милости! – отвечали Перстень и Коршун, кланяясь земно. – Заступи, спаси и помилуй ты мати божия, что жалеешь ты нас, скудных, убогих людей, по земли ходящих, по воды бродящих, света божия не видящих! Сохрани тебя святой Петр и Павел, Иоанн Златоуст, Кузьма со Демьяном, хутынские чудотворцы и все святые угодники! Создай тебе господи, о чем ты молишь и просишь! Вечно бы тебе в золоте ходилось, вкусно елось и пилось, сладко спалось! А супостатам твоим вечно б икалось и голодалось; каждый бы день их дугою корчило, бараньим рогом корбило!

– Спасибо, спасибо, убогие! – сказал Иоанн, продолжая вглядываться в разбойников. – Что ж вы, давно, знать, ослепли?

– Смолоду, батюшка-государь, – отвечал Перстень, кланяясь и сгибая колени, – оба смолоду ослепли! И не припомним, когда солнышко божее видели!

– А кто же вас научил песни петь и сказки сказывать?

– Сам господь, батюшка, сам господь сподобил, еще в стародавние

времена!

– Как так? – спросил Иоанн.

– Старики наши рассказывают, – отвечал Перстень, – и гусяры о том поют. В стародавние то было времена, когда возносился Христос-бог на небо, расплакались бедные, убогие, слепые, хромые, вся, значит, нищая братия: куда ты, Христос-бог, полетаешь? На кого нас оставляешь? Кто будет нас кормить-поить? И сказал им Христос, царь небесный:

«Дам вам, говорит, гору золотую, реку медвяную, сады-винограды, яблони кудрявы; будете сыты да пьяны, будете обуты-одеты!» Тут возговорил Иван Богослов: «Ай же ты спас милосердый! Не давай им ни горы золотые, ни реки медвяные, ни садов-виноградов, ни яблонь кудрявых. Не сумеют они ими владети; наедут к ним сильные богатые, добро-то у них отымут. А ты дай им, Христос, царь небесный, дай-ко-се имя твое Христовое, дай-ко-се им те песни сладкие, сказаньица великие про стару старину да про божьих людей. Пойдут нищие по земли ходити, сказаньица великие говорити, всякий их приобует-приоденет, хлебом-солью напитают». И рече Христос, царь небесный: «Ин пусть будет по-твоему, Иване! Пусть же им будут песни сладкие, гусли звонкие, сказанья великие; а кто их напоит-накормит, от темных ночи оборонит, тому я дам в раю место; не заперты в рай тому двери!»

– Аминь! – сказал Иоанн. – Какие же вы знаете сказки?

– Всякие знаем, батюшка-царь, какие твоя милость послушать соизволит. Могу сказать тебе о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове, о семи Семионах, о змие Горынище, о гусях-самогудах, о Добрыне Никитиче, об Акундине...

– Что же, – перебил Иоанн, – разве ты один сказки сказываешь? А старик-то зачем с тобою пришел?

Перстень спохватился, что Коршун почти все время молчал, и чтобы вызвать его из неестественной для сказочника угрюмости, он вдруг переменял приемы и начал говорить прибаутками.

– Старик-то? – сказал он, наступая неприметно на ногу Коршуна. – Это, вишь, мой товарищ, Амелка Гудок; борода у него длинна, да ум короток; когда я речь веду скоромную, не постную, несусебе околесную, он мне поддакивает, потакает да присвистывает, похваляет да помалчивает. Так ли, дядя, белая борода, утиная поступь, куриные ножки; не сбиться бы нам с дорожки!

– Вестимо, так! – подхватил Коршун, опомнясь. – Наша чара полна зелена вина, а уж налил по край, так пей до дна! Вот как, дядя петушиный голосок, кротовое око; пошли ходить, заберемся далёко!

– Ай люли тарарах, пляшут козы на горах! – сказал Перстень, переминая ногами, – козы пляшут, мухи пашут, а у бабушки Ефросиньи в левом ухе звенит!..

– Ай люлюшеньки люли! – перебил Коршун, также переминая ногами, – ай люлюшеньки люли, сидит рак на мели; не горюет рак, а свистит в кулак; как прибудет вода, так пройдет беда!

– Эх, батюшка-государь, – закончил Перстень с низким поклоном, – не смотри на нас искоса; это не сказка, а только присказка!

– Добро! – сказал Иоанн, зевая, – люблю молодцов за обычай: начинайте сказку про Добрыню, убогие; авось я, слушая вас, сосну!

Перстень еще раз поклонился, откашлялся и начал:

– «Во гриднице княженецкой, у Владимира князя киевского, было пированье почестный стол, был пир про князей, бояр и могучих богатырей. А и был день к вечеру, а и был стол во полустоле, и слышалось всем за диво: затрубила труба ратная. Возговорил Владимир князь киевский, солнышко Святославьевич: „Гой еси вы, князья, бояре, сильны могучие богатыри! Пошлите опроведать двух могучих богатырей: кто смеловал стать перед Киевом? Кто смеловал трубить ко стольному князю Владимиру?“

Зашумели буйны молодцы посередь двора; зазвенели мечи булатные по крутым бедрам; застучали палицы железные у красна крыльца, закидали шапки разнорядь по поднебесью. Надевают могучи богатыри сбрую ратную, садятся на добрых коней, выезжают во чисто поле...»

– Погоди-ка! – сказал Иоанн, с намерением придать более правдоподобия своему желанию слушать рассказчика, – я эту сказку знаю. Расскажи лучше про Акундина!

– Про Акундина? – сказал Перстень с замешательством, вспомнив, что в той сказке величается опальный Новгород. – Про Акундина, батюшка-государь, сказка-то нехорошая, мужицкая; выдумали ту сказку глупые мужики новгородские; да я, батюшка-царь, как будто и забыл-то ее...

– Рассказывай, слепой! – сказал Иоанн строго, – рассказывай всю, как есть, и не смей пропустить ни единого слова!

И царь внутренно усмехнулся трудному положению, в которое он ставил рассказчика.

Перстень хотя досадовал на себя, что сам предложил эту сказку, но, не зная, до какой степени она уже известна Иоанну, решился, очертя голову, начать свой рассказ, ничего не выкидывая.

– «Как во старом было городе, – начал он, – в Новгороде, как во том ли во Новгороде, со посадской стороны, жил Акундин-молодец, а и тот ли

Акундин, молодой молодец, ни пива не варил, ни вина не курил, ни в торгу не торговал; а ходил он, Акундин, со повольницей, и гулял он, Акундин, по Волхву по реке на суденьшках. Садится он, Акундин, на суденьшко оснащенное, кладет весельца кленовые во замки дубовые, а сам садится на корму. Поплыло суденьшко по Волхв по реке, и прибыло суденьшко ко круту бережку. Как во ту пору по круту бережку идет калечище перехожее. Берет калечище Акундина за белы руки, ведет его, Акундина, на высок курган, а становивши его на высок курган, говорил такие речи: „Погляди-ка, молодой молодец, на город Ростиславль, на Оке-реке, а поглядевши, поведай, что деется в городе Ростиславле?“ Как глянул Акундин в город во Ростиславль, а там беда великая: исконные слуги молода князя рязанского, Глеба Олеговича, стоят посередь торга, хотят войной город отстоять, да силы не хватит. А по Оке-реке плывет чудовище невиданное, змей Тугарин. Длинною-то был тот змей Тугарин во триста сажень, хвостом бьет рать рязанскую, спиною валит круты берега, а сам все просит стару дань. В ту пору калечище берет Акундина за его белы руки, молвит таково слово: „Ты гой еси, добрый молодец, назовись по имени по изотчеству!“ На те ли речи спросные говорит Акундин: „Родом я из Новагорода, зовут меня Акундин Акундиныч“.

«Тебя-то, Акундин Акундиныч, я ждал ровно тридцать лет и три года; спознай своего дядюшку родимого Замятню Путятича; а и ведь мой-то брат, Акундин Путятич, был тебе родимый батюшка! А и вот тебе меч-кладенец твоего родимого батюшки, Акундина Путятича!» Не домолвивши речи вестные, стал Замятня Путятич кончатися, со белым светом расставатися; и, кончаяся, учал отповедь чинить: «А и гой ты еси, мое милое детище, Акундин Акундиныч! Как и будешь ты во славном во Новгороде, и ты ударь челом ему, Новугороду, и ты скажи, скажи ему, Новугороду: а и дай же то, боже, тебе ли, Новугороду, век вековать, твоим ли детушкам славы добывать! Как и быть ли тебе, Новугороду, во могучестве, а твоим детушкам во богатестве...»

– Довольно! – перебил с гневом царь, забывая в эту минуту, что цель его была только следить за рассказчиком. – Начинай другую сказку!

Перстень, как будто в испуге, согнул колени и поклонился до земли.

– Какую же сказку соизволишь, батюшка-государь? – спросил он с притворным, а может быть, и с настоящим страхом. – Не рассказать ли тебе о Бабе-яге? О Чуриле Пленковиче? О Иване Озере? Или не велишь ли твоей милости что-нибудь божественное рассказать?

Иоанн вспомнил, что он не должен запугивать слепых, а потому еще раз зевнул и спросил уже сонным голосом:

– А что же ты знаешь божественное, убогий?

– Об Алексее божьем человеке, батюшка, о Егории Храбром, об Иосифе Прекрасном или, пожалуй, о Голубиной книге...

– Ну, – сказал Иоанн, которого глаза, казалось, уже смыкались, – расскажи о Голубиной книге. Оно нам, грешным, и лучше будет на ночь что-нибудь божественное послушать!

Перстень вторично откашлялся, выпрямился и начал нараспев:

– «Как из тучи было из грозная, из грозная тучи страховитая, подымалась погода божия; во той ли во погоде божией выпадала с небес книга Голубиная. Ко той ли ко книге Голубиной соезжалось сорок царей и царевичей, сорок королей и королевичей, сорок князей со князевичам, сорок попов со поповичам, много бояр, люду ратного, люду ратного, разного, мелких христиан православных. Из них было пять царей набольших: был Исай-царь, Василей-царь, Костянтин-царь, Володимер-царь Володимерыч, был премудрый царь Давид Евсиевич.

Как проговорил Володимер-царь: «Кто из нас, братцы, горазд в грамоте? Прочел бы эту книгу Голубиную? Сказал бы нам про божий свет: Отчего началось солнце красное? Отчего начался млад светёл месяц? Отчего начались звезды частыя? Отчего начались зори светлыя? Отчего зачались ветры буйныя? Отчего зачались тучи грозныя? Отчего да взялись ночи темныя? Отчего у нас пошел мир-народ? Отчего у нас на земли цари пошли? Отчего зачались бояры-князья? Отчего пошли крестьяне православные?»

На то все цари приумолкнули. Им ответ держал премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич: «Я вам, братцы, про то скажу, про эту книгу Голубиную: эта книга не малая; сорока сажень долина ее, поперечина двадцати сажень; приподнять книгу, не поднять будет; на руцех держать, не сдержать будет; по строкам глядеть, все не выгледеть; по листам ходить, все не выходить, а читать книгу – ее некому, а писал книгу Богослов Иван, а читал книгу Исай-пророк, читал ее по три годы, прочел в книге только три листа; уж мне честь книгу – не прочесть, божию! Сама книга распечатывалась, сами листы расстилались, сами слова прочитались. Я скажу вам, государи, не выгледя, скажу вам, братцы, не по грамоте, не по грамоте, всё по памяти, про старое, про стародавнее, по-старому, по-писаному:

Началось у нас солнце красное от светлого лица божия; млад светёл месяц от грудей его; звезды частые от очей божиих; зори светлыя от риз его; буйны ветры-то – дыханье божее; тучи грозныя – думы божи; ночи темныя от опашня его! Мир-народ у нас от Адамия; от Адамовой головы

цари пошли; от мощей его князи со боярами; от колен крестьяне православные; от того ж начался и женский пол!

Ему все цари поклонились: «Спасибо, свет-сударь, премудрый царь, мудрейший царь, Давид Евсиевич! Ты еще, сударь, нам про то скажи, про то скажи, ты поведай нам:

Который царь над царями царь? Кая земля всем землям мати? Которо море всем морям мати? Котора река всем рекам мати? Кая гора всем горам мати? Который город всем городам мати?»

Здесь Перстень украдкою посмотрел на Ивана Васильевича, которого, казалось, все более клонило ко сну. Он время от времени, как будто с трудом, открывал глаза и опять закрывал их; но всякий раз незаметно бросал на рассказчика испытующий, пронизательный взгляд.

Перстень перемигнулся с Коршуном и продолжал:

– «Им ответ держал премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич: „Я вам, братцы, и про то скажу, про то скажу, вам поведаю: в Голубиной книге есть написано: у нас Белый царь будет над царями царь; он верует веру крещеную, крещеную, богомольную; он в мать божью богородицу и в трицу верует неразделимую. Ему орды все преклонились, все языци ему покорились; область его надо всей землей, над вселенною; всех выше его рука царская, благоверная, благочестивая; и все к царю Белому приклонятся, потому Белый царь над царями царь! Свято-Русь-земля всем землям мати; на ней строят церкви апостольские, богомольные, соборные. Окиян-море всем морям мати; выходила из него церковь соборная; что во той ли во церкви во соборная почивают мощи попа римского, попа римского Климентия; обошло то море окол всей земли; все реки к морю собегаются, все к окиян-морю приклонились. Ердань-река всем рекам мати; во славной матушке во Ердань-реке окрестился сам Иисус Христос, небесный царь. А Фавор-гора всем горам мати; как на славные на Фавор-горы преобразился на ней сам Исус Христос, показал славу ученикам своим. Ерусалим-город всем городам мати; что стоит тот город посреди земли, а в том городе церковь соборная; пребывает во церкви господень гроб, почивают в нем ризы самого Христа, фимиамы-ладаны рядом курятся, свечи горят неугасимые...“

Здесь Перстень опять взглянул на Иоанна. Глаза его были закрыты, дыхание ровно. Грозный, казалось, почивал.

Атаман тронул Коршуна локтем. Старик подался шага на два вперед. Перстень продолжал нараспев:

– «Ему все цари поклонились: „Спасибо, свет-сударь, премудрый царь, Давид Евсиевич! Ты еще, сударь, нам про то скажи: котора рыба всем

рыбам мать? Котора птица птицам есть мать? Который зверь над зверями зверь? Который камень всем камням отец? Которо древо деревьям всем мать? Кая трава всем травам мати?»

Им ответ держал премудрый царь: «Я еще вам, братцы, про то скажу: у нас Кит-рыба всем рыбам мать: на трех на китах земля стоит; Естрафиль-птица всем птицам мати; что живет та птица на синем море; когда птица вострепенется, все синё море всколебается, потопляет корабли гостиные, побивает суда поморские; а когда Естрафиль вострепещется, во втором часу после полунощи, запоют петухи по всей земли, осветится в те поры вся земля...»

Перстень покосился на Иоанна. Царь лежал с сомкнутыми глазами; рот его был раскрыт, как у спящего. В то же время, как будто в лад словам своим, Перстень увидел в окно, что дворцовая церковь и крыши ближних строений осветились дальним заревом.

Он тихонько толкнул Коршуна, который подался еще одним шагом ближе к Ивану Васильевичу.

– «У нас Индра-зверь, – продолжал Перстень, – над зверями зверь, и он ходит, зверь, по подземелью, яко солнышко по поднебесью; он копает рогом сыру мать-землю, выкопает ключи всё глубокие; он пускает реки, ручьявиночки, прочищает ручьи и проточины, дает людям питанийца, питанийца, обмыванийца. Алатырь-камень всем камням отец; на белом Алатыре на камени сам Исус Христос опочив держал, царь небесный беседовал со двенадесяти со апостолам, утверждал веру христианскую; утвердил он веру на камени, распушал он книги по всей земле. Кипарис-древо всем деревьям мати; из того ли из древа кипарисного был вырезан чуден поклонен крест; на тем на кресте, на животворящим, на распятье был сам Исус Христос, сам Исус Христос, сам небесный царь, промежду двух воров, двух разбойников. Плакун-трава всем травам мати. Когда Христос-бог на распятье был, тогда шла мати божия, богородица, ко своему сыну ко распятому; от очей ея слезы наземь капали, и от тех от слез, от пречистых, зародилася, вырастала мати плакун-трава; из того плакуна, из корени у нас режут на Руси чудны кресты, а их носят старцы иноки, мужие их носят благоверные».

Здесь Иван Васильевич глубоко вздохнул, но не открыл очей. Зарево пожара делалось ярче. Перстень стал опасаться, что тревога подымется прежде, чем они успеют достать ключи. Не решаясь сам тронуться с места, чтобы царь не заметил его движения по голосу, он указал Коршуну на пожар, потом на спящего Иоанна и продолжал:

– «Ему все цари поклонилися: „Спасибо, свет-сударь, премудрый царь,

мудрейший царь Давид Евсиевич! Ты горазд сказать по памяти, говоришь будто по грамоты!“ Тут возговорит Володимер-царь: „Ты еси, премудрый царь, Давид Евсиевич! Ты скажи еще, ты поведай мне: ночеса мне мало спалося, мало спалося, много сиделось: кабы два зверья сходилися, один белый зверь, другой серый зверь, промежду собой подиралися; кабы белый зверь одолеть хочет?“ Что ответ держал премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич: „Ах ты гой еси, Володимер-царь, Володимер Володимерыч! То не два зверья сходилися, промежду собой подиралися; и то было у нас на сырой земли, на сырой земли, на святой Руси; сходилися правда со кривдою; это белая зверь – то-то правда есть, а серая зверь – то-то кривда есть; правда кривду передалила, правда пошла к богу на небо, а кривда осталась на сырой земле; а кто станет жить у нас правдою, тот наследует царство небесное; а кто станет жить у нас кривдою, отрешен на муки на вечные...”

Здесь послышалось легкое храпение Иоанна. Коршун протянул руку к царскому изголовью, Перстень же придвинулся ближе к окну, но, чтобы внезапным молчанием не прервать сна Иоаннова, он продолжал рассказ свой тем же однообразным голосом:

– «Ему все цари поклонилися: „Спасибо, свет-сударь, премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич! Ты еще, сударь, нам про то скажи: каким грехам прощенье есть, а каким грехам нет прощения?“ Им ответ держал премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич: „Кабы всем грехам прощенье есть, трем грехам тяжкое покаяние: кто спознался с кумою крестовыя, кто бранит отца с матерью, кто...”

В это мгновение царь внезапно открыл глаза. Коршун отдернул руку, но уже было поздно: взор его встретился со взором Иоанна. Несколько времени оба неподвижно глядели друг на друга, как бы взаимно скованные обаятельною силой.

– Слепые! – сказал вдруг царь, быстро вскакивая, – третий грех: когда кто нарядится нищим и к царю в опочивальню войдет!

И он ударил острым посохом Коршуна в грудь. Разбойник схватился за посох, закачался и упал.

– Гей! – закричал царь, выдергивая острие из груди Коршуна.

Опричники вбежали, гремя оружием.

– Хватайте их обоих! – сказал Иоанн.

Как ярый пес, Малюта бросился на Перстня, но с необычайною ловкостью атаман ударил его кулаком под ложку, вышиб ногою оконницу и выскочил в сад.

– Оцепите сад! Ловите разбойника! – заревел Малюта, согнувшись от



боли и держась обеими руками за живот. Между тем опричники подняли Коршуна.

Иоанн в черном стихаре, из-под которого сверкала кольчуга, стоял с дрожащим посохом в руке, вперив грозные очи в раненого разбойника. Испуганные слуги держали зажженные свечи. Сквозь разбитое окно виден был пожар. Слобода приходила в движение, вдали гудел набатный колокол.

Коршун стоял, насупив брови, опустил глаза, поддерживаемый опричниками; кровь широкими пятнами пестрила его рубаху.

– Слепой! – сказал царь, – говори, кто ты и что умышлял надо мною?

– Нечего мне таить! – отвечал Коршун. – Я хотел добыть ключи от твоей казны, а над тобой ничего не умышлял!

– Кто подослал тебя? Кто твои товарищи?

Коршун бесстрашно взглянул на Иоанна.

– Надёжа, православный царь! Был я молод, певал я песню: «Не шуми, мати сыра-дуброва». В той ли песне царь спрашивает у добра молодца, с кем разбой держал? А молодец говорит: «Товарищей у меня было четверо: уж как первый мой товарищ черная ночь; а второй мой товарищ...»

– Будет! – прервал его Малюта, – посмотрим, что ты запоешь, как станут тебя с дыбов рвать, на козел подымать! Да кой прах! – продолжал он, глядя в Коршуна, – я где-то уже видал эту кудластую голову!

Коршун усмехнулся и отвесил поклон Малюте.

– Виделись мы, батюшка, Малюта Скурлатыч, виделись, коли припомнишь, на Поганой Луже...

– Хомяк! – перебил его Малюта, обернувшись к своему стремянному, – возьми этого старика, потолкуй с ним, попроси его рассказать, зачем приходил к его царской милости. Я сейчас сам в застенки приду!

– Пойдем, старина! – сказал Хомяк, ухватя Коршуна за ворот, – пойдем-ка вдвоем, потолкуем ладком!

– Постой! – сказал Иоанн. – Ты, Малюта, побереги этого старика: он не должен на пытке кончиться. Я придумаю ему казнь примерную, еще небывалую, неслыханную; такую казнь, что самого тебя удивлю, отец параклисиарх!

– Благодарю же царя, пес! – сказал Малюта Коршуну, толкая его, – доведется тебе, должно быть, пожить еще. Мы сею ночью тебе только суставы повывернем!

И вместе с Хомяком он вывел разбойника из опочивальни.

Между тем Перстень, пользуясь общим смятением, перелез через садовый частокол и прибежал на площадь, где находилась тюрьма. Площадь была пуста; весь народ повалил на пожар.

Пробираясь осторожно вдоль тюремной стены, Перстень споткнулся на что-то мягкое и, нагнувшись, ощупал убитого человека.

– Атаман! – шепнул, подходя к нему, тот самый рыжий песенник, который остановил его утром, – часового-то я зарезал! Давай проворней ключи, отопрем тюрьму, да и прощай; пойду на пожар грабить с ребятами! А где Коршун?

– В руках царя! – отвечал отрывисто Перстень.

– Все пропало! Сбирай ребят, да и тягу! Тише; кто это?

– Я! – отвечал Митька, отделяясь от стены.

– Убирайся, дурень! Уноси ноги! Все выбирайтесь из Слободы! Сбор у кривого дуба!

– А князь-то? – спросил Митька протяжно.

– Дурень! Слышишь, все пропало! Дедушку схватили, ключей не добыли!

– А нешто тюрьма на запоре?

– Как не на запоре? Кто отпер?

– А я!

– Что ты, болван? Говори толком.

– Что ж говорить? Прихожу, никого нет; часовой лежит, раскидавши ноги. Я говорю: дай, мол, испробую, крепка ль дверь? Понапер в нее плечиком; а она, как была, так с заклепами и соскочи с петель!

– Ай да дурень! – воскликнул радостно Перстень. – Вот, правду говорят: дураками свет стоит! Ах, дурак, дурак! Ах, губошлеп, губошлеп ты этакий!

И Перстень, схватив Митьку за виски, поцеловал его в обе щеки, причем Митька протянул, чмокая, и свои толстые губы, а потом хладнокровно утерся рукавом.

– Иди же за мной, такой-сякой сын, право! А ты, балалайка, здесь погоди. Коли что будет, свистни!

Перстень вошел в тюрьму. За ним ввалился и Митька.

За первую дверью были еще две другие двери, но те, как менее крепкие, еще легче подались от богатырского натиска Митьки.

– Князь! – сказал Перстень, входя в подземелье, – вставай!

Серебряный подумал, что пришли вести его на казнь.

– Ужели теперь утро? – спросил он, – или тебе, Малюта, до рассвета не терпится?

– Я не Малюта! – отвечал Перстень. – Я тот, кого ты от смерти спас. Вставай, князь! Время дорого. Вставай, я выведу тебя!

– Кто ты? – сказал Серебряный, – я не знаю твоего голоса!

– И немудрено, боярин; где тебе помнить меня! Только вставай! Нам некогда мешкать!

Серебряный не отвечал. Он подумал, что Перстень один из Малютиных палачей, и принял слова его за насмешку!

– Аль ты не веришь мне, князь? – продолжал атаман с досадою. – Вспомни Медведевку, вспомни Поганую Лужу: я Ванюха Перстень!

Запылала радость в груди Серебряного. Взыграло его сердце и забилося любовью к свободе и к жизни. Запестрели в его мыслях и леса, и поля, и новые славные битвы, и явился ему, как солнце, светлый образ Елены.

Уже он вспрянул с земли, уже готов был следовать за Перстнем, как вдруг вспомнил данную царю клятву, и кровь его отхлынула к сердцу.

– Не могу! – сказал он, – не могу идти за тобою. Я обещал царю не выходить из его воли и ожидать, где бы я ни был, суда его!

– Князь! – отвечал удивленный Перстень, – мне некогда толковать с тобою. Люди мои ждут; каждый миг может нам головы стоить; завтра тебе казнь, теперь еще время, вставай, ступай с нами!

– Не могу! – повторил мрачно Серебряный, – я целовал ему крест на моем слове!

– Боярин! – вскричал Перстень, и голос его изменился от гнева, – издеваешься ты, что ли, надо мною? Для тебя я зажег Слободу, для тебя погубил своего лучшего человека, для тебя, может быть, мы все наши головы положим, а ты хочешь остаться? Даром мы сюда, что ли, пришли? Скоморохи мы тебе, что ли, дались? Да я бы посмотрел, кто бы стал глумиться надо мной! Говори в последний раз, идешь али нет?

– Нет! – отвечал решительно Никита Романович и лег на сырую землю.

– Нет? – повторил, стиснув зубы, Перстень, – нет? Так не бывать же по-твоему! Митька, хватай его насильно! – И в тот же миг атаман бросился на князя и замотал ему рот кушаком.

– Теперь не заспоришь! – сказал он злобно.

Митька загреб Никиту Романовича в охапку и, как малого ребенка, вынес из тюрьмы.

– Живо! Идем! – сказал Перстень.

В одной улице попались им опричники.

– Кого несете? – спросили они.

– Слободского на пожаре бревном пришибло! – отвечал Перстень. – Несем в скудельницу!

При выходе из Слободы их остановил часовой. Они хотели пройти

мимо; часовой разинул рот крикнуть; Перстень хватил его кистенем, и он свалился, не пикнув.

Разбойники вынесли князя из Слободы без дальнейшего препятствия.

## ГЛАВА 22. Монастырь

Мы оставили Максима ненастной ночью, на выезде из Александровой слободы. Косматый Буян лаял и прыгал вокруг него и радовался, что удалось ему сорваться с цепи.

Максим, покидая родительский дом, не успел определить себе никакой цели. Он хотел только оторваться от ненавистной жизни царских любимцев, от их нечестивого веселья и ежедневных казней. Оставя за собою страшную Слободу, Максим вверился своей судьбе. Сначала он торопил коня, чтобы не догнали его отцовские холопы, если бы вздумалось Малюте послать за ним погоню. Но вскоре он повернул на проселочную дорогу и поехал шагом.

К утру гроза утихла. На востоке заалело, и Максим яснее стал различать предметы. По сторонам дороги росли кудрявые дубы; промеж них виднелись кусты орешника. Было свежо; дождевые капли бежали с деревьев и лениво хлопали по широким листьям. Вскоре мелкие птички запорхали и защebetали в зелени; дятел застучал в сухое дерево, и вершины дубов озолотились восходящим солнцем. Природа оживлялась все более; конь ступал бодрее. Раскинулась перед Максимом родная Русь; весело мог бы он дышать в ее вольном пространстве; но грусть легла ему на сердце, широкая русская грусть. Задумался он о покинутой матери, о своем одиночестве, обо многом, в чем и сам не отдавал себе отчета; задумался и затянул, в раздумье, протяжную песню...

Чудны душевные русские песни! Слова бывают ничтожны; они лишь предлог; не словами, а только звуками выражаются глубокие, необъятные чувства.

Так, глядя на зелень, на небо, на весь божий мир, Максим пел о горемычной своей доле, о золотой волюшке, о матери сырой дуброве. Он приказывал коню нести себя в чужедальнюю сторону, что без ветру сушит, без морозу знобит. Он поручал ветру отдать поклон матери. Он начинал с первого предмета, попадавшегося на глаза, и высказывал все, что приходило ему на ум; но голос говорил более слов, а если бы кто услышал эту песню, запала б она тому в душу и часто, в минуту грусти, приходила бы на память...

Наконец, когда тоска стала глубже забирать Максима, он подобрал поводья, поправил шапку, свистнул, крикнул и полетел во всю конскую прыть.

Вскоре забелели перед ним стены монастыря. Обитель была расположена по скату горы, поросшей дубами. Золотые главы и узорные кресты вырезывались на зелени дубов и на синеве неба.

Навстречу Максиму попался отряд монастырских служек в шишаках и кольчугах. Они ехали шагом и пели псалом: «Возлюблю тя, господи, крепосте моя». Услыша священные слова, Максим остановил коня, снял шапку и перекрестился.

Небольшая речка протекала под горою. Несколько мельниц вертели на ней свои колеса. На берегу паслись коровы пестрыми кучами.

Все вокруг монастыря дышало такою тишиною, что вооруженный объезд казался излишним. Даже птицы на дубах щебетали как будто вполголоса, ветер не шелестел в листьях, и только кузнечики, притаясь в траве, трещали без умолку. Трудно было подумать, чтобы недобрые люди могли возмутить это спокойствие.

«Вот где отдохну я! – подумал Максим. – За этими стенами проведу несколько дней, пока отец перестанет искать меня. Я на исповеди открою настоятелю свою душу, авось он даст мне на время убежище».

Максим не ошибся. Престарелый игумен, с длинною седою бородой, с кротким взглядом, в котором было совершенное неведение дел мирских, принял его ласково. Двое служек взяли под уздцы усталого коня. Третий вынес хлеба и молока для Буяна; все радушно хлопотали около Максима. Игумен предложил ему отобедать, но Максим захотел прежде всего исповедаться.

Старик взглянул на него испытующим взором, насколько позволяли его добродушные глаза, и, не говоря ни слова, повел его через обширный двор к низкой, одноглавой церкви. Они шли мимо могильных крестов и длинного ряда келий, обсаженных цветами. Попадавшиеся им навстречу братия кланялись молча. Надгробные плиты звенели от шагов Максима; высокая трава пробивалась между плитами и закрывала вполтину надписи, полные смирения; все напоминало о бренности жизни, все вызывало на молитву и созерцание. Церковь, к которой игумен вел Максима, стояла среди древних дубов, и столетние ветви их почти совсем закрывали узкие продольные окна, пропускавшие свет сквозь пыльную слюду, вставленную в мелкие свинцовые оконницы. Когда они вошли, их обдало прохладой и темнотою. Лишь сквозь одно окно, менее других заслоненное зеленью, косые столбы света падали на стенное изображение Страшного суда. Остальные части церкви казались от этого еще мрачнее; но кое-где отсвечивали ярким блеском серебряные яблоки паникадил, венцы на образах да шитые серебром кресты, тропари и кондаки на черном

бархате, покрывающем гробницы князей Воротынских, основателей монастыря. Позолота на прорезных травах иконостаса походила местами на уголья, тлеющие под золою и готовые вспыхнуть. Пахло сыростью и ладаном. Мало-помалу глаз Максима стал привыкать к полумраку и различать другие подробности храма: над царскими дверьми виден был спаситель в силах, с херувимами и серафимами, а над ним шестнадцать владычных праздников. Большой местный образ Иоанна Предтечи представлял его крылатым и держащим на блюде отсеченную главу свою. На боковых дверях были написаны грубо и неискусно притча о блудном сыне, прение смерти и живота да исход души праведного и грешного. Мрачные эти картины глубоко подействовали на Максима; все понятия о смирении духа, о безусловной покорности родительской власти, все мысли, в которых он был воспитан, оживились в нем снова. Он усомнился, прав ли был, что уехал от отца против его воли? Но совесть отвечала ему, что он прав; а между тем она не была спокойна. Картина Страшного суда потрясала его воображение. Когда тень дубовых листьев, колеблемых ветром снаружи окна, трепетала на стене подвижною сеткой, ему казалось, что грешники и диаволы, писанные в человеческий рост, дышат и движутся...

Благоговейный ужас проник его сердце. Он пал ниц перед игуменом.

– Отец мой, – сказал он, – должно быть, я великий грешник!

– Молись, – отвечал кротко старик, – велико милосердие божие; много поможет тебе раскаяние, сын мой!

Максим собрался с силами.

– Тяжело мое преступление, – начал он дрожащим голосом. – Отец мой, слушай! Страшно мне вымолвить: оскудела моя любовь к царю, сердце мое от него отвратилось!

Игумен с удивлением взглянул на Максима,

– Не отвергай меня, отец мой! – продолжал Максим, – выслушай меня! Долго боролся я сам с собою, долго молился пред святыми иконами. Искал я в своем сердце любви к царю – и не обрел ее!

– Сын мой! – сказал игумен, глядя с участием на Максима, – должно быть, сатанинское наваждение помрачило твой рассудок; ты клеветешь на себя. Того быть не может, чтобы ты возненавидел царя. Много тяжких преступников исповедовал я в этом храме: были и церковные тати, и смертные убийцы, а не бывало такого, кто повинился бы в нелюбви к государю!

Максим побледнел.

– Стало, я преступнее церковного татя и смертного убийцы! –

воскликнул он. – Отец мой, что мне делать? Научи, вразуми меня, душа моя делится надвое!

Старик смотрел на исповедника и все более дивился.

Правильное лицо Максима не являло ни одной порочной или преступной черты. То было скромное лицо, полное добродушия и отваги, одно из тех русских лиц, которые еще ныне встречаются между Москвой и Волгой, в странах, отдаленных от больших дорог, куда не проникло городское влияние.

– Сын мой, – продолжал игумен, – я тебе не верю; ты клеветешь на себя. Не верю, чтобы сердце твое отвратилось от царя. Этого быть не может. Подумай сам: царь нам более чем отец, а пятая заповедь велит чтить отца. Скажи мне, сын мой, ведь ты следуешь заповеди?

Максим молчал.

– Сын мой, ты чтишь отца своего?

– Нет! – произнес Максим едва внятно.

– Нет? – повторил игумен и, отступив назад, осенился крестным знаменем.

– Ты не любишь царя? Ты не чтишь отца? Кто же ты таков?

– Я... – сказал молодой опричник, – я Максим Скуратов, сын Скуратова-Бельского!

– Сын Малюты?

– Да! – сказал Максим и зарыдал.

Игумен не отвечал. Он горестно стоял перед Максимом. Неподвижно смотрели на них мрачные лики угодников. Грешники на картине Страшного суда жалобно подымали руки к небу, но все молчало. Спокойствие церкви прерывали одни рыдания Максима, щебетанье ласточек под сводами да изредка полугромкое слово среди тихой молитвы, которую читал про себя игумен.

– Сын мой, – сказал наконец старик, – поведай мне все по ряду, ничего не утай от меня: как вошла в тебя нелюбовь к государю?

Максим рассказал о жизни своей в Слободе, о последнем разговоре с отцом и о ночном своем отъезде.

Он говорил медленно, с расстановкой, и часто собирался с мыслями, дабы ничего не забыть и ничего не утаить от духовного отца своего.

Окончив рассказ, он опустил глаза и долго не смел взглянуть на игумена, ожидая своего приговора.

– Все ли ты поведал мне? – сказал игумен. – Не тяготит ли еще что-нибудь душу твою? Не помыслил ли ты чего на царя? Не задумал ли ты чего над святою Русью?



Глаза Максима заблистали.

– Отец мой, скорей дам отсечь себе голову, чем допущу ее замыслить что-нибудь против родины! Грешен я в нелюбви к государю, но не грешен в измене!

Игумен накрыл его эпитрахилью.

– Очищается раб божий Максим! – сказал он, – отпускаются ему грехи его вольные и невольные!

Тихая радость проникла в душу Максима.

– Сын мой, – сказал игумен, – твоя исповедь тебя очистила. Святая церковь не поставляет тебе в вину, что ты бросил Слободу. Бежать от соблазна волен и должен всякий. Но бойся прельститься на лесть врага рода человеческого. Бойся примера Курбского, который из высокого русского боярина учинился ныне сосуд дьяволу! Премилостивый бог, – продолжал со вздохом старик, – за великие грехи наши попустил ныне быть времени трудному. Не нам суемудрием человеческим судить о его неисповедимом промысле. Когда господь наводит на нас глады и телесные скорби, что нам остается, как не молиться и покоряться его святой воле? Так и теперь: настал над нами царь немилостивый, грозный. Не ведаем, за что он нас казнит и губит; ведаем только, что он послан от бога, и держим поклонную голову не пред Иваном Васильевичем, а перед волею пославшего его. Вспомним пророческое слово: «Аще кая земля оправдится перед богом, поставляет им царя и судью праведна и всякое подает благодеяние; аще же которая земля прегрешит пред богом, и поставляет царя и судей не праведна, и наводит на тое землю вся злая!» Останься у нас, сын мой; поживи с нами. Когда придет тебе пора ехать, я вместе с братиею буду молиться, дабы, где ты ни пойдешь, бог везде исправил путь твой! А теперь, – продолжал добродушно игумен, снимая с себя эпитрахиль, – теперь пойдем к трапезе. После духовной пищи не отвергнем телесной. Есть у нас изрядные щуки, есть и караси; отведай нашего творогу, выпей с нами меду черемхового во здравие государя и высокопреосвященного владыки!

И в дружеском разговоре старик повел Максима к трапезе.

## ГЛАВА 23. Дорога

Тихо и однообразно протекала монастырская жизнь.

В свободное время монахи собирали травы и составляли целебные зелья. Другие занимались живописью, вырезывали из кипариса кресты иль иконы, красили и золотили деревянные чаши.

Максим полюбил добрых иноков. Он не замечал, как текло время. Но прошла неделя, и он решился ехать. Еще в Слободе слышал Максим о новых набегах татар на рязанские земли и давно уже хотел вместе с рязанцами испытать над врагами ратной удачи. Когда он поведал о том игумену, старик опечалился.

– Куда тебе ехать, сын мой? – сказал он. – Мы все тебя любим, все к тебе привыкли. Кто знает, может, и тебя посетит благодать божия, и ты навсегда останешься с нами! Послушай, Максим, не уезжай от нас!

– Не могу, отец мой! Давно уже судьба зовет меня в дальнюю сторону. Давно слышу звон татарского лука, а иной раз как задумаюсь, то будто стрела просвистит над ушами. На этот звон, на этот свист меня тянет и манит!

И не стал игумен долее удерживать Максима, отслужил ему напутный молебен, благословил его, и грустно простилась с ним братия.

И снова очутился Максим на коне, среди зеленого леса. Как прежде, Буян прыгал вокруг коня и весело смотрел на Максима. Вдруг он залаял и побежал вперед. Максим уже схватился за саблю в ожидании недоброй встречи, как из-за поворота показался всадник в желтом кафтане с черным двоеглавым орлом на груди.

Всадник ехал рысью, весело посвистывал и держал на пестрой рукавице белого кречета в кlobучке и колокольцах.

Максим узнал одного из царских сокольников.

– Трифон! – вскричал он.

– Максим Григорьич! – отвечал весело сокольник, – доброго здоровья! Как твоя милость здравствует? Так вот где ты, Максим Григорьич! А мы в Слободе думали, что ты и невесть куда пропал! Ну ж как батюшка-то твой осерчал! Упаси господи! Смотреть было страшно! Да еще многое рассказывают про твоего батюшку, про царевича да про князя Серебряного. Не знаешь, чему и верить. Ну, слава богу, добро, что ты сыскался, Максим Григорьич! Обрадуется же твоя матушка!

Максим досадовал на встречу с сокольником. Но Трифон был добрый

малый и при случае умел молчать. Максим спросил его, давно ли он из Слободы?

– Да уже будет с неделю, как Адраган с поля улетел! – отвечал сокольник, показывая своего кречета. – Да ведь ты, пожалуй, и не знаешь, Максим Григорьич! Ну уж набрался я было страху, как царь на меня раскручинился! Да сжалился надо мной милосердый бог и святой мученик Трифон! Проявил надо мною свое чудо! – Сокольник снял шапку и перекрестился. – Вишь, Максим Григорьич; выехал государь будет тому с неделю, на птичью потеху. Напускал Адрагана раза два; как на беду, третий-то раз дурь нашла на Адрагана. Стал он бить соколов, сбил Смышляя и Кружка, да и давай тягу! Не успел бы ты десяти просчитать, как он у тебя и с глаз долой. Я было скакать за ним, да куды! Пропал, будто и не бывало. Вот доложил сокольников царю, что пропал Адраган. Царь велел меня позвать, да и говорит, что ты-де, Тришка, мне головой за него отвечаешь; достанешь – пожалую тебя, не достанешь – голову долой. Как быть! Батюшка-царь ведь не шутит! Поехал я искать Адрагана; шесть ден промучился; стало мне уж вокруг шеи неловко; думаю, придется проститься с головой. Стал я плакать; плакал, плакал, да с горя и заснул в лесу. Лишь только заснул, явилось мне, сонному, видение: сияние разлилось меж деревьев, и звон пошел по лесу. И, слыша тот звон, я, сонный, сам себе говорю: то звонят Адрагановы колокольцы. Гляжу, передо мной сидит на белом коне, весь облитый светом, молодой ратник и держит на руке Адрагана: «Трифоне! – сказал ратник, – не здесь ищи Адрагана. Встань, ступай к Москве, к Лазареву урочищу. Там стоит сосна, на той сосне сидит Адраган». Проснулся я, и сам не знаю с чего, стало мне попятно, что ратник был святой мученик Трифон. Вскочил я на коня и поскакал к Москве. Что ж, Максим Григорьич, согласишь ли? как приехал на то урочище, вижу: в самом деле сосна, и на ней сидит мой Адраган, точь-в-точь как говорил святой!

Голос сокольника дрожал, и крупные слезы катились из глаз его.

– Максим Григорьич! – прибавил он, утирая слезы, – теперь хоть все животы свои продам без остатку, хоть сам в вековую кабалу пойду, а построю часовню святому угоднику! На том самом месте построю, где нашел Адрагана. И образ велю на стене написать точь-в-точь как явился мне святой: на белом коне, высоко подняв руку, а на ней белый кречет. Заповедую и детям и внукам славить его, служить ему молебны и ставить писанные свечи, что не захотел он моей гибели, спас от плахи раба своего! Вишь, – продолжал сокольник, глядя на кречета, – вот он, Адраган, цел-целехонек! Дай-ка я сниму с тебя клобучок! Чего кричишь? Небось

полетать хочется! Нет, брат, погоди! Довольно, налетался, не пущу!

И Трифон дразнил кречета пальцем.

– Вишь, злобный какой! Так и хватает! А кричит-то как! Я чай, за версту слышно!

Рассказ сокольника запал в душу Максима.

– Возьми ж и мое приношение! – сказал он, бросая горсть золотых в шапку Трифона. – Вот все мои деньги; они мне не нужны, а тебе еще много придется собирать на часовню.

– Да наградит тебя бог, Максим Григорьич! С твоими деньгами уж не часовню, а целую церковь выстрою! Как приду домой, в Слободу, отслужу молебен и выну просвиру во здравие твое! Вечно буду твоим холопом, Максим Григорьич! Что хочешь приказывай!

– Слушай, Трифон! Сослужи мне службу нетрудную: как приедешь в Слободу, никому не заикнись, что меня встретил; а дня через три ступай к матушке, скажи ей, да только ей одной, чтобы никто не слышал, скажи, что сын-де твой, дал бог, здоров, бьет тебе челом.

– Только-то, Максим Григорьич?

– Еще, слушай, Трифон, я еду в далекий путь. Может, не скоро вернусь. Так, коли тебе не в труд, навещайся от поры до поры к матери, да говори ей каждый раз: я-де, говори, слышал от людей, что сын твой, помощью божией, здоров, а ты-де о нем не кручинься! А буде матушка спросит: от каких людей слышал? и ты ей говори: слышал-де от московских людей, а им-де другие люди сказывали, а какие люди, того не говори, чтоб и концов не нашли, а только бы ведала матушка, что я здравствую.

– Так ты, Максим Григорьич, и вправду не вернешься в Слободу?

– Вернусь ли, нет ли, про то бог знает; ты же никому не сказывай, что меня встретил.

– Уж положишься на меня, Максим Григорьич, не скажу никому! Только коли ты едешь в дальний путь, так я не возьму твоих денег. Меня бог накажет.

– Да на что мне деньги? Мы не в басурманской земле!

– Воля твоя, Максим Григорьич, а мне взять не можно. Добро бы ты ехал домой. А то, что ж я тебя оберу на дороге, как станишник какой! Воля твоя, хоть зарежь, не возьму!

Максим пожал плечами и вынул из шапки Трифона несколько золотых.

– Коли ты не берешь, – сказал он, – авось кто другой возьмет, а мне их не надо.

Он простился с сокольником и поехал далее.

Уже солнце начинало заходить. Длинные тени деревьев становились длиннее и застилали поляны. Подле Максима ехала его собственная тень, словно темный великан. Она то бежала по траве, то, когда лес спирал дорогу, вползала на кусты и деревья. Буян казался на тени огромным баснословным зверем. Мало-помалу и Буян, и конь, и Максим исчезли и с травы и с деревьев; наступили сумерки; кое-где забелел туман; вечерние жуки поднялись с земли и, жужжа, стали чертить воздух. Месяц показался из-за лесу; там и сям по темнеющему небу зажглись звезды; вдали засеребрилось необозримое поле.

Родина ты моя, родина! Случалось и мне в позднюю пору проезжать по твоим пустыням! Ровно ступал конь, отдыхая от слепней и дневного жару; теплый ветер разносил запах цветов и свежего сена, и так было мне сладко, и так было мне грустно, и так думалось о прошедшем, и так мечталось о будущем. Хорошо, хорошо ехать вечером по безлюдным местам, то лесом, то нивами, бросить поводья и задуматься, глядя на звезды!

Уже с добрый час ехал Максим, как вдруг Буян поднял морду на ветер и замахал хвостом. Послышался запах дыма. Максим вспомнил о ночлеге и понудил коня. Вскоре увидел он покачнувшуюся на сторону избу. Трубы на ней не было; дым выходил прямо из крыши. В низеньком окне светился огонь. Внутри слышался однообразный напев. Максим подъехал к окну. Он увидел всю внутренность бедного хозяйства. Пылающая лучина освещала домашнюю утварь; все было дрянно и ветхо. В потолочине торчал наискось гибкий шест, и на конце его висела люлька. Женщина лет тридцати, бледная, хворающая, качала люльку и потихоньку пела. Подле нее сидел, согнувшись, мужичок с реденькою бородкой и плел лапти. Двое детей ползали у ног их.

Максиму показалось, что женщина в песни поминает его отца. Сначала он подумал, что ослышался, но вскоре ясно поразило его имя Малюты Скуратова. Полный удивления, он стал прислушиваться.

– Спи, усни, мое дитяtko! – пела женщина.

Спи, усни, мое дитяtko,  
Покуль гроза пройдет,  
Покуль беда минет!  
Баю-баюшки-баю,  
Баю, мое дитяtko!  
Скоро минет беда наносная,  
Скоро царь велит отсечь голову

Злому псу Малюте Скурлатову!  
Баю-баюшки-баю,  
Баю, мое дитятко!

Вся кровь Максима бросилась ему в лицо. Он слез с коня и привязал его к плетню.

Голос продолжал:

Как и он ли, злой пес Малюта,  
Задушил святого старца,  
Святого старца Филиппа!  
Баю-баюшки-баю,  
Баю, мое дитятко!

Максим не выдержал и толкнул дверь ногою. При виде богатой одежды и золотой сабли опричника хозяева оробели.

– Кто вы? – спросил Максим.

– Батюшка! – отвечал мужичок, кланяясь и заикаясь от страха, – меня-то, не взыщи, меня зовут Федотом, а хозяйку-то, не взыщи, батюшка, хозяйку зовут Марьею!

– Чем вы живете, добрые люди?

– Лыки дерем, родимый, лапти плетем да решета делаем. Купцы проедут и купят.

– А, знать, мало проезжают?

– Малость, батюшка, совсем малость! Иной раз, придется, и есть нечего. Того и смотри, с голоду али с наготы помрешь. А лошадки-то нет у нас товар в город отвезти. Другой год волки съели.

Максим поглядел с участием на мужика и его хозяйку и высыпал свои червонцы на стол.

– Бог с вами, бедные люди! – сказал он и схватился за дверь, чтобы выйти.

Хозяева повалились ему в ноги.

– Батюшка, родимый, кто ты? Поведай нам, кто ты? За кого нам богу молиться?

– Молитесь не за меня, за Малюту Скурлатова. Да скажите, далеко ль до Рязанской дороги?

– Да это она и есть, сокол ты наш, она-то и есть, Рязанская-то. Мы на

самом кресте живем. Вот прямо пойдет Муромская, а налево Владимирская, а сюда вправо на Рязань! Да не ездите теперь, родимый ты наш, не ездите теперь, не такая пора; больно стали шалить на дороге. Вот вчера целый обоз с вином ограбили. А теперь еще, говорят, татары опять проявились. Переночуй у нас, батюшка ты наш, отец ты наш, сокол ты наш, сохрани бог, долго ль до беды!

Но Максиму не хотелось остаться в избе, где недавно еще проклинали отца его. Он уехал искать другого ночлега.

– Батюшка, – кричали ему вслед хозяева, – вернись, родимый, послушай нашего слова! Несдобровать тебе ночью на этой дороге!

Но Максим не послушался и поехал далее.

Не много верст проехал он, как вдруг Буян бросился к темному кусту и стал лаять так зло, так упорно, как будто чуял скрытого врага.

Тщетно отсвистывал его Максим. Буян бросался на куст, возвращался весь оцетиненный и снова рвался вперед.

Наскучив отзывать его, Максим выхватил саблю и поскакал прямо на куст. Несколько человек с поднятыми дубинами выскочили к нему навстречу, и грубый голос крикнул:

– Долой с коня!

– Вот тебе! – сказал Максим, отвечивая удар тому, который был ближе.

Разбойник зашатался.

– Это тебе не в почет! – продолжал Максим и хотел отвесить ему второй удар; но сабля встретила плашмя дубину другого разбойника и разлетелась наполю.

– Эге, посмотри-ка на его сбрую! Да это опричник! Хватай его живьем! – закричал грубый голос.

– И впрямь опричник! – завизжал другой, – вот потешимся над ним с ребятами!

– Ай да Хлопко! уж ты и рад тешиться!

И в тот же миг все вместе навалились на Максима и стащили его с коня.

## ГЛАВА 24. Бунт станичников

Версты полторы от места, где совершилось нападение на Максима, толпы вооруженных людей сидели вокруг винных бочек с выбитыми днами. Чарки и берестовые черпала ходили из рук в руки. Пылающие костры освещали резкие черты, всклокоченные бороды и разнообразные одежды. Были тут знакомые нам лица: и Андрюшка, и Васька, и рыжий песенник; но не было старого Коршуна. Часто поминали его разбойники, хлебая из черпал и осушая чарки.

– Эх, – говорил один, – что-то с нашим дедушкой теперь!

– Вестимо что! – отвечал другой, – рвут его с дыбов, а может, на виске потряхивают.

– А ведь не выдаст старый черт; я чай, словечка не выронит!

– Вестимо, не выронит, не таковский; этого хоть на клочья разорви, не выдаст!

– А жаль седой бороды! Ну да и атаман-то хорош! Сам небось цел, а старика-то выдал!

– Да что он за атаман! Разве это атаман, чтобы своих даром губить из-за какого-то князя!

– Да вишь ты, они с князем-то в дружбе. И теперь, вишь, в одном курене сидят. Ты про князя не говори, неравно, атаман услышит, сохрани бог!

– А что ж, коль услышит! Я ему в глаза скажу, что он не атаман. Вот Коршун, так настоящий атаман! Небось был у Перстня как бельмо на глазу, так вот его нарочно и выдал!

– А что, ребята, ведь, может, и в самом деле он нарочно выдал Коршуна!

Глухой ропот пробежал меж разбойников.

– Нарочно, нарочно выдал! – сказали многие.

– Да что это за князь? – спросил один. – Зачем его держат? Выкупа за него ждет атаман, что ли?

– Нет, не выкупа! – отвечал рыжий песенник. – Князя, вишь, царь обидел, хотел казнить его; так князь-то от царя и ушел к нам; говорит: я вас, ребяташки, сам на Слободу поведу; мне, говорит, ведомо, где казна лежит. Всех, говорит, опричников перережем, а казною поделимся!

– Вот как! Так что ж он не ведет нас? Уж третьи сутки здесь даром стоим!



- Оттого не ведет, что атаман у нас баба!
- Нет, этого не говори, Перстень не баба!
- А коли не баба, так и хуже того. Стало быть, он нас морочит!
- Стало, – сказал кто-то, – он хочет царскую казну на себя одного взять, а нам чтоб понюхать не досталось!
- Да, да, Перстень продать нас хочет, как Коршуна продал!
- Да не на таковских напал!
- А старика-то выручить не хочет!
- Да что он нам! Мы и без него дедушку выручим!
- И без него казну возьмем; пусть князь один ведет нас!
- Теперь-то и самая пора: царь, слышно, на богомолье; в Слободе и половины опричников не осталось!
- Зажжем опять Слободу!
- Перережем всех слободских!
- Долой Перстня! Пусть князь ведет нас!
- Пусть князь ведет! Пусть князь ведет! – слышалось отовсюду.

Подобно грому прокатились слова от толпы до толпы, пронесли до самых отдаленных костров, и все поднялось и закипело, и все обступили курень, где Серебряный сидел в жарком разговоре с Перстнем.

– Воля твоя, князь, – говорил атаман, – сердись не сердись, а пустить тебя не пущу! Не для того я тебя из тюрьмы вызволил, чтоб ты опять голову на плаху понес!

– В голове своей я один волен! – отвечал князь с досадою. – Незачем было меня из тюрьмы вызволять, коли я теперь в неволе сижу!

– Эх, князь, велико дело время. Царь может одуматься, царь может преставиться; мало ли что может случиться; а минует беда, ступай себе с богом на все четыре стороны! Что ж делать, – прибавил он, видя возрастающую досаду Серебряного, – должно быть, тебе на роду написано пожить еще на белом свете. Ты норовом крут, Никита Романыч, да и я крепко держусь своей мысли; видно, уж нашла коса на камень, князь!

В это мгновение голоса разбойников раздались у самого куреня.

- В Слободу, в Слободу! – кричали пьяные удалыцы.
- Пустим красного гуся в Слободу!
- Пустим целое стадо гусей!
- Выручим Коршуна!
- Выручим дедушку!
- Выкатим бочки из подвалов!
- Выгребем золото!
- Вырежем опричнину!

- Вырежем всю Слободу!
- Где князь? Пусть ведет нас!
- Пусть ведет князь!
- А не хочет, так на осину его!
- На осину! На осину!
- Перстня туда же!
- На осину и Перстня!

Перстень вскочил с места.

– Так вот что они затевают! – сказал он. – А я уж давно прислушиваюсь, что они там голосят. Вишь, как расходились, вражьи дети! Теперь их сам черт не уймет! Ну, князь, нечего делать, вышло по-твоему; не держу тебя доле: вольному воля, ходячему путь! Выйди к ним, скажи, что ведешь их на Слободу!

Серебряный вспыхнул.

– Чтоб я повел вас на Слободу? – сказал он. – Да скорей вы меня на ключья разорвете!

– Эх, князь, притворись хоть для виду. Народ, ты видишь, нетрезвый, завтра образумятся!

– Князь! – кричали голоса, – тебя зовут, выходи!

– Выйди, князь! – повторил Перстень, – ввалятся в курень, хуже будет!

– Добро ж! – сказал князь, выходя из куреня, – посмотрим, как они меня заставят вести их на Слободу!

– Ага! – закричали разбойники, – вылез!

– Веди на Слободу!

– Атаманствуй над нами, не то тебе петлю на шею!

– Так, так! – ревели голоса.

– Бьем тебе челом! – кричали другие, – будь нам атаманом, не то повесим!

– Ей-богу, повесим!

Перстень, зная горячий нрав Серебряного, поспешил также выйти.

– Что вы, братцы, – сказал он, – белены, что ль, объелись? Чего вы горла-то дерете? Поведет вас князь, куда хотите; поведет чем свет; а теперь дайте выспаться его милости, да и сами ложитесь; уже вволю повеселились!

– Да ты что нам указываешь! – захрипел один, – разве ты нам атаман!

– Слышь, братцы, – закричали другие, – он не хочет сдать атаманства! Так на осину его! На осину, на осину!

Перстень окинул взором всю толпу и везде встретил враждебные лица.

– Ах вы дураки, дураки! – сказал он. – Да разве я держусь вашего

атаманства? Поставьте над собой кого знаете, а я и сам не хочу; наплевать мне на вас.

– Хорошо! – закричал кто-то.

– Красно говорит! – прибавил другой.

– Наплевать мне на вас! – продолжал Перстень, – мало, что ли, таких, как вы? Эка честь над вами атаманствовать! Да захочу, пойду на Волгу, не таких наберу!

– Нет, брат, дудки. От себя не пустим; еще, пожалуй, продашь, как Коршуна продал!

– Не пустим, не пустим; оставайся с нами; слушайся нового атамана! Дикие крики заглушили голос Перстня.

Разбойник огромного роста подошел к Серебряному с чаркой в руке.

– Батка! – сказал он, ударив его широкою лапой по плечу, – пробазарил ты свою голову, стал нашим братом; так выпьем вместе да поцелуемся!

Бог знает, что бы сделал Серебряный. Пожалуй, вышиб бы он чарку из рук разбойника и разорвала б его на клочья пьяная толпа; но, к счастью, новые крики отвлекли его внимание.

– Смотрите, смотрите! – раздалось в толпе, – опричника поймали! Опричника ведут! Смотрите, смотрите!

Из глубины леса шло несколько людей в изодранных одеждах, с дубинами в руках. Они вели с собой связанного Максима. Разбойник, которого он ударил саблей, ехал на Максимовом коне. Впереди шел Хлопко, присвистывая и приплясывая. Раненый Буян тащился сзади.

– Гей, братцы, – пел Хлопко, щелкая пальцами.

Гости съехались ко вдовушкам во дворики,  
Заходили по головушкам топорики!..

И Хлопко опрокидывался навзничь, бил в ладоши и кружился, словно кубарь.

Глядя на него, рыжий песенник не вытерпел, схватил балалайку и пустился вприсядку помогать товарищу.

Оба стали наперерыв семенить ногами и кривляться вокруг Максима.

– Вишь, дьяволы! – сказал Перстень Серебряному. – Ведь они не просто убьют опричника, а замучат медленною смертью; я знаю обоих: уж коли эти пустились, значит, плохо дело; несдобровать молодцу!

В самом деле, поимка опричника была для всей шайки настоящим праздником. Они собрались выместить на Максиме все, что претерпели от его товарищей.

Несколько человек с зверскими лицами тотчас занялись

приготовлениями к его казни.

В землю вколотили четыре кола, укрепили на них поперечные жерди и накалили гвоздей.

Максим смотрел на все спокойным оком. Не страшно было ему умирать в муках; грустно было умереть без меча, со связанными руками, и не слышать в предсмертный час ни бранного окрика, ни ржания коней, а слышать лишь дикие песни да пьяный смех своих мучителей.

«Обмануло меня вещее, – подумал он, – не такого я чаял себе конца. Да будет же надо мной божья воля!»

Тут он заметил Серебряного, узнал его и хотел к нему подойти. Но рыжий песенник схватил его за ворот.

– Постлана постель, – сказал он, – сымай кафтан, ложись, что ли!

– Развяжите мне руки! – отвечал Максим, – не могу перекреститься!

Хлопко ударом ножа разрезал веревки, которыми руки Максима были спутаны.

– Крестись, да недолго! – сказал он, и когда Максим помолился, Хлопко и рыжий сорвали с него платье и стали привязывать его руки и ноги к жердям.

Тут Серебряный выступил вперед.

– Ребята! – сказал он голосом, который привык раздаваться в ратном строю, – слушайте!

И звонкие слова резко пронеслись по толпе и, несмотря на шум и крики, долетели до самых отдаленных разбойников.

– Слушайте! – продолжал князь. – Все ли вы хотите, чтоб я был над вами старшим? Может, есть меж вами такие, что не хотят меня?

– Э! – закричал кто-то, – да ты, никак, на попятный двор!

– Слышь ты, с нами не шути!

– Дают атаманство, так бери!

– Принимай честь, пока цел!

– Подайте ж мне атаманский чекан! – сказал Серебряный.

– Дело! – закричали разбойники. – Так-то лучше подобру-поздорову!

Князю подали чекан Перстня.

Никита Романович подошел прямо к рыжему песеннику.

– Отвязывай опричника! – сказал он.

Рыжий посмотрел на него с удивлением.

– Отвязывай тотчас! – повторил грозно Серебряный.

– Вишь ты! – сказал рыжий, – да ты за него, что ль, стоишь? Смотри, у самого крепка ль голова?

– Окаянный! – вскричал князь, – не рассуждай, когда я приказываю!

И, взмахнув чеканом, он разрубил ему череп.

Рыжий повалился, не пикнув.

Поступок Серебряного смутил разбойников. Князь не дал им опомниться.

– Отвязывай ты! – сказал он Хлопку, подняв чекан над его головой.

Хлопко взглянул на князя и поспешил отвязать Максима.

– Ребята! – продолжал Никита Романович, – этот молодец не из тех, что вас обидели; я его знаю; он такой же враг опричнине, как и вы. Сохрани вас бог тронуть его хоть пальцем! А теперь нечего мешкать: берите оружие, стройтесь по сотням, я веду вас!

Твердый голос Серебряного, повелительная осанка и неожиданная решительность сильно подействовали на разбойников.

– Эге, – сказали некоторые вполголоса, – да этот не шутит!

– И впрямь атаман! – говорили другие, – хоть кого перевернет!

– С ним держи ухо востро, не разговаривай! Вишь, как уходил песенника!

Так рассуждали разбойники, и никому не приходило более в голову трепать Серебряного по плечу или с ним целоваться.

– Исполать тебе, князь! – прошептал Перстень, с почтением глядя на Никиту Романовича. – Вишь ты, как их приструнил! Только не давай им одуматься, води их по дороге в Слободу, а там что бог даст!

Трудно было положение Серебряного. Став в главе станичников, он спас Максима и выиграл время; но все было бы вновь потеряно, если б он отказался вести буйную ватагу. Князь обратился мыслию к богу и предался его воле.

Уже начали станичники готовиться к походу, и только поговаривали, что недостает какого-то Федьки Поддубного, который с утра ушел с своим отрядом и еще не возвращался.

– А вот и Федька! – сказал кто-то, – эвот идет с ребятами!

Поддубный был сухощавый детина, кривой на один глаз и со множеством рубцов на лице.

Зипун его был изодран. Ступал он тяжело, сгибая колени, как человек, через силу уставший.

– Что? – спросил один разбойник.

– Я чай, опять досталось? – прибавил другой.

– Досталось, да не нам! – сказал Поддубный, садясь к огню. – Вот, ребяташки, много у меня лежало грехов на душе, а сегодня, кажись, половину сбыл!

– Как так?

Поддубный обернулся к своему отряду.

– Давайте сюда языка, братцы!

К костру подвели связанного детину в полосатом кафтане. На огромной голове его торчала высокая шапка с выгнутыми краями. Сплюснутый нос, выдававшиеся скулы, узенькие глаза свидетельствовали о нерусском его происхождении.

Один из товарищей Поддубного принес копье, саадак и колчан, взятые на пленном.

– Да это татарин! – закричала толпа.

– Татарин, – повторил Поддубный, – да еще какой! Насилу с ним справились, такой здоровяк! Кабы не Митька, как раз ушел бы!

– Рассказывай, рассказывай! – закричали разбойники.

– А вот, братцы, пошли мы с утра по Рязанской дороге, остановили купца, стали обшаривать; а он нам говорит: «Нечего, говорит, братцы, взять с меня! Я, говорит, еду от Рязани, там всю дорогу заложила татарва, ободрали меня дочиста, не с чем и до Москвы дотащиться».

– Вишь, разбойники! – сказал один из толпы.

– Что ж вы с купцом сделали? – спросил другой.

– Дали ему гривну на дорогу и отпустили, – ответил Поддубный. – Тут попался нам мужик, рассказал, что еще вчера татары напали на деревню и всю выжгли. Вскоре мы сами перешли великую сакму: сметили, по крайнему счету, с тысячу лошадей. А там идут другие мужики с бабами да с детьми, воют да голосят: и наше-де село выжгла татарва, да еще и церковь ограбили, порубили святые иконы, из риз поделали чепраки...

– Ах они окаянные! – вскричали разбойники, – да как еще их, проклятых, земля держит!

– Попа, – продолжал Поддубный, – к лошадиному хвосту привязали...

– Попа? Да как их, собачьих детей, громом не убило!

– А бог весть!

– Да разве у русского человека рук нет на проклятую татарву!

– Вот то-то и есть, что рук-то мало; все полки распущены, остались мужики, да бабы, да старики; а басурманам-то и любо, что нет ратных людей, что некому поколотить их порядком!

– Эх, дал бы я им!

– И я бы дал!

– Да как вы языка-то достали?

– А вот как. Слышим мы лошадиный топ по дороге. Я и говорю ребятам: схоронимся, говорю, в кусты, посмотрим, кто такой едет? Схоронились, видим: скачет человек тридцать, вот в этих шапках, с

копьями, с колчанами, с луками. Братцы, говорю я, ведь это они, сердечные! Жаль, что нас маленько, а то можно б поколотить! Вдруг у одного отторочился какой-то мешок и упал на землю. Тот остановился, слез с коня подымать мешок да вторачивать, а товарищи его меж тем ускакали. Братцы, говорю я, что бы нам навалиться на него? Ну-тка, робятушки, за мной, разом! И, сказавши, бросились все на татарина. Да куды! Тот только повел плечами, так всех нас и стряхнул. Мы опять на него, он нас опять стряхнул, да и за копье. Тут уж Митька говорит: посторонитесь, братцы, говорит, не мешайте! Мы дали ему место, а он вырвал у татарина копье, взял его за шиворот, да и пригнул к земле. Тут мы ему рукавицу в рот, да и связали, как барана.

– Ай да Митька! – сказали разбойники.

– Да, этот хоть быка за рога свалит! – заметил Поддубный.

– Эй, Митька! – спросил кто-то, – свалишь ты быка?

– А для ча! – ответил Митька и отошел в сторону, не желая продолжать разговора.

– Что ж было в мешке у татарина? – спросил Хлопко.

– А вот смотрите, ребята!

Поддубный развязал мешок и вынул кусок ризы, богатую дарохранительницу, две-три панагии да золотой крест.

– Ах он собака! – закричала вся толпа, – так это он церковь ограбил!

Серебряный воспользовался негодованием разбойников.

– Ребята! – сказал он, – видите, как проклятая татарва ругается над Христовою верой? Видите, как басурманское племя хочет святую Русь извести? Что ж, ребята, разве уж и мы стали басурманами? Разве дадим мы святые иконы на поругание? Разве попустим, чтобы нехристи жгли русские села да резали наших братьев?

Глухой ропот пробежал по толпе.

– Ребята, – продолжал Никита Романович, – кто из нас богу не грешен! Так искупим же теперь грехи наши, заслужим себе прощение от господи, ударим все, как мы есть, на врагов церкви и земли Русской!

Сильно подействовали на толпу слова Серебряного. Проняла мужественная речь не одно зачерствелое сердце, не в одной косматой груди расшевелила любовь к родине. Старые разбойники кивнули головой, молодые взглянули друг на друга. Громкие восклицания вырвались из общего говора.

– Что ж! – сказал один, – ведь и вправду не приходится отдавать церквей божиих на поругание!

– Не приходится, не приходится! – повторил другой.

– Двух смертей не бывать, одной не миновать! – прибавил третий, – лучше умереть в поле, чем на виселице!

– Правда! – отозвался один старый разбойник, – в поле и смерть красна!

– Эх, была не была! – сказал, выступая вперед, молодой сорвиголова. – Не знаю, как другие, а я пойду на татарву!

– И я пойду! и я! и я! – закричали многие.

– Говорят про вас, – продолжал Серебряный, – что вы бога забыли, что не осталось в вас ни души, ни совести. Так покажите ж теперь, что врут люди, что есть у вас и душа и совесть. Покажите, что коли пошло на то, чтобы стоять за Русь да за веру, так и вы постоите не хуже стрельцов, не хуже опричников!

– Постоим! постоим! – закричали все разбойники в одни голос.

– Не дадим поганым ругаться над святою Русью!

– Ударим на нехристей!

– Веди нас на татарву!

– Веди нас, веди нас! Постоим за святую веру!

– Ребята! – сказал князь, – а если поколотим поганых да увидит царь, что мы не хуже опричников, отпустит он нам вины наши, скажет: не нужна мне боле опричина; есть у меня и без нее добрые слуги!

– Пусть только скажет, – закричали разбойники, – уж послужим ему нашими головами!

– Не по своей же я охоте в станичники пошел! – сказал кто-то.

– А я разве по своей? – подхватил другой.

– Так ляжем же, коли надо, за Русскую землю! – сказал князь.

– Ляжем, ляжем! – повторили разбойники.

– Что ж, ребята, – продолжал Серебряный, – коли бить врагов земли Русской, так надо выпить про русского царя!

– Выпьем!

– Берите ж чарки и мне чару подайте!

Князю поднесли стопу; все разбойники налили себе чарки.

– Да здравствует великий государь наш, царь Иван Васильевич всея Руси! – сказал Серебряный.

– Да здравствует царь! – повторили разбойники.

– Да живет земля Русская! – сказал Серебряный.

– Да живет земля Русская! – повторили разбойники.

– Да сгинут все враги святой Руси и православной Христовой веры! – продолжал князь.

– Да сгинет татарва! Да сгинут враги русской веры, – кричали



наперерыв разбойники.

– Веди нас на татарву! Где они, басурманы, что жгут наши церкви?

– Веди нас, веди нас! – раздавалось отовсюду.

– В огонь татарина! – закричал кто-то.

– В огонь его! В поломя! – повторили другие.

– Пойдите, ребята! – сказал Серебряный, – расспросим его наперед порядком. Отвечай, – сказал князь, обращаясь к татарину, – много ль вас? Где вы станом стоите?

Татарин сделал знак, что не понимает.

– Пой, князь, – сказал Поддубный, – мы ему развяжем язык! Давай-ка, Хлопко, огоньку. Так. Ну что, будешь говорить?

– Буду, бачка! – вскрикнул обожженный татарин.

– Много ль вас?

– Многа, бачка, многа!

– Сколько?

– Десять тысяча, бачка; теперь десять тысяча, а завтра пришла сто тысяча!

– Так вы только передовые! Кто ведет вас?

– Хан тащил!

– Сам хан?

– Не сама! Хан пришла завтра; теперь пришла ширинский князь Шихмат!

– Где его стан?

Татарин опять показал знаками, что не понимает.

– Эй, Хлопке, огоньку! – крикнул Поддубный.

– Близка стан, бачка, близка! – поспешил отвечать татарин, – не больше отсюда, как десята верста!

– Показывай дорогу! – сказал Серебряный.

– Не можно, бачка! Не можно теперь видеть дорога! Завтра можно, бачка!

Поддубный поднес горячую головню к связанным рукам татарина.

– Найдешь дорогу?

– Нашла, бачка, наша!

– Хорошо, – сказал Серебряный, – теперь перекусите, братцы, накормите татарина, да тотчас и в поход! Покажем врагам, что значит русская сила!

## ГЛАВА 25. Приготовление к битве

В шайке началось такое движение, беготня и крики, что Максим не успел сказать и спасибо Серебряному. Когда наконец станичники выстроились и двинулись из лесу, Максим, которому возвратили коня и дали оружие, поравнялся с князем.

– Никита Романыч, – сказал он, – отплатил ты мне сегодня за медведя!

– Что ж, Максим Григорьевич, – ответил Серебряный, – на то на свете живем, чтоб помогать друг другу!

– Князь, – подхватил Перстень, ехавший также верхом возле Серебряного, – смотрел я на тебя и думал: эх, жаль, что не видит его один низовой молодец, которого оставил я на Волге! Хоть он и худой человек, почитай мне ровня, а полюбил бы ты его, князь, и он тебя полюбил бы! Не в обиду тебе сказать, а схожи вы нравом. Как заговорил ты про святую Русь да загорелись твои очи, так я и вспомнил Ермака Тимофеича. Любит он родину, крепко любит ее, нужды нет, что станичник. Не раз говаривал мне, что совестно ему землю даром бременить, что хотелось бы сослужить службу родине. Эх, кабы теперь его на татар! Он один целой сотни стоит. Как крикнет: за мной, ребята! так, кажется, сам станешь и выше и сильнее, и ничто тебя уже не остановит, и все вокруг тебя так и валится. Похож ты на него, ей-богу похож, Никита Романыч, не в укор тебе сказать!

Перстень задумался. Серебряный ехал осторожно, вглядываясь в темную даль; Максим молчал. Глухо раздавались по дороге шаги разбойников; звездная ночь безмолвно раскинулась над спящею землей. Долго шла толпа по направлению, указанному татаринном, которого вели под саблей Хлопко и Поддубный.

Вдруг принесли издали какие-то странные, мерные звуки.

То был не человеческий голос, не рожок, не гусли, а что-то похожее на шум ветра в тростнике, если бы тростник мог звенеть, как стекло или струны.

– Что это? – спросил Никита Романыч, останавливая коня.

Перстень снял шапку и наклонил голову почти до самой луки.

– Погоди, князь, дай порасслушать!

Звуки лились мерно и заунывно, то звонкими серебряными струями, то подобные шуму колеблемого леса, – вдруг замолкли, как будто в порыве степного ветра.

– Кончил! – сказал Перстень, смеясь. – Вишь, грудь-то какова! Я чай, с

полчаса дул себе, не переводя духа!

– Да что это? – спросил князь.

– Чебузга! – отвечал Перстень. – Это у них, почитай, что у нас рожок или жалейка. Должно быть, башкирцы. Ведь тут разный сброд с ханом, и казанцы, и астраханцы, и всякая ногайская погань. Слышь, вот опять наигрывать стали!

Вдали начался как будто новый порыв вихря, обратился в длинные, грустно-приятные переливы и через несколько времени кончился отрывисто, подобно конскому фырканию.

– Ага! – сказал Перстень, – это колено вышло покороче; должно быть, надорвался, собачий сын!

Но тут раздались новые звуки, гораздо звончее. Казалось, множество колокольцев звенели безостановочно.

– А вот и горло! – сказал Перстень. – Ведь издали подумаешь и невесть что; а они это горлом выделывают. Вишь, их разобрало, вражьих детей!

Грустные, заунывные звуки сменялись веселыми, но то была не русская грусть и не русская удаль. Тут отражалось дикое величие кочующего племени, и попрыски табунов, и богатырские набеги, и переходы народов из края в край, и тоска по неизвестной, первобытной родине.

– Князь, – сказал Перстень, – должно быть, близко стан; я чаю, за этим пригорком и огни будут видны. Дозволь, я пойду повысмотрю, что и как; мне это дело обычное, довольно я их за Волгой встречал; а ты бы пока ребятам дал вздохнуть да осмотреться.

– Ступай с богом, – сказал князь, и Перстень соскочил с коня и исчез во мраке.

Разбойники оправились, осмотрели оружие и сели на землю, не изменяя боевого порядка. Глубокое молчание царствовало в шайке. Все понимали важность начатого дела и необходимость безусловного повиновения. Между тем звуки чебузги лились по-прежнему, месяц и звезды освещали поле, все было тихо и торжественно, и лишь изредка легкое дуновение ветра волновало ковыль серебристыми струями.

Прошло около часа; Перстень не возвращался. Князь стал уже терять терпение, но вдруг шагах в трех от него поднялся из травы человек. Никита Романович схватился за саблю.

– Тише, князь, это я! – произнес Перстень, усмехаясь. – Вот так точно подполз я и к татарам; все высмотрел, теперь знаю их стан не хуже своего куреня. Коли дозволишь, князь, я возьму десяток молодцов, пугну табун да

переполошу татарву; а ты тем часом, коли рассудишь, ударь на них с двух сторон, да с добрым криком; так будь я татарин, коли мы их половины не перережем! Это я так говорю, только для почину; ночное дело мастера боится; а взойдет солнышко, так уж тебе указывать, князь, а нам только слушаться!

Серебряный знал находчивость и сметливость Перстня и дал ему действовать по его мысли.

– Ребятюшки, – сказал Перстень разбойникам, – повздорили мы немного, да кто старое помянет, тому глаз вон! Есть ли промеж вас человек десять охотников со мной вместе к стану идти?

– Выбирай кого знаешь, – отвечали разбойники, – мы все готовы!

– Спасибо же вам, ребятюшки; а коли уж вы меня уважили, так я беру вот каких: ступай сюда, Поддубный, и ты, Хлопко, и ты, Дятел, и ты, Лесников, и ты, Решето, и Степка, и Мишка, и Шестопер, и Наковальня, и Саранча! А ты куда лезешь, Митька? Тебя я не звал; оставайся с князем, ты к нашему делу непригоден. Сымайте, ребята, сабли, с ними ползти неладно, будет с нас и ножей. Только, ребята, чур слушать моего слова, без меня ни на шаг! Пошли в охотники, так уж что укажу, то и делать. Чуть кто-нибудь не так, я ему тут же и карачун!

– Добро, добро! – отвечали выбранные Перстнем, – как скажешь, так и сделаем. Уж пошли на святое дело, небось не повздорим!

– Видишь, князь, этот косогор? – продолжал атаман. – Как дойдешь до него, будут вам их костры видны. А мой совет – ждать вам у косогора, пока не услышите моего визга. А как пугну табун да послышится визг и крик, так вам и напускаться на нехристей; а им деться некуда; коней-то уж не будет; с одной стороны мы, с другой пришла речка с болотом.

Князь обещался делать все по распоряжению Перстня.

Между тем атаман с десятью удалцами пошли на звук чебузги и вскоре пропали в траве. Иной подумал бы, что они тут же и притаились; но зоркое око могло бы заметить колебание травы, независимое от ветра и не по его направлению.

Через полчаса Перстень и его товарищи были уже близко к татарским кибиткам.

Лежа в ковыле, Перстень приподнял голову.

Шагов пятьдесят перед ним горел костер и озарял несколько башкирцев, сидевших кружком, с поджатыми под себя ногами. Кто был в пестром халате, кто в бараньем тулупе, а кто в изодранном кафтане из верблюжины. Воткнутые в землю копыя торчали возле них и докидывали длинные тени свои до самого Перстня. Табун из нескольких тысяч

лошадей, вверенный страже башкирцев, пасся неподалеку густою кучей. Другие костры, шагах во сто подале, освещали бесчисленные войлочные кибитки.

Не зорко смотрели башкирцы за своим табуном. Пришли они от Волги до самой Рязани, не встретив нигде отпора; знали, что наши войска распущены, и не ожидали себе неприятеля; а от волков, думали, обереемся чебузгой да горлом. И четверо из них, уперев в верхние зубы концы длинных репейных дудок и набрав в широкие груди сколько могли ветру, дули, перебирая пальцами, пока хватало духа. Другие подтягивали им горлом, и огонь освещал их скулистые лица, побагровевшие от натуги.

Несколько минут Перстень любовался этою картиной, раздумывая про себя: броситься ли ему тотчас с ножом на башкирцев и, не дав им опомниться, перерезать всех до одного? Или сперва разогнать лошадей, а потом уже начать резать?

И то и другое его прельщало. «Вишь, какой табун, – думал он, притаив дыхание, – коли пугнуть его умеючи, так он, с напуску, все их кибитки переломает; такого задаст переполоху, что они своих не узнают. А и эти-то вражьи дети хорошо сидят, больно хорошо! Вишь, как наяривают; можно к ним на два шага подползти!»

И не захотелось атаману отказаться от кровавой потехи над башкирцами.

– Решето, – шепнул он притаившемуся возле него товарищу, – что, у тебя в горле не першит? Сумеешь взвизгнуть?

– А ты-то что ж? – ответил шепотом Решето.

– Да как будто осип маненько.

– Пожалуй, я взвизгну. Пора, что ли?

– Постой, рано. Заползи-ка вон оттоль как можно ближе к табуну; ползи, пока не сметят тебя кони; а лишь начнут ушьми трясти, ты и гикни, да пострашнее, да и гони их прямо на кибитки!

Решето кивнул головой и исчез в ковыле.

– Ну, братцы, – шепнул Перстень остальным товарищам, – ползите за мной под нехристей, только чур осторожно. Вишь, их всего-то человек двадцать, а нас девятеро; на каждого из вас будет по два, а я на себя четырех беру. Как услышите, что Решето взвизгнул, так всем разом и загикать да прямо на них! Готовы, что ли?

– Готовы! – отвечали шепотом разбойники.

Атаман перевел дыхание, оправился и начал потихоньку вытаскивать из-за пояса длинный нож свой.

## ГЛАВА 26. Побратимство

Пока все это происходило у татарского стана, Серебряный, за полверсты оттуда, ожидал нетерпеливо условленного знака.

– Князь, – сказал ему Максим, не отходивший все время от него, – недолго нам ждать, скоро начнется бой; как взойдет солнышко, так уже многих из нас не будет в живых, а мне бы хотелось попросить тебя...

– О чем, Максим Григорьич?

– Дело-то нетрудное, да не знаю, как тебе сказать, совестно мне...

– Говори, Максим Григорьич, было бы вмоготу!

– Видишь ли, князь, скажу тебе всю истину. Я ушел из Слободы тайно, против воли отца, без ведома матери. Невтерпеж мне стало служить в опричниках; такая нашла тошнота, что хоть в воду кинуться. Видишь ли, боярин, я один сын у отца у матери, брата у меня никогда не бывало. От покрова пошел мне девятнадцатый год, а поверишь ли, до сей поры не с кем было добрым словом перемолвиться. Живу промеж них один-одинешенек, никто мне не товарищ, все чужие. Всяк только и думает, как бы другого извести, чтобы самому в честь попасть. Что ни день, то пытки да казни. Из церкви, почитай, не выходят, а губят народ хуже станичников. Было б им поболее казны да поместий, так, по ним, хоть вся Русь пропадай! Как царь ни грозен, а ведь и тот иногда слушает истину; так у них, хоть бы у одного, язык повернулся правду вымолвить! Все так ему и поддакивают, так и лезут выслужиться! Поверишь ли, князь, как увидел тебя, на сердце у меня повеселело, словно родного встретил! Еще и не знал я, кто ты таков, а уж полюбился ты мне, и очи у тебя не так глядят, как у них, и речь звучит иначе. Вот Годунов, пожалуй, и лучше других, а все не то, что ты. Смотрел я на тебя, как ты без оружия супротив медведя стоял; как Басманов, после отравы того боярина, и тебе чашу с вином поднес; как тебя на плаху вели; как ты с станичниками сегодня говорил. Так меня и тянуло к тебе, вот так бы и кинулся к тебе на шею! Не дивись, князь, моей глупой речи, – прибавил Максим, потупя очи, – я не набиваюсь к тебе на дружбу, знаю, кто ты и кто я; только что ж мне делать, коли не могу слов удержать; сами рвутся наружу, сердце к тебе само так и мечется!

– Максим Григорьич, – сказал Серебряный и крепко сжал его руку, – и ты полюбился мне, как брат родной!

– Спасибо, князь, спасибо тебе! А коли уж на то пошло, то дай мне разом высказать, что у меня на душе. Ты, я вижу, не брезгаешь мной.

Дозволь же мне, князь, теперь, перед битвой, по древнему христианскому обычаю, побрататься с тобой! Вот и вся моя просьба; не возьми ее во гнев, князь. Если бы знал я наверно, что доведется нам еще долгое время жить вместе, я б не просил тебя; уж помнил бы, что тебе непригоже быть моим названным братом; а теперь...

– Полно бога гневить, Максим Григорьич! – прервал его Серебряный, – чем ты не брат мне? Знаю, что мой род честнее твоего, да то дело думное и разрядное; а здесь, перед татарами, в чистом поле, мы равны, Максим Григорьич, да везде равны, где стоим пред богом, а не пред людьми. Побратаемся, Максим Григорьич!

И князь снял с себя крест-тельник на узорной золотой цепи и подал Максиму.

Максим также снял с шеи крест, простой, медный, на шелковом гайтане, поцеловал его и перекрестился.

– Возьми его, Никита Романыч; им благословила меня мать, когда еще мы были бедными людьми, не вошли еще в честь у Ивана Васильича. Береги его, он мне всего дороже.

Тогда оба еще раз перекрестились и, поменявшись крестами, обняли друг друга.

Максим просветлел.

– Теперь, – сказал он радостно, – ты мне брат, Никита Романыч! Что бы ни случилось, я с тобой неразлучен, кто тебе друг, тот друг и мне; кто тебе враг, тот и мне враг; буду любить твоею любовью, опаляться твоим гневом, мыслить твоею мыслию! Теперь мне и умирать веселее, и жить не горько; есть с кем жить, за кого умереть!

– Максим, – сказал Серебряный, глубоко тронутый, – видит бог, и я тебе всю душой учинился братом; не хочу разлучаться с тобою до скончания живота!

– Спасибо, спасибо, Никита Романыч, и не след нам разлучаться! Коли, даст бог, останемся живы, подумаем хорошенько, поищем вместе, что бы нам сделать для родины, какую службу святой Руси сослужить? Быть того не может, чтобы все на Руси пропало, чтоб уж нельзя было и царю служить иначе, как в опричниках!

Максим говорил с непривычным жаром, но вдруг остановился и схватил Серебряного за руку.

Пронзительный визг раздался в отдалении. Воздух как будто задрожал, земля затряслась, смутные крики, невнятный гул принесли от татарского стана, и несколько коней, грива дыбом, проскакали мимо Серебряного и Максима.

– Пора! – сказал Серебряный, садясь в седло, и вынул саблю. – Чур меня слушаться, ребята, не сбиваться в кучу, не рассыпаться врозь, каждый знай свое место. С богом, за мной!

Разбойники вспрянули с земли.

– Пора, пора! – раздалось во всех рядах. – Слушаться князя!

И вся толпа двинулась за Серебряным и перевалилась через холм, заграждавший им дотоле неприятельские костры. Тогда новое неожиданное зрелище поразило их очи. Справа от татарского стана змеился по степи огонь, и неправильные узоры его, постепенно расширяясь и сливаясь вместе, ползли все ближе и ближе к стану.

– Ай да Перстень! – вскричали разбойники, – ай да наши! Вишь, зажгли степь, пустили огонь по ветру, прямо на басурманов!

Пожар рос с невероятною быстротой, вся степь по правую сторону стана обратилась в пылающее море, и вскоре огненные волны охватили крайние кибитки и озарили стан, похожий на встревоженный муравейник.

Татары, спасаясь от огня, бежали в беспорядке навстречу разбойникам.

– На них, ребята! – загремел Серебряный, – топчите их в воду, гоните в огонь!

Дружный крик отвечал князю, разбойники бросились на татар, и закипела резня.

...Когда солнце взошло, бой еще продолжался, но поле было усеяно убитыми татарами.

Теснимые с одной стороны пожаром, с другой – дружиной Серебряного, враги не успели опомниться и кинулись к топким берегам реки, где многие утонули. Другие погибли в огне или задохлись в дыму. Испуганные табуны с самого начала бросились на стан, переломали кибитки и привели татар в такое смятение, что они давили друг друга и резались между собою, думая отбивать неприятеля. Одна часть успела прорваться через огонь и рассеялась в беспорядке по степи. Другая, собранная с трудом самим ширинским мурзою Шихматом, переплыла через речку и построилась на другом берегу. Тысячи стрел сыпались оттуда на торжествующих русских. Разбойники, не имея другого оружия, кроме рукопашного, и видя стреляющих врагов, защищенных топкою речкой, не выдержали и смешались.

Напрасно Серебряный просьбами и угрозами старался удержать их. Уже отряды татар начали, под прикрытием стрел, обратно переплывать речку, грозя ударить Серебряному в тыл, как Перстень явился внезапно возле князя. Смуглое лицо его разгорелось, рубаха была изодрана, с ножа капала кровь.



– Стойте, други! стойте, ясные соколы! – закричал он на разбойников. – Аль глаза вам запорошило? Аль не видите, к нам подмога идет?

В самом деле, на противоположном берегу подвигалась рать в боевом порядке; ее копыта и бердыши сверкали в лучах восходящего солнца.

– Да это те же татары! – сказал кто-то.

– Сам ты татарин! – возразил Перстень, негодуя. – Разве так идет орда? Разве бывает, чтоб татары шли пешие? А этого не видишь впереди на сером коне? Разве на нем татарская бронь?

– Православные идут! – раздалось между разбойниками. – Стойте, братцы, православные к нам на помощь идут!

– Видишь, князь, – сказал Перстень, – они, вражьи дети, и стреляют-то уж не так густо, значит, смекнули, в чем дело! А как схватится с ними та дружина, я покажу тебе брод, перейдем да ударим на них сбоку!

Новая рать подвигалась все ближе, и уже можно было распознать ее вооружение и одежду, почти столь же разнообразную, как и на разбойниках. Над головами ратников болтались цепи, торчали косы и рогатины. Они казались наскоро вооруженными крестьянами, и только на передовых были одноцветные кафтаны, а в руках их светились бердыши и копыта. Тут же ехало человек сто вершников, также в одноцветных кафтанах. Предводитель этой дружины был стройный молодой человек. Из-под сверкающего шлема висели у него длинные русые волосы. Он ловко управлял конем, и конь серебристо-серой масти то взвизывал на дыбы, то шел, красуясь, ровным шагом и ржал навстречу неприятелю.

Туча стрел встретила вождя и дружину.

Между тем Никита Романович вместе с своими перешел речку вброд и врезался в толпу врагов, на которых в то же время наперла с другой стороны вновь пришедшая подмога.

Уже с час кипела битва.

Серебряный на мгновение отъехал к речке напоить коня и перетянуть подпруги. Максим увидел его и подскочил к нему.

– Ну, Никита Романыч, – сказал он весело, – видно, бог стоит за святую Русь. Смотри, коли наша не возьмет!

– Да, – ответил Серебряный, – спасибо вон тому боярину, что подоспел к нам на прибавку. Вишь, как рубит вправо и влево! Кто он таков? Я как будто видал его где-то?

– Как, Никита Романыч, ты не признал его?

– А ты его разве знаешь?

– Мне-то как не знать его, бог с ним! Много грехов отпустится ему за

нынешний день. Да ведь и ты знаешь его, Никита Романыч. Это Федька Басманов.

– Басманов? Этот! Неужто он!

– Он самый, и на себя не похож стал. Бывало, и подумать соромно, в летнике, словно девушка, плясывал; а теперь, видно, разобрало его: поднял крестьян и дворовых и напал на татар; должно быть, и в нем русский дух заговорил. А сила-то откуда взялась, подумаешь! Да как и не перемениться в этакый день, – продолжал Максим с одушевлением, и глаза его блистали радостью. – Поверишь ли, Никита Романыч, я сам себя не узнаю. Когда ушел я из Слободы, все казалось, что недолго уже доводится жить на свете. Тянуло померяться с нехристями, только не с тем, чтобы побить их; на то, думал, найдутся лучше меня; а с тем, чтобы сложить голову на татарскую саблю. А теперь не то; теперь мне хочется жить! Слышишь, Никита Романыч, когда ветер относит бранный гул, как в небе жаворонки звенят? Вот так же весело звенит и у меня на сердце! Такая чуется сила и охота, что целый век показался бы короток. И чего не передумал я с тех пор, как заря занялась! Так стало мне ясно, так понятно, сколько добра еще можно сделать на родине! Тебя царь помилует; быть того не может, чтоб не помиловал. Пожалуй, еще и полюбит тебя. А ты возьми меня к себе; давай вместе думать и делать, как Адашев с Сильвестром. Все, все расскажу тебе, что у меня на мысли, а теперь прости, Никита Романыч, пора опять туда; кажись, Басманова окружили. Хоть он и худой человек, а надо выручить!

Серебряный посмотрел на Максима почти отеческим взором.

– Побереги себя, Максим, – сказал он, – не мечись в сечу даром; смотри, ты и так уж в крови!

– То, должно быть, вражья кровь, – ответил Максим, весело посмотрев на свою рубаху, – а на мне и царапины нет; твой крест соблюл меня!

В это время притаившийся в камышах татарин выполз на берег, натянул лук и пустил стрелу в Максима.

Зазвенел тугой татарский лук, спела тетива, провизжала стрела, угодила Максиму в белую грудь, угодила каленая под самое сердце. Закачался Максим на седле, ухватился за конскую гриву; не хочется пасть добру молодцу, но доспел ему час, на роду написанный, и свалился он на сырую землю, зацепя стремя ногою. Поволок его конь по чисту полю, и летит Максим, лежа навзничь, раскидав белые руки, и метут его кудри мать сыру-земли, и бежит за ним по полю кровавый след.

Придет в Слободу весть недобрая, разрыдается мать Максимова, что не стало ей на помин души поминщика и некому ее старых очей закрыть. Разрыдается слезами горячими, не воротить своего детища!

Придет в Слободу весть недобрая, заскрежещет Малюта зубами, налетит на пленных татар, насечет в тюрьмах копны голов и упьется кровью до жадной души: не воротить своего детища!

Забыл Серебряный и битву и татар, не видит он, как Басманов гонит нехристей, как Перстень с разбойниками перенимают бегущих; видит только, что конь волочит по полю его названного брата. И вскочил Серебряный в седло, поскакал за конем и, поймав его за узду, спрыгнул на землю и высвободил Максима из стремени.

– Максим, Максим! – сказал он, став на колени и приподымая его голову, – жив ли ты, названный брат мой? Открой очи, дай мне отповедь!

И Максим открыл туманные очи и протянул к нему руки.

– Прости, названный брат мой! Не довелось пожить нам вместе. Сделай же один, что хотели мы вдвоем сделать!

– Максим, – сказал Серебряный, прижимая губы к горячему челу умирающего, – не заповедаешь ли мне чего?

– Отвези матери последний поклон мой, скажи ей, что я умер, ее поминая...

– Скажу, Максим, скажу, – ответил Серебряный, едва удерживаясь от слез.

– А крест, – продолжал Максим, – тот, что на мне, отдай ей... а мой носи на память о брате твоём...

– Брат мой, – сказал Серебряный, – нет ли еще чего на душе у тебя? Нет ли какой зазнобы в сердце? Не стыдись, Максим, кого еще жаль тебе, кроме матери?

– Жаль мне родины моей, жаль святой Руси! Любил я ее не хуже матери, а другой зазнобы не было у меня!

Максим закрыл глаза. Лицо его горело, дыхание делалось чаще.

Через несколько мгновений он опять взглянул на Серебряного.

– Брат, – сказал он, – кабы мне напиться воды, да постуденее!

Река была недалеко, князь встал, зачерпнул в шлем воды и подал Максиму.

– Теперь как будто полегчало, – сказал умирающий, – приподыми меня, помоги перекреститься!

Князь приподнял Максима. Он повел кругом угасающим взором, увидел бегущих татар и улыбнулся.

– Я говорил, Никита Романыч, что бог стоит за нас... смотри, как они рассыпались... а у меня уж и в глазах темнеет... ох, не хотелось бы умереть теперь!..

Кровь хлынула из уст его.

– Господи, прими мою душу! – проговорил Максим и упал мертвый.

## ГЛАВА 27. Басманов

Люди Басманова и разбойники окружили Серебряного. Татары были разбиты наголову, многие отдались в плен, другие бежали. Максиму вырыли могилу и похоронили его честно. Между тем Басманов велел раскинуть на берегу речки свой персидский шатер, а дворецкий его, один из начальных людей рати, доложил Серебряному, что боярин бьет ему челом, просит не побрезгать походным обедом.

Лежа на шелковых подушках, Басманов, уже расчесанный и надушенный, смотрелся в зеркало, которое держал перед ним молодой стремянный, стоя на коленях. Вид Басманова являл странную смесь лукавства, надменности, изнеженного разврата и беспечной удали; и сквозь эту смесь проглядывало то недоброжелательство, которое никогда не покидало опричника при виде земского. Предполагая, что Серебряный должен презирать его, он, даже исполняя долг гостеприимства, придумывал заранее, как бы отомстить гостю, если тот, неравно, выкажет свое презрение. При входе Серебряного Басманов приветствовал его наклоном головы, но не тронулся с места.

– Ты ранен, Федор Алексеич? – спросил Серебряный простодушно.

– Нет, не ранен, – сказал Басманов, принимая эти слова за насмешку и решившись встретить ее бесстыдством, – нет, не ранен, а только утомился немного, да вот лицо как будто загорело. Как думаешь, князь, – прибавил он, продолжая смотреться в зеркало и поправляя свои жемчужные серьги, – как думаешь, скоро сойдет загар?

Серебряный не знал, что и отвечать.

– Жаль, – продолжал Басманов, – сегодня не успеем в баню; до вотчины моей будет верст тридцать, а завтра, князь, милости просим, угощу тебя лучше теперешнего, увидишь мои хороводы: девки все на подбор, а парни – старшему двадцати не будет.

Говоря это, Басманов сильно картавил.

– Спасибо, боярин, я спешу в Слободу, – отвечал сухо Серебряный.

– В Слободу? Да ведь ты, никак, из тюрьмы убежал.

– Не убежал, Федор Алексеич, а увели меня насильно. Давши слово царю, я сам бы не ушел, и теперь опять отдаюсь на его волю.

– Тебе, стало, хочется на виселицу? Вольному воля, спасенному рай! А я уж не знаю, вернуться ли мне?

– Что так, Федор Алексеич?

– Да что! – сказал Басманов, предаваясь досаде или, может быть, желая только внушить Серебряному доверие, – служишь царю всю правдой, отдаешь ему и душу и плоть, а он, того и смотри, посадит тебе какого-нибудь Годунова на голову!

– Да тебя-то, кажется, жалует царь.

– Жалует! До сей поры и окольным сделать не хочет! А уж кажется, я ли ему не холоп! Небось Годунов не по-моему служит. Этот бережет себя, как бы земские про него худо не подумали. «Эй, Борис, ступай в застенки, боярина допрашивать!» – «Иду, государь, только как бы он не провел меня, я к этому делу не привычен, прикажи Григорию Лукьянычу со мной идти!» – «Эй, Борис, вон за тем столом земский боярин мало пьет, поднеси ему вина, разумеешь?» – «Разумею, государь, да только он на меня подозрение держит, ты бы лучше Федьку Басманова послал!» А Федька не отговаривается, куда пошлют, туда и идет. Поведи лишь царь очами, брата родного отравил бы и не спросил бы за что. Помнишь, как я тебе за столом чашу от Ивана Васильича-то поднес? Ведь я думал, она с ядом, ей-богу, думал!

Серебряный усмехнулся.

– А где ему, – продолжал Басманов, как бы подстрекаемый к большей наглости, – где ему найти слугу краше меня? Видал ли ты такие брови, как у меня? Чем эти брови не соболю? А волосы-то? Тронь, князь, пощупай, ведь шелк, право, ну шелк!

Отвращение выразилось на лице Серебряного. Басманов это заметил и продолжал, как будто желая поддразнить своего гостя:

– А руки-то мои, посмотри, князь, чем они не девичьи? Только вот сегодня намозолил маленько. Такой уж у меня нрав, ни в чем себя не жалею!

– И подлинно не жалеешь, – сказал Серебряный, не в силах более сдержать своего негодования, – коли все то правда, что про тебя говорят...

– А что же про меня говорят? – подхватил Басманов, лукаво прищурясь.

– Да уж и того бы довольно, что ты сам рассказываешь; а то говорят про тебя, что ты перед царем, прости господи, как девушка, в летнике пляшешь!

Краска бросилась в лицо Басманова, но он призвал на помощь свое обычное бесстыдство.

– А что ж, – сказал он, принимая беспечный вид, – если и в самом деле пляшу?

– Тогда прости, – сказал Серебряный, – мне не только с тобой обедать,

но и смотреть на тебя соромно!

– Ага! – вскричал Басманов, и поддельная беспечность его исчезла, и глаза засверкали, и он уже забыл картавить, – ага! выговорил наконец! Я знаю, что вы все про меня думаете! Да мне, вот видишь ли, на всех вас наплевать!

Брови Серебряного сдвинулись, и рука опустилась было на крыж его сабли, но он вспомнил, с кем говорит, и только пожал плечами.

– Да что ты за саблю-то хватаешься? – продолжал Басманов. – Меня этим не напугаешь. Как сам примусь за саблю, так еще посмотрим, чья возьмет!

– Прости! – сказал Серебряный и приподнял завесу шатра, чтобы выйти.

– Слушай, – вскричал Басманов, хватая его за полу кафтана, – кабы на меня кто другой так посмотрел, я, видит бог, не спустил бы ему, но с тобой ссориться не хочу; больно хорошо татар рубишь!

– Да и ты, – сказал добродушно Серебряный, останавливаясь у входа и вспомнив, как дрался Басманов, – да и ты не хуже меня рубил их. Что ж ты опять вздумал ломаться, словно баба какая!

Лицо Басманова опять сделалось беспечно.

– Ну, не сердись, князь! Я ведь не всегда таков был; а в Слободе, сам знаешь, поневоле всему научишься!

– Грешно, Федор Алексеич! Когда сидишь ты на коне, с саблей в руке, сердце, глядя на тебя, радуется. И доблесть свою показал ты сегодня, любо смотреть было. Брось же свой бабий обычай, остриги волосы, как бог велит, сходи на покаяние в Киев или в Соловки, да и вернись на Москву христианином!

– Ну, не сердись, не сердись, Никита Романыч! Сядь сюда, пообедай со мной, ведь я не пес же какой, есть и хуже меня; да и не все то правда, что про меня говорят; не всякому слуху верь. Я и сам иногда с досады на себя наклеплю!

Серебряный обрадовался, что может объяснить поведение Басманова в лучшую сторону.

– Так это неправда, – поспешил он спросить, – что ты в летнике плясал?

– Эх, дался тебе этот летник! Разве я по своей охоте его надеваю? Иль ты не знаешь царя? Да и что мне, в святые себя прочить, что ли? Уж я и так в Слободе пощусь ему в угождение; ни одной заутрени не проспал; каждую среду и пятницу по сту земных поклонов кладу; как еще лба не расшиб! Кабы тебе пришлось по целым неделям в стихаре ходить, небось и ты б для

перемены летник надел!

– Скорей пошел бы на плаху! – сказал Серебряный.

– Ой ли? – произнес насмешливо Басманов, и, бросив злобный взгляд на князя, он продолжал с видом доверчивости: – А ты думаешь, Никита Романыч, мне весело, что по царской милости меня уже не Федором, а Федорой величают? И еще бы какая прибыль была мне от этого! А то вся прибыль ему, а мне один сором! Вот хоть намереди, еду вспольем мимо Дорогомиловской слободы, ан мужичье-то пальцами на меня показывают, а кто-то еще закричи из толпы: «Эвот царская Федора едет!» Я было напустился на них, да разбежались. Прихожу к царю, говорю, так и так, не вели, говорю, дорогомиловцам холопа твоего корить, вот уж один меня Федорой назвал. «А кто назвал?» – «Да кабы знал кто, не пришел бы докучать тебе, сам бы зарезал его». – «Ну, говорит, возьми из моих кладовых сорок соболей на душегрейку». – «А на что мне она! Небось ты не наденешь душегрейки на Годунова, а чем я хуже его?» – «Да что же тебе, Федя, пожаловать?» – «А пожалуй меня окольничим, чтоб люди в глаза не корили!» – «Нет, говорит, окольничим тебе не бывать; ты мне потешник, а Годунов советник; тебе казна, а ему почет. А что дорогомиловцы тебя Федорой назвали, так отписать за то всю Дорогомиловщину на мой царский обиход!» Вот тебе и потешник! Да с тех пор, как бросили Москву, и потехи-то не было. Всё постились да богу молились. Со скуки уж в вотчину отпросился, да и там надоело. Не век же зайцев да перепелов травить! Поневоле обрадовался, как весть про татар пришла. А ведь хорошо мы их отколотили, ей-богу, хорошо! Довольно и полону пригоним к Москве! Да я было и забыл про полон! Стреляешь ты из лука, князь?

– А что?

– Да так. После обеда привяжем татарина шагах во сто: кто первый в сердце попадет. А что не в сердце, то не в почет. Околеет, другого привяжем.

Открытое лицо Серебряного омрачилось.

– Нет, – сказал он, – я в связанных не стреляю.

– Ну так велим ему бежать: кто первый на бегу свалит.

– И того не стану, да и тебе не дам! Здесь, слава богу, не Александрова слобода!

– Не дашь? – вскричал Басманов, и глаза его снова загорелись, но, вероятно, не вошло в его расчет ссориться с князем, и, внезапно переменив приемы, он сказал ему весело: – Эх, князь! Разве не видишь, я шучу с тобой! И про летник ты поверил! Вот уж полчаса я потешаюсь, а ты, что ни скажу, все за правду примаешь! Да мне хуже, чем тебе, слободской обычай



постыл! Разве ты думаешь, я лажу с Грязным, али с Вяземским, али с Малютой? Вот те Христос, они у меня как бельмо на глазу! Слушай, князь, – продолжал он вкрадчиво, – знаешь ли что? Дай мне первому в Слободу вернуться, я тебе выпрошу прощение у царя, а как войдешь опять в милость, тогда уж и ты сослужи мне службу. Стоит только шепнуть царю сперва про Вяземского, а там про Малюту, а там и про других, так посмотри, коли мы с тобой не останемся сам-друг у него в приближении. А я уж знаю, что ему про кого сказать, да только лучше, чтоб он со стороны услышал. Я тебя научу, как говорить, ты мне спасибо скажешь!

Странно сделалось Серебряному в присутствии Басманова. Храбрость этого человека и полувывыказанное сожаление о своей постыдной жизни располагали к нему Никиту Романовича. Он даже готов был подумать, что Басманов в самом деле перед этим шутил или с досады клепал на себя, но последнее предложение его, сделанное, очевидно, не в шутку, возбудило в Серебряном прежнее отвращение.

– Ну, – сказал Басманов, нагло смотря ему в глаза, – пополам, что ли, царскую милость? Что ж ты молчишь, князь? Аль не веришь мне?

– Федор Алексеич, – сказал Серебряный, стараясь умерить свое негодование и быть повежливее к угощавшему его хозяину, – Федор Алексеич, ведь то, что ты затеял, оно... как бы тебе сказать? ведь это...

– Что? – спросил Басманов.

– Ведь это скаредное дело! – выговорил Серебряный и подумал, что, смягчив голос, он скрасил свое выражение.

– Скаредное дело! – повторил Басманов, перемогая злобу и скрывая ее под видом удивления. – Да ты забыл, про кого я тебе говорю. Разве ты мыслишь к Вяземскому или к Малюте?

– Гром божий на них и на всю опричнину! – сказал Серебряный. – Пусть только царь даст мне говорить, я при них открыто скажу все, что думаю и что знаю, но шептать не стану ему ни про кого, а колыми паче с твоих слов, Федор Алексеич!

Ядовитый взгляд блеснул из-под ресниц Басманова.

– Так ты не хочешь, чтоб я с тобой царскою милостью поделился?

– Нет, – отвечал Серебряный.

Басманов повесил голову, схватился за нее обеими руками и стал перекачиваться со стороны на сторону.

– Ох, сирота, сирота я! – заговорил он нараспев, будто бы плача, – сирота я горькая, горемычная! С тех пор как разлюбил меня царь, всяк только и норовит, как бы обидеть меня! Никто не приласкает, никто не приголубит, все так на меня и плюют! Ой, житье мое, житье нерадостное!

Надоело ты мне, собачье житье! Захлесну поясок за перекладинку, продену в петельку головушку бесталанную!

Серебряный с удивлением смотрел на Басманова, который продолжал голосить и причитывать, как бабы на похоронах, и только иногда, украдкой, вскидывал исподлобья свой наглый взор на князя, как бы желая уловить его впечатление.

– Тьфу! – сказал наконец Серебряный и хотел было выйти, но Басманов опять поймал его за полу.

– Эй! – закричал он, – песенников!

Вошло несколько человек, вероятно ожидавших снаружи. Они загородили выход Серебряному.

– Братцы, – начал Басманов прежним плаксивым голосом, – затяните-ка песенку, да пожалобнее, затяните такую, чтобы душа моя встосковалась, надорвалась, да и разлучилась бы с телом!

Песенники затянули длинную, заунывную песню, вроде похоронной, в продолжение которой Басманов все переваливался со стороны на сторону и приговаривал:

– Протяжнее, протяжнее! Еще протяжнее, други! Отпевайте своего боярина, отпевайте! Вот так! Вот хорошо! Да что ж душа не хочет из тела вон! Или не настал еще час ее? Или написано мне еще на свете помаяться? А коли написано, так надо маяться! А коли сказано жить, так надо жить! Плясовую! – крикнул он вдруг, без всякого перехода, и песенники, привыкшие к таким переменам, грянули плясовую.

– Живей! – кричал Басманов и, схватив две серебряные стопы, начал стучать ими одна о другую. – Живей, соколы! Живей, бесовы дети! Я вас, разбойники!

Вся наружность Басманова изменилась. Ничего женоподобного не осталось на лице его. Серебряный узнал того удальца, который утром бросался в самую сечу и гнал перед собою толпы татар.

– Вот этак-то получше! – проговорил князь, одобрительно кивнув головой.

Басманов весело на него взглянул.

– А ведь ты опять поверил мне, князь! Ты подумал, я и вправду расхныкался! Эх, Никита Романыч, легко ж тебя провести! Ну, выпьем же теперь про наше знакомство. Коли проживем вместе, увидишь, что я не такой, как ты думал!

Беспечный разгул и бешеное веселье подействовали на Серебряного. Он принял кубок из рук Басманова.

– Кто тебя разберет, Федор Алексеич! Я никогда таких не видывал.

Может, и вправду ты лучше, чем кажешься. Не знаю, что про тебя и думать, но бог свел нас на ратном поле, а потому: во здравие твое!

И он осушил кубок до дна.

– Так, князь! Так, душа моя! Видит бог, я люблю тебя! Еще одну стопу на погибель всех татар, что остались на Руси!

Серебряный был крепок к вину, но после второй стопы мысли его стали путаться. Напиток ли был хмельнее обыкновенного или подмешал туда чего-нибудь Басманов, но у князя голова заходила кругом; заходила кругом, и ничего не стало видно Никите Романовичу; слышалась только бешеная песня с присвистом и топанием да голос Басманова:

– Живей, ребята! Во сне, что ли, поете? Кого хороните, воры!

Когда Серебряный пришел в себя, пение еще продолжалось, но он уже не стоял, а полусидел, полулежал на персидских подушках, Басманов старался, с помощью стремянного, напаялить на него женский летник.

– Надевай же свой опашень, боярин, – говорил он, – на дворе уже сыреть начинается!

Песенники в это время, окончив колено, переводили дух. В глазах Серебряного еще рябило, мысли его еще не совсем прояснились, и он готов был вздеть летник, принимая его за опашень, как среди наставшей тишины послышалось протяжное завыванье.

– Это что? – спросил гневно Басманов.

– На Скуратова могиле пес воет! – ответил стремянный, выглянув из шатра.

– Поддай сюда лук да стрелу, я научу его выть, когда мы с гостем веселимся.

Но при имени Скуратова Серебряный совершенно отрезвился.

– Постой, Федор Алексеич! – сказал он, вставая, – это Максимов Буян, не тронь его. Он зовет меня на могилу моего названного брата; не в меру я с тобой загулялся; прости, пора мне в путь!

– Да надень же сперва опашень, князь.

– Не на меня шит, – сказал Серебряный, распознавая летник, который протягивал ему Басманов, – носи его сам, как доселе нашивал.

И, не дожидаясь ответа, он плюнул и вышел из шатра.

За ним посыпались проклятия, ругательства и богохульства Басманова; но, не обращая на них внимания, он подошел к могиле Максима, положил поклон своему названному брату и, сопровождаемый Буяном, присоединился к разбойникам, которые под начальством Перстня уже расположились на отдых вокруг пылающих костров.

## ГЛАВА 28. Расставание

Едва занялась заря, как уж Перстень поднял шайку.

– Ребятушки! – сказал он разбойникам, когда они собрались вокруг него и Серебряного. – Настал мне час расстаться с вами. Простите, ребятушки! Иду опять на Волгу. Не поминайте меня лихом, коли я в чем согрубил перед вами.

И Перстень поклонился в пояс разбойникам.

– Атаман! – заговорила в один голос вольница, – не оставляй нас! Куда мы пойдем без тебя!

– Идите с князем, ребятушки. Вы вашим вчерашним делом заслужили вины свои; можете опять учиниться, чем прежде были, а князь не оставит вас!

– Добрые молодцы, – сказал Серебряный, – я дал царю слово, что не буду уходить от суда его. Вы знаете, что я из тюрьмы не по своей воле ушел. Теперь должен я сдержать мое слово, понести царю мою голову. Хотите ль идти со мною?

– А простит ли он нас? – спросили разбойники.

– Это в божьей воле; не хочу вас обманывать. Может, простит, а может, и нет. Подумайте, потолкуйте меж собою, да и скажите мне, кто идет и кто остается.

Разбойники переглянулись, отошли в сторону и начали вполголоса советоваться. Через несколько времени они вернулись к Серебряному.

– Идем с тобой, коли атаман идет!

– Нет, ребятушки, – сказал Перстень, – меня не просите. Коли вы и не пойдете с князем, все ж нам дорога не одна. Довольно я погулял здесь, пора на родину. Да мы же и повздорили немного, а порванную веревку как ни вяжи, все узел будет. Идите с князем, ребятушки, или выберите себе другого атамана, а лучше послушайтесь моего совета, идите с князем; не верится мне после нашего дела, чтобы царь и его и вас не простил!

Разбойники опять потолковали и после краткого совещания разделились на две части. Большая подошла к Серебряному.

– Веди нас! – сказали они, – пусть будет с нами, что и с тобой!..

– А другие-то что ж? – спросил Серебряный.

– Другие выбрали в атаманы Хлопко, мы с ним не хотим!

– Там все, что похуже, остались, – шепнул Перстень князю, – они и дрались-то вчера не так, как эти!

– А ты, – сказал Серебряный, – ни за что не пойдешь со мной?

– Нет, князь, я не то, что другие. Меня царь не простит, не таковы мои винности. Да признаться, и соскучился по Ермаке Тимофеиче; вот уж который год не видал его. Прости, князь, не поминай лихом!

Серебряный сжал руку Перстня и обнял его крепко.

– Прости, атаман, – сказал он, – жаль мне тебя, жаль, что идешь на Волгу; не таким бы тебе делом заниматься.

– Кто знает, князь, – ответил Перстень, и отважный взор его принял странное выражение, – бог не без милости, авось и не всегда буду тем, что теперь!

Разбойники стали готовиться к походу.

Когда взошло солнце, на берегу речки уже не было видно ни шатра, ни людей Басманова. Федор Алексеевич поднялся еще ночью, чтобы первому принести царю известие об одержанной победе.

Прощаясь с товарищами, Перстень увидел возле себя Митьку.

– Прости ж и ты, губошлеп! – сказал он весело, – послужил ты вчера царю за четверых, не оставит он тебя своей милостью!

Но Митька, как бы в недоумении, почесал затылок.

– Ну что? – спросил Перстень.

– Ничаво! – отвечал лениво Митька, почесывая одною рукой затылок, другою поясницу.

– Ну, ничего так ничего! – И Перстень уже было отошел, как Митька, собравшись с духом, сказал протяжно:

– Атаман, а атаман!

– Что?

– Я в Слободу не хочу!

– Куда ж ты хочешь?

– А с тобой!

– Нельзя со мной; я на Волгу иду.

– Ну и я на Волгу!

– Зачем же не с князем?

Митька подвинул одну ногу вперед и уставился, как бы в замешательстве, на свой лапоть.

– Опричников, что ли, боишься? – спросил насмешливо Перстень.

Митька стал почесывать то затылок, то бока, то поясницу, но не отвечал ничего.

– Мало ты их видел? – продолжал Перстень, – съели они тебя, что ли?

– Невесту взяли! – проговорил нехотя Митька.

Перстень засмеялся.

– Вишь, злопамятный! не хочет с ними хлеба-соли вести! Ну, примкнись к Хлопку.

– Не хочу, – сказал решительно Митька, – хочу с тобой на Волгу!

– Да я не прямо на Волгу!

– Ну и я не прямо!

– Куда ж ты?

– А куда ты, туда и я!

– Эх, пристал, как банный лист! Так знай же, что мне сперва надо в Слободе побывать!

– Зачем? – спросил Митька и выпучил глаза на атамана.

– Зачем! Зачем! – повторил Перстень, начиная терять терпение, – затем, что я там прошлого года орехи грыз, скорлупу забыл!

Митька посмотрел было на него с удивлением, но тотчас же усмехнулся и растянул рот до самых ушей, а от глаз пустил по вискам лучеобразные морщины и придал лицу своему самое хитрое выражение, как бы желая сказать: меня, брат, надуть не так-то легко; я очень хорошо знаю, что ты идешь в Слободу не за ореховою скорлупою, а за чем-нибудь другим! Однако он этого не сказал, а только повторил, усмехаясь:

– Ну и я с тобой!

– Что с ним будешь делать! – сказал Перстень, пожимая плечами. – Видно, уж не отвязаться от него, так и быть, иди со мной, дурень, только после не пеняй на меня, коли тебя повесят!

– А хоча и повесят! – отвечал Митька равнодушно.

– Ладно, парень. Вот за это люблю! Прощайся же скорей с товарищами, да и в путь!

Заспанное лицо Митьки не оживилось, но он тотчас же начал неуклюже подходить к товарищам и каждого, хотевшего и не хотевшего, чмокнул по три раза, кого добровольно, кого насильно, кого загибая за плечи, кого ухватив за голову.

– Атаман, – сказал Серебряный, – стало, мы с тобой по одной дороге?

– Нет, боярин. Где я пройду, там тебе не проехать. Я в Слободе буду прежде тебя, и если бы мы встретились, ты меня не узнавай; а впрочем, мы и не встретимся; я до твоего приезда уйду; надо только кое-какие дела покончить.

Серебряный догадался, что у Перстня было кое-что спрятано или зарыто в окрестностях Слободы, и не настаивал.

Вскоре два отряда потянулись по двум разным направлениям.

Большой шел за Серебряным вдоль речки по зеленому лугу, еще покрытому следами вчерашней битвы, и за ним, повесив голову и хвост,

тащился Буян. Он часто подбегал к Серебряному, жалобно повизгивал и потом оборачивался на свежий могильный холм, пока наконец не скрыли его из виду высокие камыши.

Другой, меньший отряд пошел за Хлопко.

Перстень удалился в третью сторону, а за ним, не спеша и переваливаясь с боку на бок, последовал Митька.

Опустела широкая степь, и настала на ней прежняя тишина, как будто браный гул и не возмущал ее накануне. Только кой-где паслись разбежавшиеся татарские кони да валялись по пожарищу разбросанные доспехи. Вдоль цветущего берега речки жаворонки по-прежнему звенели в небесной синеве, лыски перекликались в густых камышах, а мелкие птички перепархивали, чирикавая, с тростника на тростник или, заливаясь песнями, садились на пернатые стрелы, вонзившиеся в землю во время битвы и торчавшие теперь на зеленом лугу, меж болотных цветов, как будто б и они были цветы и росли там уже бог знает сколько времени.

## ГЛАВА 29. Очная ставка

С неделю после поражения татар царь принимал в своей опочивальне Басманова, только что прибывшего из Рязани. Царь знал уже о подробностях битвы, но Басманов думал, что объявит о ней первый. Он надеялся приписать себе одному всю честь победы и рассчитывал на действие своего рассказа, чтобы войти у царя в прежнюю милость.

Иван Васильевич слушал его со вниманием, перебирая четки и опустив взор на алмазное кольцо, которым был украшен указательный перст его; но когда Басманов, окончив рассказ и тряхнув кудрями, сказал с самодовольным видом:

– Что ж, государь, мы, кажется, постарались для твоей милости!

Иоанн поднял глаза и усмехнулся.

– Не пожалели себя, – продолжал вкрадчиво Басманов, – так уж и ты, государь, не пожалей наградить слугу твоего!

– А чего бы тебе хотелось, Федя? – спросил Иоанн, принимая вид добродушия.

– Да пожалуй меня хоть окольников, чтобы люди-то не корили.

Иоанн посмотрел на него пристально.

– А чем мне Серебряного пожаловать? – спросил он неожиданно.

– Опальника-то твоего? – сказал Басманов, скрывая свое смущение под свойственным ему бесстыдством, – да чем же, коли не виселицей? Ведь он ушел из тюрьмы да с своими станичниками чуть дела не испортил. Кабы не переполошил он татар, мы бы всех, как перепелов, накрыли.

– Полно, так ли? А я так думаю, что татары тебя в торока ввязали б, как в тот раз, помнишь? Ведь тебе уже не впервой, дело знакомое!

– Знакомое дело за тебя горе терпеть, – продолжал Басманов дерзко, – а вот это незнакомое, чтобы спасибо услышать. Небось тебе и Годунов, и Малюта, и Вяземский не по-моему служат, а наград ты для них не жалеешь.

– И подлинно не по-твоему. Где им плясать супротив тебя!

– Надёжа-государь, – ответил Басманов, теряя терпение, – коли не люб я тебе, отпусти меня совсем!

Басманов надеялся, что Иоанн удержит его; но отсутствие из Слободы, вместо того чтоб оживить к нему любовь Иоанна, охладило ее еще более; он успел от него отвыкнуть, а другие любимцы, особенно Малюта, оскорбленный высокомерием Басманова, воспользовались этим временем, чтоб отвратить от него сердце Иоанна.



Расчет Басманова оказался неверен. Заметно было, что царь забавляется его досадой.

– Так и быть, – сказал он с притворною горестью, – хоть и тошно мне будет без тебя, сироте одинокому, и дела-то государские, пожалуй, замутятся, да уж нечего делать, промаюсь как-нибудь моим слабым разумом. Ступай себе, Федя, на все четыре стороны! Я тебя насильно держать не стану.

Басманов не мог долее скрыть своей злобы. Избалованный прежними отношениями к Иоанну, он дал ей полную волю.

– Спасибо тебе, государь, – сказал он, – спасибо за твою хлеб-соль! Спасибо, что выгоняешь слугу своего, как негодного пса! Буду, – прибавил он неосторожно, – буду хвалиться на Руси твоею лаской! Пусть же другие послужат тебе, как служила Федора! Много грехов взял я на душу на службе твоей, одного греха не взял, колдовства не взял на душу!

Иван Васильевич продолжал усмехаться, но при последних словах выражение его изменилось.

– Колдовства? – спросил он с удивлением, готовым обратиться в гнев, – да кто ж здесь колдует?

– А хоть бы твой Вяземский! – отвечал Басманов, не опуская очей перед царским взором. – Да, – продолжал он, не смущаясь грозным выражением Иоанна, – тебе, видно, одному неведомо, что когда он бывает на Москве, то по ночам ездит в лес, на мельницу, колдовать; а зачем ему колдовать, коли не для того, чтоб известить твою царскую милость?

– Да тебе-то отчего оно ведомо? – спросил царь, пронзая Басманова испытующим оком.

На этот раз Басманов несколько струсил.

– Ведь я, государь, вчера только услышал от его же холопей, – сказал он поспешно. – Кабы услышал прежде, так тогда и доложил бы твоей милости.

Царь задумался.

– Ступай, – сказал он после краткого молчания, – я это дело разберу; а из Слободы погоди уезжать до моего приказа.

Басманов ушел, довольный, что успел заронить во мнительном сердце царя подозрение на одного из своих соперников, но сильно озабоченный холодностью государя.

Вскоре царь вышел из опочивальни в приемную палату, сел на кресло и, окруженный опричниками, стал выслушивать поочередно земских бояр, приехавших от Москвы и от других городов с докладами. Отдав каждому приказания, поговорив со многими обстоятельно о нуждах государства, о

сношениях с иностранными державами и о мерах к предупреждению дальнейшего вторжения татар, Иоанн спросил, нет ли еще кого просящего приема?

– Боярин Дружина Андреевич Морозов, – отвечал один стольник, – бьет челом твоей царской милости, просит, чтобы допустил ты его пред твои светлые очи.

– Морозов? – сказал Иоанн, – да разве он не сгорел на пожаре? Живуч старый пес! Что ж? Я снял с него опалу, пусть войдет!

Стольник вышел; вскоре толпа царедворцев раздвинулась, и Дружина Андреевич, поддерживаемый двумя знакомцами, подошел к царю и опустился перед ним на колени.

Внимание всех обратилось на старого боярина.

Лицо его было бледно, дородства много поубавилось, на лбу виден был шрам, нанесенный саблею Вяземского, но впалые очи являли прежнюю силу воли, а на сдвинутых бровях лежал по-прежнему отпечаток непреклонного упрямства.

Вопреки обычаю двора, одежда его была *смирная*.

Иоанн смотрел на Морозова, не говоря ни слова. Кто умел читать в царском взоре, тот прочел бы в нем теперь скрытую ненависть и удовольствие видеть врага своего униженным; но поверхностному наблюдателю выражение Иоанна могло показаться благосклонным.

– Дружина Андреевич, – сказал он важно, но ласково, – я снял с тебя опалу; зачем ты в смирной одежде?

– Государь, – отвечал Морозов, продолжая стоять на коленях, – не пригоже тому рядиться в парчу, у кого дом сожгли твои опричники и насильно жену увезли. Государь, – продолжал он твердым голосом, – бью тебе челом в обиде моей на оружничего твоего, Афоньку Вяземского!

– Встань, – сказал царь, – и расскажи дело по ряду. Коли кто из моих обидел тебя, не спущу я ему, будь он хотя самый близкий ко мне человек.

– Государь, – продолжал Морозов, не вставая, – вели позвать Афоньку. Пусть при мне даст ответ твоей милости!

– Что ж, – сказал царь, как бы немного подумав, – просьба твоя дельная. Ответчик должен ведать, что говорит истец. Позвать Вяземского. А вы, – продолжал он, обращаясь к знакомцам, отошедшим на почтительное расстояние, – подымите своего боярина, посадите его на скамью; пусть подождет ответчика!

Со времени нападения на дом Морозова прошло более двух месяцев. Вяземский успел оправиться от ран. Он жил по-прежнему в Слободе, но, не ведая ничего об участии Елены, которую ни один из его рассыльных не мог

отыскать, он был еще пасмурнее, чем прежде, редко являлся ко двору, отговариваясь слабостью, не участвовал в пирах, и многим казалось, что в приемах его есть признаки помешательства. Иоанну не нравилось удаление его от общих молитв и общего веселья; но он, зная о неудачном похищении боярыни, приписывал поведение Вяземского мучениям любви и был к нему снисходителен. Лишь после разговора с Басмановым поведение это стало казаться ему неясным. Жалоба Морозова представляла удобный случай вывести многое через очную ставку, и вот почему он принял Морозова лучше, чем ожидали царедворцы.

Вскоре явился Вяземский. Наружность его также значительно изменилась. Он как будто постарел несколькими годами, черты лица сделались резче, и жизнь, казалось, сосредоточилась в огненных и беспокойных глазах его.

– Подойди сюда, Афоня, – сказал царь. – Подойди и ты, Дружина. Говори, в чем твое челобитье. Говори прямо, рассказывай все как было.

Дружина Андреевич приблизился к царю. Стоя рядом с Вяземским, но не удостоивая его взгляда, он подробно изложил все обстоятельства нападения.

– Так ли было дело? – спросил царь, обращаясь к Вяземскому.

– Так! – сказал Вяземский, удивленный вопросом Иоанна, которому давно все было известно. Лицо Ивана Васильевича омрачилось.

– Как отчаялся ты на это? – сказал он, устремив на Вяземского строгий взор, – разве я позволяю разбойничать моим опричникам?

– Ты знаешь, государь, – ответил Вяземский, еще более удивленный, – что дом разграблен не по моему указу, а что я увез боярыню, на то было у меня твое дозволение!

– Мое дозволение? – произнес царь, медленно выговаривая каждое слово. – Когда я позволял тебе?

Тут Вяземский заметил, что напрасно хотел опереться на намек Ивана Васильевича, сделанный ему иносказательно во время пира, намек, вследствие которого он почел себя вправе увезти Елену силою. Не отгадывая еще цели, с какою царь отказывался от своих поощрений, он понял, однако, что надобно изменить образ своей защиты. Не из трусости и не для сохранения своей жизни, которая, при переменчивом нраве царя, могла быть в опасности, решился Вяземский оправдаться. Он не потерял еще надежды добыть Елену, и все средства казались ему годными.

– Государь, – сказал он, – я виноват перед тобой, ты не позволял мне увезти боярыню. Вот как было дело. Послал ты меня к Москве, снять опалу с боярина Морозова, а он, ты знаешь, издавна держит на меня вражду за то,

что еще до свадьбы спознался я с женою его. Как прибыл я к нему в дом, он и порешил вместе с Никитой Серебряным известить меня. После стола они с холопами напали на нас предательским обычаем; мы же дали отпор, а боярыня-то Морозова, ведая мужнину злобу, побоялась остаться у него в доме и упростила меня взять ее с собою. Уехала она от него вольною волею, а когда я в лесу обеспамятовал от ран, так и досель не знаю, куда она девалась. Должно быть, нашел ее боярин и держит где-нибудь взаперти, а может быть, и со свету сжил ее! Не ему, – продолжал Вяземский, бросив ревнивый взор на Морозова, – не ему искать на мне бесчестия. Я сам, государь, бью челом твоей милости на Морозова, что напал он на меня в доме своем вместе с Никитой Серебряным!

Царь не ожидал такого оборота. Клевета Вяземского была очевидна, но в расчет Иоанна не вошло ее обнаружить. Морозов в первый раз взглянул на врага своего.

– Лжешь ты, окаянный пес! – сказал он, окидывая его презрительно с ног до головы, – каждое твое слово есть негодная ложь; а я в своей правде готов крест целовать! Государь! вели ему, окаянному, выдать мне жену мою, с которою повенчан я по закону христианскому!

Иоанн посмотрел на Вяземского.

– Что скажешь ты на это? – спросил он, сохраняя хладнокровную наружность судьи.

– Я уже говорил тебе, государь, что увез боярыню по ее же упросу; а когда я на дороге истек кровью, холопы мои нашли меня в лесу без памяти. Не было при мне ни коня моего, ни боярыни, перенесли меня на мельницу, к знахарю; он-то и зашептал кровь. Боле ничего не знаю.

Вяземский не думал, что, упоминая о мельнице, он усилит в Иоанне зародившееся подозрение и придаст вероятие наговору Басманова; но Иоанн не показал вида, что обращает внимание на это обстоятельство, а только записал его в памяти, чтобы воспользоваться им при случае; до поры же до времени затаил свои мысли под личиною беспристрастия.

– Ты слышал? – сказал он Вяземскому, – боярин Дружина готов в своих речах крест целовать? Как очистишься перед ним?

– Боярин волен говорить, – ответил Вяземский, решившийся во что бы ни стало вести свою защиту до конца, – он волен клепать на меня, а я ищу на нем моего увечья и сам буду в правде моей крест целовать.

По собранию пробежал ропот. Все опричники знали, как совершилось нападение, и сколь ни закоренели они в злодействе, но не всякий из них решился бы присягнуть ложно.

Сам Иоанн изумился дерзости Вяземского; но в тот же миг он понял,

что может через нее погубить ненавистного Морозова и сохранить при том вид строгого правосудия.

– Братия! – сказал он, обращаясь к собранию, – свидетельствуюсь вами, что я хотел узнать истину. Не в обычае моем судить, не услышав оправдания. Но в одном и том же деле две стороны не могут крест целовать. Один из противников солживит свою присягу. Я же, яко добрый пастырь, боронящий овцы моя, никого не хочу допустить до погубления души. Пусть Морозов и Вяземский судятся судом Божиим. От сего числа через десять ден назначаю им поле, здесь в Слободе, на Красной площади. Пусть явятся с своими стряпчими и поручниками. Кому бог даст одоление, тот будет чист и передо мною, а кто не вынесет боя, тот, хотя бы и жив остался, тут же примет казнь от рук палача!

Решение Иоанна произвело в собрании сильное впечатление. Во мнении многих оно равнялось для Морозова смертному приговору. Нельзя было думать, чтобы престарелый боярин устоял против молодого и сильного Вяземского. Все ожидали, что он откажется от поединка или, по крайней мере, попросит позволения поставить вместо себя наемного бойца. Но Морозов поклонился царю и сказал спокойным голосом:

– Государь, пусть будет по-твоему! Я стар и хвор, давно не надевал служилой брони; но в Божьем суде не сила берет, а правое дело! Уповаю на помощь Господа, что не оставит он меня в правом деле моем, покажет пред твоею милостью и пред всеми людьми неправду врага моего!

Услыша царский приговор, Вяземский было обрадовался, и очи его уже запылали надеждой; но уверенность Морозова немного смутила его. Он вспомнил, что, по общепринятому понятию, в судном поединке бог неминуемо дарует победу правой стороне, и невольно усумнился в своем успехе.

Однако, подавив минутное смущение, он также поклонился царю и произнес:

– Да будет по-твоему, государь!

– Ступайте, – сказал Иоанн, – ищите себе поручников, а через десять ден, с восходом солнца, будьте оба на Красной площади, и горе тому, кто не выдержит боя!

Бросив на обоих глубокий необъяснимый взор, царь встал и удалился во внутренние покои, а Морозов вышел из палаты, полный достоинства, в сопровождении своих знакомцев, не глядя на окружающих его опричников.

## ГЛАВА 30. Заговор на железо

На следующий день Вяземский уехал к Москве.

Во всякое другое время, готовясь к поединку, он положился бы на свою силу и ловкость; но дело шло об Елене. Поединок был не простой; исход его зависел от суда божия, а князь знал свою неправость, и сколь ни показался бы ему Морозов презрителен в обыкновенной схватке, но в настоящем случае он опасался небесного гнева, страшился, что во время боя у него онемеют или отымутся руки. Опасение это было тем сильнее, что недавно зажившие раны еще причиняли ему боль и что по временам он чувствовал слабость и изнеможение. Князь не хотел ничем пренебрегать, чтоб упрочить за собою победу, и решился обратиться к знакомому мельнику, взять у него какого-нибудь зелья и сделать чрез колдовство удары свои неотразимыми.

Полный раздумья и волнений, ехал он по лесу шагом, наклоняясь время от времени на седле и разбирая тропинки, заросшие папоротником. После многих поворотов попал он на более торную дорогу, осмотрелся, узнал на деревьях заметы и пустил коня рысью. Вскоре послышался шум колеса. Подъезжая к мельнице, князь вместе с шумом стал различать человеческий говор. Он остановился, слез с седла и, привязав коня в орешнике, подошел к мельнице пешком. У самого сруба стоял чей-то конь в богатой сбруе. Мельник разговаривал с стройным человеком, но Вяземский не мог видеть лица его, потому что незнакомец повернулся к нему спиною, готовясь сесть в седло.

– Будешь доволен, боярин, – говорил ему мельник, утвердительно кивая головою, – будешь доволен, батюшка! Войдешь опять в царскую милость, и чтобы гром меня тут же прихлопнул, коли не пропадет и Вяземский, и все твои вороги! Будь спокоен, уж противу тирлича-травы ни один не устоит!

– Добро, – отвечал посетитель, взлезая на коня, – а ты, старый черт, помни наш уговор: коли не будет мне удачи, повешу тебя как собаку!

Голос показался Вяземскому знаком, но колесо шумело так сильно, что он остался в недоумении, кто именно был говоривший.

– Как не быть удаче, как не быть, батюшка, – продолжал мельник, низко кланяясь, – только не сымай с себя тирлича-то; а когда будешь с царем говорить, гляди ему прямо и весело в очи; смело гляди ему в очи, батюшка, не показывай страху-то; говори ему шутки и прибаутки, как

прежде говаривал, так будь я анафема, коли опять в честь не войдешь!

Всадник повернул коня и, не замечая Вяземского, проехал мимо его рысью.

Князь узнал Басманова, и ревнивое воображение его закипело. Занятый одною мыслью об Елене, он не обратил внимания на речи мельника, но, услышав свое имя, подумал, что видит в Басманове нового неожиданного соперника.

Мельник между тем, проводив глазами Басманова, присел на заваленку и принялся считать золотые деньги. Он весело ухмылялся, перекладывая их с ладони на ладонь, как вдруг почувствовал на плече своем тяжелую руку.

Старик вздрогнул, вскочил на ноги и чуть не обмер от страха, когда глаза его встретились с черными глазами Вяземского.

– О чем ты, колдун, с Басмановым толковал? – спросил Вяземский.

– Ба... ба... батюшка! – произнес мельник, чувствуя, что ноги под ним подкашиваются, – батюшка, князь Афанасий Иваныч, как изволишь здравствовать?

– Говори! – закричал Вяземский, схватив мельника за горло и таща его к колесу, – говори, что вы про меня толковали? И он перегнул старика над самым шумом.

– Родимый! – простонал мельник, – все скажу твоей милости, все скажу, батюшка, отпусти лишь душу на покаяние.

– Зачем приезжал к тебе Басманов?

– За корнем, батюшка, за корнем! А я ведь знал, что ты тут, я знал, что ты все слышишь, батюшка; затем-то я и говорил погромче, чтобы ведомо тебе было, что Басманов хочет погубить твою милость!

Вяземский отшвырнул мельника от става.

Старик понял, что миновался первый порыв его гнева.

– Какой же ты, родимый, сердитый! – сказал он, поднимаясь на ноги. – Говорю тебе, я знал, что твоя милость близко; я с утра еще ожидал тебя, батюшка!

– Ну, что же хочет Басманов? – спросил князь смягченным голосом.

Мельник между тем успел совершенно оправиться.

– Да, вишь ты, – сказал он, придавая лицу своему доверчивое выражение, – говорит Басманов, что царь разлюбил его, что тебя, мол, больше любит и что тебе, да Годунову Борису Федорычу, да Малюте Скурлатову только и идет от него ласка. Ну, и пристал ко мне, чтобы дал ему тирлича. Дай, говорит, тирлича, чтобы мне в царскую милость войти, а их чтобы разлюбил царь и опалу чтобы на них положил! Что ты будешь с

ним делать! Пристал с ножом к горлу, вынь да положь; не спорить мне с ним! Ну и дал я ему корешок, да и корешок-то, батюшка, дрянной. Так, завалящий корешишка дал ему, чтобы только жива оставил. Стану я ему тирлича давать, чтобы супротив тебя его царь полюбил!

– Черт с ним! – сказал равнодушно Вяземский. – Какое мне дело, любит ли царь его или нет! Не за тем я сюда приехал. Узнал ли ты что, старик, про боярыню?

– Нет, родимый, ничего не узнал. Я и гонцам твоим говорил, что нельзя узнать. А уж как старался-то я для твоей милости! Семь ночей сряду глядел под колесо. Вижу, едет боярыня по лесу, сам-друг со старым человеком; сама такая печальная, а стар человек ее утешает, а боле ничего и не видно; вода замутится, и ничего боле не видно!

– Со старым человеком? Стало быть, с Морозовым? С мужем своим?

– Нет, не должно быть: Морозов будет подороднее, да и одежда-то его другая. На этом простой кафтан, не боярский; должно быть, простой человек!

Вяземский задумался.

– Старик! – сказал он вдруг, – умеешь ты сабли заговаривать?

– Как не уметь, умею. Да тебе на что, батюшка? Чтобы рубила сабля али чтоб тупилась от удара?

– Вестимо, чтобы рубила, леший!

– А то, бывает, заговаривают вражьи сабли, чтобы тупились али ломались о бронь...

– Мне не вражью саблю заговаривать, а свою. Я буду биться на поле, так надо мне во что бы ни стало супротивника убить, слышишь?

– Слышу, батюшка, слышу! Как не слышать! – И старик начал про себя думать: «С кем же это он будет биться? Кто его враги? Уж не с Басмановым ли? Навряд ли! Он сейчас о нем отзывался презрительно, а князь не такой человек, чтоб умел скрывать свои мысли. Разве с Серебряным?» Но мельник знал через Михеича, что Серебряный вкинут в тюрьму, а от посланных Вяземского, да и от некоторых товарищей Перстня слышал, что станичники освободили Никиту Романыча и увели с собой; стало быть, не с Серебряным. Остается один боярин Морозов. Он за похищение жены мог вызвать Вяземского. Правда, он больно стар, да и в судном поединке допускается поставить вместо себя другого бойца. «Стало быть, – расчел мельник, – князь будет биться или с Морозовым, или с наймитом его».

– Дозволь, батюшка, – сказал он, – воды зачерпнуть, твоего супостата посмотреть!

– Делай как знаешь, – возразил Вяземский и сел, в раздумье, на



сваленный пенё.

Мельник вынес из каморы бадью, опустил ее под самое колесо и, зачерпнув воды, поставил возле князя.

– Эх, эх! – сказал он, нагнувшись над бадьей и глядя в нее пристально, – видится мне твой супротивник, батюшка, только в толк не возьму! Больно он стар. А вот и тебя вижу, батюшка, как ты сходишься с ним...

– Что ж? – спросил Вяземский, тщетно стараясь увидеть что-нибудь в бадье.

– Ангелы стоят за старика, – продолжал мельник таинственно и как бы сам удивленный тем, что он видит, – небесные силы стоят за него; трудно будет заговорить твою саблю!

– А за меня никто не стоит? – спросил князь с невольною дрожью.

Мельник смотрел все пристальнее, глаза его сделались совершенно неподвижны; казалось, он, начав морочить Вяземского, был поражен действительным видением и ему представилось что-то страшное.

– И у твоей милости, – сказал он шепотом, – есть защитники... А вот теперь уж ничего не вижу, вода потемнела!

Он поднял голову, и Вяземский заметил, что крупный пот катился со лба его.

– Есть и у тебя защитники, батюшка, – прошептал он боязливо. – Можно будет заговорить твое оружие.

– На, – сказал князь, вынимая из ножен тяжелую саблю, – на, заговаривай!

Мельник перевел дух, разгреб руками яму и вложил в нее рукоять сабли. Затоптав землю, он утвердил лезвием острием вверх и начал ходить кругом, причитывая вполголоса:

– «Выкатило солнышко из-за моря Хвалынского, восходил месяц над градом каменным, а в том граде каменном породила меня матушка и, рожая, приговаривала: будь ты, мое дитятко, цел-невредим – от стрел и мечей, от бойцов и борцов. Опоясывала меня матушка мечом-кладенцом. Ты, мой меч-кладенец, вертись и крутись, ты вертись и крутись, как у мельницы жернова вертятся, ты круши и кроши всяку сталь, и уклад, и железо, и медь; пробивай, прорубай всяко мясо и кость; а вражьи удары чтобы прядали от тебя, как камни от воды, и чтобы не было тебе от них ни царапины, ни зазубрины! Заговариваю раба Афанасья, опоясываю мечом-кладенцом. Чур слову конец, моему делу венец!»

Он вытащил саблю и подал ее князю, отряхнув с рукояти землю и бережно обтерев ее полою.

– Возьми, батюшка, князь Афанасий Иваныч. Будет она тебе служить, лишь бы супротивник твой свою саблю в святую воду не окунул!

– А если окунет?

– Что ж делать, батюшка! Против святой воды наговорное железо не властно. Только, пожалуй, и этому пособить можно. Дам я тебе голубца болотного, ты его в мешочке на шею повесишь, так у врага своего глаза отведешь.

– Подавай голубец! – сказал Вяземский.

– Изволь, батюшка, изволь; для твоей княжеской милости и голубца не пожалею.

Старик сходил опять в камору и принес князю что-то зашитое в тряпице.

– Дорого оно мне досталось, – сказал он, как бы жалея выпустить из рук тряпицу, – трудно его добывать. Как полезешь за ним не в урочный час в болото, такие на тебя нападут страхи, что господи упаси!

Князь взял зашитый предмет и бросил мельнику мошну с золотыми.

– Награди господь твою княжескую милость! – сказал старик, низко кланяясь. – Только, батюшка, дозволю еще словцо тебе молвить: теперь уже до поединка-то в церковь не ходи, обедни не слушай; не то, чего доброго! и наговор-то мой с лезвья соскочит.

Вяземский ничего не отвечал и направился было к месту, где привязал коня, но вдруг остановился.

– А можешь ты, – сказал он, – наверно узнать, кто из нас жив останется?

Мельник замялся.

– Да, должно быть, ты, батюшка! Как тебе живу не остаться! Я тебе и прежде говаривал: не от меча твоей милости смерть написана! – Посмотри еще раз в бадью!

– Что ж еще смотреть, батюшка! Теперь ничего не увидишь, и вода-то уж помутилась.

– Зачерпни свежей воды! – сказал Вяземский повелительно.

Мельник повиновался нехотя.

– Ну, что там видно? – спросил князь нетерпеливо.

Старик с приметным отвращением нагнулся над бадьею.

– Ни тебя не видно, батюшка, ни супротивника твоего! – сказал он, бледнея, – видна площадь, народу полна; много голов на кольях торчит; а в стороне костер догорает и человеческие кости к столбу прикованы!

– Чьи головы на кольях торчат? – спросил Вяземский, пересиливая невольный страх.

– Не вижу, батюшка, все опять помутилось; один костер еще светится, да кости чьи-то висят у столба!

Мельник с усилием поднял голову и, казалось, с трудом отвел взор от бадьи. Его дергали судороги, пот катился с лица его; он, стоная и охая, дотащился до завалины и упал на нее в изнеможении.

Вяземский отыскал своего коня, сел в седло и, полный раздумья, поехал к Москве.

## ГЛАВА 31. Божий суд

В отсутствие Вяземского Малюте было поручено важное дело. Царь приказал ему захватить ближайших слуг князя Афанасья Ивановича и пытаться их накрепко, ездил ли господин их на мельницу колдовать, и сколько раз он был на мельнице, и что именно замышляет противу его, государского, здравия?

Большая часть слуг не созналась ни в чем, но некоторые не выдержали пытки и показали все то, что Малюта вложил им в уста. Показали они, что князь ездил на мельницу с тем, чтоб испортить государя, что он вымал царские следы и жег их на огне; а некоторые показали даже, что Вяземский мыслит ко князю Владимиру Андреевичу и хочет посадить его на царский престол. Сколь ни были нелепы эти показания, они тщательно записывались дьяками со слов истязаемых и прочитывались царю. Верил ли им Иван Васильевич или нет – бог весть! Но он строго приказал Малюте, по возвращении Вяземского, скрыть от него причину, по которой захвачены его слуги, а сказать, что взяты-де они по подозрению в воровстве из царских кладовых.

В показаниях их, однако, было много противоречий, и Иоанн послал за Басмановым, чтобы заставить его повторить все, что он, по доносу своему, слышал от холопей Вяземского.

Басманова не нашли в Слободе. Он накануне уехал к Москве, и царь опалился, что осмелился он отлучиться вопреки его приказанию. Малюта воспользовался этим, чтобы взвести подозрение на самого Басманова.

– Кто знает, государь, – сказал Скуратов, – зачем он ослушался твоей милости? Быть может, он заодно с Вяземским и только для виду донес на него, чтобы вернее погубить тебя!

Царь велел Малюте пока молчать обо всем и, когда воротится Басманов, не показывать ему вида, что его отсутствие было замечено.

Между тем настал день, назначенный для судного поединка. Еще до восхода солнца народ столпился на Красной площади; все окна были заняты зрителями, все крыши ими усыпаны. Весть о предстоящем бое давно разнеслась по окрестностям. Знаменитые имена сторон привлекли толпы из разных сел и городов, и даже от самой Москвы приехали люди всех сословий посмотреть, кому господь дарует одоление в этом деле.

– Ну-ка, брат, – говорил один щегольски одетый гусяр своему товарищу, дюжему молодому парню с добродушным, но глуповатым

лицом, – ступай вперед, авось тебе удастся продраться до цепи. Эх, народу, народу-то! Дайте пройти, православные, дайте и нам, владимирцам, на суд божий посмотреть!

Но увещания его оставались безуспешны. Толпа была так густа, что и при добром желании не было бы возможности посторониться.

– Да ступай же, тюлень ты этакий! – повторил гусляр, толкая товарища в спину, – аль не сумеешь продраться?

– А для ча! – отвечал вялым голосом детина.

И, выставив вперед дюжее плечо свое, он принялся раздвигать толпу, словно железным клином. Раздались крики и ругательства, но оба товарища подвигались вперед, не обращая на них внимания.

– Правей, правей! – говорил старший, – чего стал влево забирать, дурень? Сверли туда, где копыя торчат!

Место, на которое указывал гусляр, было приготовлено для самого царя. Оно состояло из дощатого помоста, покрытого червленым сукном. На нем были поставлены царские кресла, а торчавшие там копыя и рогатины принадлежали опричникам, окружавшим помост. Другие опричники стояли у цепи, протянутой вокруг поля, то есть просторного места, приготовленного для конного или пешего боя, смотря по уговору бойцов. Они отгоняли народ бердышами и не давали ему напирать на цепь.

Подвигаясь вперед шаг за шагом, гусляр и дюжий парень добрались наконец до самого поля.

– Куда лезете! – закричал один опричник, замахнувшись на них бердышом.

Парень разинул рот и в недоумение обернулся на своего товарища, но тот снял обеими руками свой поярковый грешневик, обвитый золотой лентой с павлиным пером, и, кланяясь раз за разом в пояс, сказал опричнику:

– Дозвольте, господа честные, владимирским гуслярм суд божий посмотреть! От самого от города Володимира пришли! Дозвольте постоять, господа честные!

И лукаво заискивающею улыбкой он выказывал из-под черной бороды свои белые зубы.

– Ну, так и быть! – сказал опричник, – назад уж не пролезете; стойте здесь; только чур вперед не подаваться, башку раскрою!

Внутри оцепленного места расхаживали поручники и стряпчие обеих сторон. Тут же стояли боярин и окольничий, приставленные к полю, и два дьяка, которым вместе с ними надлежало наблюдать за порядком боя. Одни из дьяков держал развернутый судебник Владимира Гусева, изданный еще

при великом князе Иоанне Васильевиче III, и толковал с товарищем своим о предвиденных случаях поединка.

– «А досудятся до поля, – читал он, указывая пальцем на одно место в судебнике, – а у поля, не стояв, помирятся...» – как дьяка прервали восклицания толпы.

– Царь едет! Царь едет! – говорили все, волнуясь и снимая шапки.

Окруженный множеством опричников, Иван Васильевич подъехал верхом к месту поединка, слез с коня, взошел по ступеням помоста и, поклонившись народу, опустился на кресла с видом человека, готовящегося смотреть на интересное зрелище.

Позади и около него разместились стоя царедворцы.

В то же время на всех слободских церквях зазвонили колокола, и с двух противоположных концов въехали во внутренность цепи Вяземский и Морозов, оба в боевых нарядах. На Морозове был дощатый доспех, то есть стальные бахтерцы из наборных блях, наведенных через ряд серебром. Наручи, рукавицы и поножи блестели серебряными разводами. Голову покрывал высокий шишак с серебром и чернью, и из-под венца его падала на плечи боярина кольчатая бармица, скрещенная на груди и укрепленная круглыми серебряными бляхами. У бедра его висел на узорном поясе, застегнутом крюком, широкий прямой тесак, которого крыж, ножновые обоймицы и наконечник были также серебряные.

К правой стороне седла привешен был концом вниз золоченый шестопер, оружие и знак достоинства, в былые годы неразлучный с боярином в его славных битвах, но ныне, по тяжести своей, вряд ли кому по руке.

Под Морозовым был грудастый черно-пегий конь с подпалинами. Его покрывал бархатный малиновый чалдар, весь в серебряных бляхах. От кованого налобника падали по сторонам малиновые шелковые морхи, или кисти, перевитые серебряными нитками, а из-под шеи до самой груди висела такая же кисть, больше и гуще первых, называвшаяся наузом. Узда и поводья состояли из серебряных цепей с плоскими вырезными звеньями неравной величины.

Мерно шел конь, подымая косматые ноги в серебряных наколенниках, согнувши толстую шею, и когда Дружина Андреевич остановил его саженьях в пяти от своего противника, он стал трясти густою волнистою гривой, достававшею до самой земли, грызть удила и нетерпеливо рыть песок сильным копытом, выказывая при каждом ударе блестящие шипы широкой подковы. Казалось, тяжелый конь был подобран под стать дородного всадника, и даже белый цвет его гривы согласовался с седою

бородой боярина.

Вооружение Вяземского было гораздо легче. Еще страдая от недавних ран, он не захотел надеть ни зеркала, ни бахтерцов, хотя они и считались самою надежною броней, но предпочел им легкую кольчугу. Ее ожерелье, подол и зарукавья горели дорогими камнями. Вместо шишака на князе была ерихонка, то есть низкий, изящно выгнутый шлем, имевший на венце и ушах золотую насечку, а на тулье высокий сноп из дрожащих золотых проволок, густо усыпанных во всю длину их яхонтовыми искрами. Сквозь полку шлема проходила отвесно железная золоченая стрела, предохранявшая лицо от поперечных ударов; но Вяземский, из удалства, не спустил стрелы, а напротив, поднял ее посредством щурепца до высоты яхонтового снопа, так что бледное лицо его и темная борода оставались совершенно открыты, а стрела походила на золотое перо, щегольски воткнутое в полку ерихонки. На поясе, плотно стянутом пряжкой поверх кольчуги и украшенном разными привесками, звенцами и бряцальцами, висела кривая сабля, вся в дорогих камнях, та самая, которую заговорил мельник и на которую теперь твердо надеялся Вяземский. У бархатного седла фиолетового цвета с горохатыми серебряными гвоздями и с такими же коваными скобами прикреплен был булатный топорок с фиолетовым бархатным черенком в золотых поясках. Из-под нарядного подола кольчуги виднелась белая шелковая рубаша с золотым шитьем, падавшая на зарбасные штаны жаркого цвета, всунутые в зеленые сафьянные сапоги, которых узорные голенищи, не покрытые поножами, натянуты были до колен и перехватывались под сгибом и у щиколоток жемчужною тесьмою.

Конь Афанасья Ивановича, золотисто-буланый аргамак, был весь увешан, от головы до хвоста, гремучими цепями из дутых серебряных бубенчиков. Вместо чепрака или чалдара пардовая кожа покрывала его спину. На вороненом налобнике горели в золотых гнездах крупные яхонты. Сухие черные ноги горского скакуна не были вовсе подкованы, но на каждой из них, под бабкой, звенело по одному серебряному бубенчику.

Давно уже слышалось на площади звонкое ржание аргамака. Теперь, подняв голову, раздув огненные ноздри и держа черный хвост на отлете, он сперва легкою поступью, едва касаясь земли, двинулся навстречу коню Морозова; но когда князь, не съезжаясь с противником, натянул гремучие поводья, аргамак прыгнул в сторону и перескочил бы через цепь, если бы седок ловким поворотом не заставил его вернуться на прежнее место. Тогда он взвился на дыбы и, крутясь на задних ногах, норовил опрокинуться навзничь, но князь нагнул на луку, отпустил ему поводья и вонзил в бока его острые кизилбашские стремена. Аргамак сделал скачок и остановился

как вкопанный. Ни один волос его черной гривы не двигался. Налитые кровью глаза косились по сторонам, и по золотистой шерсти разбегались надутые жилы узорною сеткой.

При появлении Вяземского, когда он въехал, гремя и блестя и словно обрызганный золотым и алмазным дождем, владимирский гусляр не мог удержаться от восторга; но удивление его относилось еще более к коню, чем ко всаднику.

– Эх, конь! – говорил он, топая ногами и хватаясь в восхищении за голову, – экий конь! подумаешь. И не видывал такого коня! Ведь всякие перебивали, а небось такого бог не послал! Что бы, – прибавил он про себя, – что бы было в ту пору этому седоку, как он есть, на Поганую Лужу выехать! Слышь ты, – продолжал он весело, толкая локтем товарища, – слышь ты, дурень, который конь тебе боле по сердцу?

– А тот! – отвечал парень, указывая пальцем на морозовского коня.

– Тот? А зачем же тот?

– А затем, что поплотняе! – ответил парень лениво.

Гусляр залился смехом, но в это время раздался голос бирючей:

– Православные люди! – кричали они в разные концы площади, – начинается судный бой промеж оружничего царского, князь Афанасья Иваныча Вяземского и боярина Дружины Андреича Морозова. Тягаются они в бесчестии своем, в бою, и увечье, и в увозе боярыни Морозовой! Православные люди! Молитесь пресвятой троице, дабы даровала она одоление правой стороне!

Площадь затихла. Все зрители стали креститься, а боярин, приставленный ведать поединок, подошел к царю и проговорил с низким поклоном:

– Прикажешь ли, государь, начинаться полю?

– Зачинайте! – сказал Иоанн.

Боярин, окольничий, поручники, стряпчие и оба дьяка отошли в сторону.

Боярин подал знак.

Противники вынули оружие.

По другому знаку надлежало им скакать друг на друга, но, к изумлению всех, Вяземский закачался на седле и выпустил из рук поводья. Он свалился бы на землю, если б поручник и стряпчий не подбежали и не помогли ему сойти с коня. Подоспевшие конюхи успели схватить аргамака под уздцы.

– Возьмите его! – сказал Вяземский, озираясь померкшими очами, – я буду биться пешой!



Видя, что князь сошел с коня, Морозов также слез с своего черного и отдал его конюхам.

Стряпчий Морозова подал ему большой кожаный щит с медными бляхами, приготовленный на случай пешего боя.

Стряпчий Вяземского поднес ему также щит, вороненый, с золотою насечкой и золотою бахромой.

Но Афанасий Иванович не имел силы вздеть его на руку. Ноги под ним подкосились, и он упал бы вторично, если б его не подхватили.

– Что с тобой, князь? – сказали в один голос стряпчий и поручник, с удивлением глядя ему в очи, – оправься, князь! У поля не стоять, все равно, что побиту быть!

– Сымите с меня бронь! – проговорил Вяземский, задыхаясь, – сымите бронь! Корень душит меня!

Он сбросил с себя ерихонку, разорвал ожерелье кольчуги и сдернул с шеи гайтан, на котором висела шелковая ладанка с болотным голубцом.

– Анафема тебе, колдун! – вскричал он, бросая гайтан далеко от себя, – анафема, что обманул меня!

Дружина Андреевич подошел к Вяземскому с голым тесаком.

– Сдавайся, пес, – сказал он, замахнувшись, – сознайся в своем окаянстве!

Поручники и стряпчие бросились между князя и Морозова.

– Нет! – сказал Вяземский, и отуманенный взор его вспыхнул прежнею злобою, – рано мне сдаваться! Ты, старый ворон, испортил меня! Ты свой тесак в святую воду окунул! Я поставлю за себя бойца, и тогда увидим, чья будет правда!

Между стряпчими обеих сторон зачался спор. Один утверждал, что суд окончен в пользу Морозова, другой, что суда вовсе не было, потому что не было боя.

Царь между тем заметил движение Вяземского и велел подать себе брошенную им ладанку. Осмотрев ее с любопытством и недоверчивостью, он позвал Малюту.

– Схорони это! – шепнул он, – пока не спрошу! А теперь, – произнес он громко, – подвести ко мне Вяземского!

– Что, Афоня? – сказал он, усмехаясь двусмысленно, когда подошел к нему Вяземский, – видно, Морозов тебе не под силу?

– Государь, – ответил князь, которого лицо было покрыто смертельною бледностью, – враг мой испортил меня! Да к тому ж я с тех пор, как оправился, ни разу брони не надевал. Раны мои открылись; видишь, как кровь из-под кольчуги бежит! Дозволь, государь, бирюч кликнуть, охотника

вызвать, чтобы вместо меня у поля стал!

Домогательство Вяземского было противно правилам. Кто не хотел биться сам, должен был объявить о том заранее. Вышедши раз на поединок, нельзя было поставить вместо себя другого. Но царь имел в виду гибель Морозова и согласился.

– Вели кричать бирюч, – сказал он, – авось кто поудалее тебя найдется! А не выйдет никто, Морозов будет чист, а тебя отдадут палачам!

Вяземского отвели под руки, и вскоре, по приказанию его, глашатаи стали ходить вдоль цепи и кричать громким голосом:

– Кто хочет из слободских, или московских, или иных людей выйти на боярина Морозова? Кто хочет биться за князя Вяземского? Выходите, бойцы, выходите стоять за Вяземского!

Но площадь оставалась безмолвна, и ни один охотник не являлся.

– Выходите, охотники, добрые бойцы! – кричали бирючи, – выходите! Кто побьет Морозова, тому князь все свои вотчины отдаст, а буде побьет простой человек, тому князь пожалует всю казну, какая есть у него!

Никто не откликался; все знали, что дело Морозова свято, и царь, несмотря на ненависть свою к Дружине Андреевичу, уже готовился объявить его правым, как вдруг послышались крики:

– Идет охотник! Идет! – И внутри оцепленного места явился Матвей Хомяк.

– Гойда! – сказал он, свистнув саблею по воздуху. – Подходи, боярин, я за Вяземского!

При виде Хомяка Морозов, дожидавшийся доселе с голым тесаком, обратился с негодованием к приставам поединка.

– Не стану биться с наймитом! – произнес он гордо. – Невместно боярину Морозову меряться со стремянным Гришки Скуратова.

И, опустив тесак в ножны, он подошел к месту, где сидел царь.

– Государь, – сказал он, – ты дозволил врагу моему поставить бойца вместо себя; дозвожь же и мне найти наймита против наймита, не то вели отставить поле до другого раза.

Как ни желал Иван Васильевич погубить Морозова, но просьба его была слишком справедлива. Царю не захотелось в божьем суде прослыть пристрастным.

– Кричи бирюч! – сказал он гневно, – а если не найдешь охотника, бейся сам или сознайся в своей кривде и ступай на плаху!

Между тем Хомяк прохаживался вдоль цепи, махая саблей и посмеиваясь над зрителями.

– Вишь, – говорил он, – много вас, ворон, собралось, а нет ни одного

ясного сокола промеж вас! Что бы хоть одному выйти, мою саблю обновить, государя потешить! Молотимши, видно, руки отмахали! На печи лежа, бока отлежали!

– Ах ты черт! – проговорил вполголоса гусяр. – Уж я б тебе дал, кабы была при мне моя сабля! Смотри! – продолжал он, толкая под бок товарища, – узнаешь ты его?

Но парень не слышал вопроса. Он разинул рот и, казалось, впился глазами в Хомяка.

– Что ж? – продолжал Хомяк, – видно, нет между вами охотников? Эй вы, аршинники, калашники, пряхи, ткачихи? Кто хочет со мной померяться?

– А я? – раздался неожиданно голос парня, и, ухватясь обеими руками за цепь, он перекинул ее через голову и чуть не вырвал дубовых кольев, к которым она была приделана.

Он очутился внутри ограды и, казалось, сам был удивлен своею смелостью.

Выпучив глаза и разиня рот, он смотрел то на Хомяка, то на опричников, то на самого царя, но не говорил ни слова.

– Кто ты? – спросил его боярин, приставленный к полю.

– Я-то? – сказал он и, подумав немного, усмехнулся.

– Кто ты? – повторил боярин.

– А Митька! – ответил он добродушно и как бы удивляясь вопросу.

– Спасибо тебе, молодец! – сказал Морозов парню, – спасибо, что хочешь за правду постоять. Коли одолеешь врага моего, не пожалею для тебя казны. Не все у меня добро разграблено; благодаря божьей милости, есть еще чем бойца моего наградить!

Хомяк видел Митьку на Поганой Луже, где парень убил под ним коня ударом дубины и, думая навалиться на всадника, притиснул под собою своего же товарища. Но в общей свалке Хомяк не разглядел его лица, да, впрочем, в Митькиной наружности и не было ничего примечательного. Хомяк не узнал его.

– Чем хочешь ты драться? – спросил приставленный к полю боярин, глядя с любопытством на парня, у которого не было ни брони, ни оружия.

– Чем драться? – повторил Митька и обернулся назад, отыскивая глазами гусяра, чтобы с ним посоветоваться.

Но гусяр, видно, отошел на другое место, и сколько ни глядел Митька, он не мог найти его.

– Что ж, – сказал боярин, – бери себе саблю да бронь, становись к полю!

Митька стал озиаться в замешательстве.

Царю показались приемы его забавными.

– Дать ему оружие! – сказал он. – Посмотрим, как он умеет биться!

Митьке подали полное вооружение; но он, сколько ни старался, никак не мог пролезть в рукава кольчуги, а шлем был так мал для головы его, что держался на одной макушке.

В этом наряде Митька, совершенно растерянный, оборачивался то направо, то налево, все еще надеясь найти гуслера и спросить его, что ему делать?

Глядя на него, царь начал громко смеяться. Примеру его последовали сперва опричники, а потом и все зрители.

– Чаво вы горла дярете-то? – сказал Митька с неудовольствием, – я и без вашего колпака и без железной рубахи-то на энтова пойду!

Он указал пальцем на Хомяка и начал стаскивать с себя кольчугу.

Раздался новый хохот.

– С чем же ты пойдешь? – спросил боярин.

Митька почесал затылок.

– А нет у вас дубины? – спросил он протяжно, обращаясь к оприщикам.

– Да что это за дурень? – вскричали они, – откуда он взялся? Кто его втолкнул сюда? Или ты, болван, думаешь, мы по-мужицки дубинами бьемся?

Но Иван Васильевич забавлялся наружностью Митьки и не позволил прогнать его.

– Дать ему ослоп, – сказал он, – пусть бьется как знает!

Хомяк обиделся.

– Государь, не вели мужику на холопа твоего порухи класть! – воскликнул он. – Я твоей царской милости честно в опричниках служу и сроду еще на ослопах не бился!

Но царь был в веселом расположении духа.

– Ты бейся саблей, – сказал он, – а парень пусть бьется по-своему. Дать ему ослоп. Посмотрим, как мужик за Морозова постоит!

Принесли несколько дубин.

Митька взял медленно в руки одну за другой, осмотрел каждую и, перебрав все дубины, повернулся прямо к царю.

– А нет ли покрепчае? – произнес он вялым голосом, глядя вопросительно в очи Ивану Васильевичу.

– Принести ему оглоблю, – сказал царь, заранее потешаясь ожидающим его зрелищем.

Вскоре в самом деле явилась в руках Митьки тяжелая оглобля, которую опричники вывернули насмех из стоявшего на базаре воза.

– Что, эта годится? – спросил царь.

– А для ча! – отвечал Митька, – пожалуй, годится.

И, схватив оглоблю за один конец, он для пробы махнул ею по воздуху так сильно, что ветер пронесся кругом и пыль закружилась, как от налетевшего вихря.

– Вишь, черт! – промолвили, переглянувшись, опричники.

Царь обратился к Хомяку.

– Становись! – сказал он повелительно и прибавил с усмешкой: – Погляжу я, как ты увернешься от мужицкого ослопа!

Митька между тем засучил рукава, плюнув в обе руки и сжавши ими оглоблю, потряхивал ею, глядя на Хомяка. Застенчивость его исчезла.

– Ну, ты! становись, што ли! – произнес он с решимостью. – Я те научу нявест красть!

Положение Хомяка, ввиду непривычного оружия и необыкновенной силы Митьки, было довольно затруднительно, а зрители очевидно принимали сторону парня и уже начинали посмеиваться над Хомяком.

Замешательство стремянного веселило царя. Он уже смотрел на предстоящий бой с тем самым любопытством, какое возбуждали в нем представления скоморохов или медвежья травля.

– Зачинайте бой! – сказал он, видя, что Хомяк колеблется.

Тогда Митька поднял над головою оглоблю и начал кружить ее, подступая к Хомяку скоком.

Тщетно Хомяк старался улучшить мгновение, чтобы достать Митьку саблей. Ему оставалось только поспешно сторониться или увертываться от оглобли, которая описывала огромные круги около Митьки и делала его недосягаемым.

К великой радости зрителей и к немалой потехе царя, Хомяк стал отступать, думая только о своем спасении; но Митька с медвежьей ловкостью продолжал к нему подсакивать, и оглобля, как буря, гудела над его головою.

– Я те научу нявест красть! – говорил он, входя постепенно в ярость и стараясь задеть Хомяка по голове, по ногам и по чем ни попало.

Участие зрителей к Митьке проявлялось одобрительными восклицаниями и наконец дошло до восторга.

– Так! Так! – кричал народ, забывая присутствие царя, – хорошенько его! Ай да парень! Отстаивай Морозова, стой за правое дело!

Но Митька думал не о Морозове.

– Я те научу нявест красть! – приговаривал он, кружа над собою оглоблю и преследуя Хомяка, который увивался от него во все стороны.

Несколько раз опричникам, стоявшим вдоль цепи, пришлось присесть к земле, чтоб избежать неминуемой смерти, когда оглобля, завывая, проносилась над их головами.

Вдруг раздался глухой удар, и Хомяк, пораженный вбок, отлетел на несколько сажень и грянулся оземь, раскинувши руки.

Площадь огласилась радостным криком.

Митька тотчас навалился на Хомяка и стал душить его.

– Полно! Полно! – закричали опричники, а Малюта поспешно нагнулся к Ивану Васильевичу и сказал ему с озабоченным видом:

– Государь, вели оттащить этого дьявола! Хомяк у нас лучший человек во всей опричнине!

– Тащить дурака за ноги! – закричал царь, – окатить его водой, только чур жива оставить!

С трудом удалось опричникам оттащить Митьку, но Хомяка подняли уже мертвого, и когда внимание всех обратилось на посиневшее лицо его, рядом с Митькой очутился владимирский гуслар и, дернув его за полу, сказал шепотом:

– Иди, дурень, за мной! Уноси свою голову!

И оба исчезли в толпе народа.

## ГЛАВА 32. Ладанка Вяземского

Иван Васильевич велел подозвать Морозова.

Площадь снова затихла. Все в ожидании устремили взоры на царя и притаили дыхание.

– Боярин Дружина! – сказал торжественно Иоанн, вставая с своего места, – ты божьим судом очистился предо мною. Господь бог, чрез одоление врага твоего, показал твою правду, и я не оставлю тебя моею милостью. Не уезжай из Слободы до моего приказа. Но это, – продолжал мрачно Иоанн, – только половина дела. Еще самый суд впереди. Привести сюда Вяземского!

Когда явился князь Афанасий Иванович, царь долго глядел на него невыразимым взглядом.

– Афоня, – сказал он наконец, – тебе ведомо, что я твердо держусь моего слова. Я положил, что тот из вас, кто сам собой или чрез бойца своего не устоит у поля, смерти предан будет. Боец твой не устоял, Афоня!

– Что ж, – ответил Вяземский с решимостью, – вели мне голову рубить, государь!

Странная улыбка прозмеилась по устам Иоанна.

– Только голову рубить? – произнес он злобно. – Или ты думаешь, тебе только голову срубят? Так было бы, пожалуй, когда б ты одному Морозову ответ держал, но на тебе еще и другая кривда и другое окаянство. Малюта, подай сюда его ладанку!

И, приняв из рук Малюты гайтан, брошенный Вяземским, Иоанн поднял его за кончик.

– Это что? – спросил он, страшно глядя в очи Вяземского.

Князь хотел отвечать, но царь не дал ему времени.

– Раб лукавый! – произнес он грозно, и по жилам присутствующих пробежал холод, – раб лукавый! Я приблизил тебя ко престолу моему; я возвеличил тебя и осыпал милостями; а ты что учинил? Ты в смрадном сердце своем, аки аспид, задумал погубить меня, царя твоего, и чернокнижием хотел известить меня, и затем, должно быть, ты в опричнину просился? Что есть опричнина? – продолжал Иоанн, озираясь кругом и возвышая голос, дабы весь народ мог услышать его. – Я, аки господин винограда, поставлен господом богом над народом моим, возделывать виноград мой. Бояре же мои, и Дума, и советники не захотели помогать мне и замыслили погубить меня; тогда взял я от них виноград мой и отдал

другим делателям. И се есть опричнина! Званные мною на пир не пришли, и я послал на торжища и на исходища путей и повелел призывать елицех, какие обретутся. И се опять есть опричнина! Теперь спрашиваю всех: что заслужил себе гость, пришедший на пир, но не облекшийся в одеяние брачное? Как сказано о нем в Писании? «Связавше ему руце и нозе, возьмите его и вверзите во тьму кромешную: ту будет плач и скрежет зубов!»

Так говорил Иоанн, и народ слушал безмолвно это произвольное применение евангельской притчи, не сочувствуя Вяземскому, но глубоко потрясенный быстрым падением сильного любимца.

Никто из опричников не смел или не хотел вымолвить слова в защиту Вяземского. На всех лицах изображался ужас. Один Малюта в зверских глазах своих не выказывал ничего, кроме готовности приступить сейчас же к исполнению царских велений, да еще лицо Басманова выражало злобное торжество, хотя он и старался скрыть его под личиною равнодушия.

Вяземский не почел нужным оправдываться. Он знал Иоанна и решился перенести терпеливо ожидавшие его мучения. Вид его остался тверд и достоин.

– Отведите его! – сказал царь. – Я положу ему казнь наравне с тем станичником, что забрался ко мне в опочивальню и теперь ожидает мзды своей. А колдуна, с которым спознался он, отыскать и привести в Слободу. Пусть на пристрастном допросе даст еще новые указания. Велика злоба князя мира сего, – продолжал Иоанн, подняв очи к небу, – он, подобно льву рыкающему, ходит вокруг, ищуще пожрати мя, и даже в синклите моем находит усердных слуг себе. Но я уповаю на милость божию и, с помощью господи, не дам укорениться измене на Руси!

Иоанн сошел с помоста и, сев на коня, отправился обратно ко дворцу, окруженный безмолвною толпою опричников.

Малюта подошел к Вяземскому с веревкой в руках.

– Не взыщи, князь! – сказал он с усмешкой, скручивая ему руки назад, – наше дело холопское!

И, окружив Вяземского стражей, он повел его в тюрьму.

Народ стал расходиться молча или толкуя шепотом обо всем случившемся, и вскоре опустела еще недавно многолюдная площадь.



## ГЛАВА 33. Ладанка Басманова

Вяземский был подвергнут допросу, но никакие мучения не заставили его выговорить ни одного слова. С необыкновенною силою воли переносил он молча бесчеловечные истязания, которыми Малюта старался вынудить у него сознание в замысле на государя. Из гордости, из презрения или потому, что жизнь ему опротивела, он даже не попытался ослабить клевету Басманова, показав, что его самого он встретил на мельнице.

По приказанию царя мельника схватили и тайно привезли в Слободу, но к пытке его не приступали.

Басманов приписал успех своего доноса действию тирлича, который он всегда носил на себе, и тем более убедился в его чародейной силе, что Иоанн не показывал ни малейшего подозрения и что хотя по-прежнему посмеивался над Басмановым, но был к нему довольно ласков.

Погубив одного из своих соперников, видя рождающееся вновь расположение к себе Ивана Васильевича и не зная, что мельник уже сидит в слободской тюрьме, Басманов сделался еще высокомернее. Он, следуя данным ему наставлениям, смело глядел в очи царя, шутил с ним свободно и дерзко отвечал на его насмешки.

Иван Васильевич все сносил терпеливо.

Однажды, в один из своих обычных объездов, он с ближайшими любимцами, в том числе и с обоими Басмановыми, отслушав в соседнем монастыре раннюю обедню, зашел к настоятелю в келью и удостоил его принять угощение.

Царь сидел на скамье под образами, любимцы, исключая Скуратова, которого не было в объезде, стояли у стен, а игумен, низко кланяясь, ставил на стол медовые соты, разное варенье, чаши с молоком и свежие яйца.

Царь был в добром расположении духа, он отведывал от каждого блюда, милостиво шутил и вел душеспасительные речи. С Басмановым он был ласковее обыкновенного, и Басманов еще более убедился в неотразимой силе тирлича.

В это время послышался за оградю конский топот.

– Федя, – сказал Иоанн, – посмотри, кто там приехал?

Басманов не успел подойти к двери, как она отворилась, и у порога показался Малюта Скуратов.

Выражение его было таинственно, и в нем проглядывала злобная радость.

– Войди, Лукьяныч! – сказал приветливо царь. – С какою тебя вестью бог принес?

Малюта переступил через порог и, переглянувшись с царем, стал креститься на образа.

– Откуда ты? – спросил Иоанн, как будто он вовсе не ожидал его.

Но Малюта, не спеша ответом, сперва отвесил ему поклон, а потом подошел к игумену.

– Благослови, отче! – сказал он, нагибаясь, а между тем покосился на Федора Басманова, которого вдруг обдало недобрый предчувствием.

– Откуда ты? – повторил Иоанн, подмигнув неприметно Скуратову.

– Из тюрьмы, государь, колдуна пытал.

– Ну, что же? – спросил царь и бросил беглый взгляд на Басманова.

– Да все бормочет; трудно разобрать. Одно поняли мы, когда стали ему вертлюги ломать: «Вяземский, дескать, не один ко мне езживал; езживал и Федор Алексеевич Басманов, и корень-де взял у меня, и носит тот корень теперь на шее!»

И Малюта опять покосился на Басманова.

Басманов изменился в лице. Вся наглость его исчезла.

– Государь, – сказал он, делая необыкновенное усилие, чтобы казаться спокойным, – должно быть, он за то облыгает меня, что выдал я его твоей царской милости!

– А как стали мы, – продолжал Малюта, – прижигать ему подошвы, так он и показал, что был-де тот корень нужен Басманову, чтоб твое государское здоровье испортить.

Иоанн пристально посмотрел на Басманова, который зашатался под этим взглядом.

– Батюшка-царь! – сказал он, – охота тебе слушать, что мельник говорит! Кабы я знался с ним, стал ли бы я на него показывать?

– А вот увидим. Расстегни-ка свой кафтан, посмотрим, что у тебя на шее?

– Да что же, кроме креста да образов, государь? – произнес Басманов голосом, уже потерявшим всю свою уверенность.

– Расстегни кафтан! – повторил Иван Васильевич.

Басманов судорожно отстегнул верхние пуговицы своей одежды.

– Изволь, – сказал он, подавая Иоанну цепь с образками.

Но царь, кроме цепи, успел заметить еще шелковый гайтан на шее Басманова.

– А это что? – спросил он, отстегивая сам яхонтовую запонку его ворота и вытаскивая из-за его рубахи гайтан с ладанкой.

– Это, – проговорил Басманов, делая над собою последнее, отчаянное усилие, – это, государь... материнское благословение.

– Посмотрим благословение! – Иоанн передал ладанку Грязному. – На, распори ее, Васюк.

Грязной распорол ножом оболочку и, развернув зашитый в нее кусок холстины, высыпал что-то на стол.

– Ну, что это? – спросил царь, и все с любопытством нагнулись к столу и увидели какие-то корешки, перемешанные с лягушечьими костями.

Игумен перекрестился.

– Этим благословила тебя мать? – спросил насмешливо Иван Васильевич.

Басманов упал на колени.

– Прости, государь, холопа твоего! – вскричал он в испуге. – Видя твою нелюбовь ко мне, надрывался я сердцем и, чтоб войти к тебе в милость, выпросил у мельника этого корня. Это тирлич, государь! Мельник дал мне его, чтоб полюбил ты опять холопа твоего, а замысла на тебя, видит бог, никакого не было!

– А жабы кости? – спросил Иоанн, наслаждаясь отчаянием Басманова, коего наглость ему давно наскучила.

– Про кости я ничего не ведал, государь, видит бог, ничего не ведал!

Иван Васильевич обратился к Малюте.

– Ты говоришь, – сказал он, – что колдун показывает на Федьку; Федька-де затем к нему ездил, чтоб испортить меня?

– Так, государь! – И Малюта скривил рот, радуясь беде давнишнего врага своего.

– Ну что ж, Федюша, – продолжал с усмешкою царь, – надо тебя с колдуном оком к оку поставить. Ему допрос уж чинили; отведай же и ты пытки, а то скажут: царь одних земских пытается, а опричников своих бережет.

Басманов повалился Иоанну в ноги.

– Солнышко мое красное! – вскричал он, хватаясь за полы царского охабня, – светик мой, государь, не губи меня, солнышко мое, месяц ты мой, соколик мой, горностаек! Вспомни, как я служил тебе, как от воли твоей ни в чем не отказывался!

Иоанн отвернулся.

Басманов в отчаянье бросился к своему отцу.

– Батюшка! – завопил он, – уприси государя, чтобы даровал живот холопу своему! Пусть наденут на меня уж не сарафан, а дурацкое платье! Я рад его царской милости шутом служить!

Но Алексею Басманову были равно чужды и родственное чувство, и сострадание. Он боялся участием к сыну навлечь опалу на самого себя.

– Прочь, – сказал он, отталкивая Федора, – прочь, нечестивец! Кто к государю не мыслит, тот мне не сын! Иди, куда шлет тебя его царская милость!

– Святой игумен, – зарыдал Басманов, тащась на коленях от отца своего к игумну, – святой игумен, умоли за меня государя!

Но игумен стоял сам не свой, потупя очи в землю, и дрожал всем телом.

– Оставь отца игумна! – сказал холодно Иоанн. – Коли будет в том нужда, он после по тебе панихиду отслужит.

Басманов обвел кругом умоляющим взором, но везде встретил враждебные или уstraшенные лица.

Тогда в сердце его произошла перемена.

Он понял, что не может избежать пытки, которая жестокостью равнялась смертной казни и обыкновенно ею же оканчивалась; понял, что терять ему более нечего, и с этим убеждением возвратилась к нему его решимость.

Он встал, выпрямил стан и, заложив руку за кушак, посмотрел с наглою усмешкой на Иоанна.

– Надёжа-государь! – сказал он дерзко, тряхнув головою, чтобы оправить свои растрепанные кудри, – надёжа-государь. Иду я по твоему указу на муку и смерть. Дай же мне сказать тебе последнее спасибо за все твои ласки! Не умышлял я на тебя ничего, а грехи-то у меня с тобою одни! Как поведут казнить меня, я все до одного расскажу перед народом! А ты, батенька игумен, слушай теперь мою исповедь!..

Опричники и сам Алексей Басманов не дали ему продолжать. Они увлекли его из кельи на двор, и Малюта, посадив его, связанного, на конь, тотчас повез к Слободе.

– Ты зришь, отче, – сказал Иоанн игумну, – коликими я окружен и явными и скрытыми врагами! Моли бога за меня, недостойного, дабы даровал он добрый конец моим начинаниям, благословил бы меня, многогрешного, известить корень измены!

Царь встал и, перекрестившись на образа, подошел к игумну под благословение.

Игумен и вся братия с трепетом проводили его за ограду, где царские конюха дожидались с богато убранными конями; и долго еще, после того как царь с своими полчанами скрылся в облаке пыли и не стало более слышно звука конских подков, монахи стояли, потупя очи и не смея

ПОДНЯТЬ ГОЛОВЫ.

## ГЛАВА 34. Шутовской кафтан

В это самое утро к Морозову, который по воле царя остался в Слободе, явились два стольника с приглашением к царскому столу.

Когда Дружина Андреевич приехал во дворец, палаты уже были полны опричников, столы накрыты, слуги в богатых одеждах готовили закуску.

Боярин, осмотревшись, увидел, что, кроме его, нет ни одного земского, и понял, что царь оказывает ему особенную честь.

Вот зазвонили дворцовые колокола, затрубили трубы, и Иван Васильевич с благосклонным, приветливым лицом вошел в палату в сопровождении чудовского архимандрита, Левкия, Василия Грязного, Алексея Басманова, Бориса Годунова и Малюты Скуратова.

Приняв и отдав поклоны, он сел за свой прибор, и все за столом его разместились по чинам. Осталось одно пустое место, ниже Годунова.

– Садись, боярин Дружина! – сказал ласково царь, указывая на пустое место.

Лицо Морозова побагровело.

– Государь, – ответил он, – как Морозов во всю жизнь чинил, так и до смерти чинить будет. Стар я, государь, перенимать новые обычаи. Наложить опять опалу на меня, прогони от очей твоих – а ниже Годунова не сяду!

Все в изумлении переглянулись. Но царь, казалось, ожидал этого ответа. Выражение лица его осталось спокойно.

– Борис, – сказал он Годунову, – тому скоро два года, я боярина Дружину за такой же ответ выдал тебе головою. Но, видно, мне пора изменить мой обычай. Должно быть, уж не мы земским, а земские нам будут указывать! Должно быть, уж я и в домишке моем не хозяин! Придется мне, убогому, забрать свою рухлядишку и бежать с людишками моими куда-нибудь подале! Прогонят они меня отсюда, калику перехожего, как от Москвы прогнали!

– Государь, – сказал смиренно Годунов, желая выручить Морозова, – не нам, а тебе о местах судить. Старые люди крепко держатся старого обычая, и ты не гневись на боярина, что помнит он разряды. Коли дозволишь, государь, я сяду ниже Морозова; за твоим столом все места хороши!

Он сделал движение, как бы готовясь встать, но Иоанн удержал его взглядом.

– Боярин подлинно стар! – сказал он хладнокровно, и умеренность его

в виду явного непокорства исполнила всех ожиданием. Все чувствовали, что готовится что-то необыкновенное, но нельзя было угадать, как проявится царский гнев, коего приближение выказывала лишь легкая судорога на лице, напоминающая дрожание отдаленной зарницы.

Все груди были стеснены, как перед наступающей бурей.

– Да, – продолжал спокойно Иоанн, – боярин подлинно стар, но разум его молод не по летам. Больно он любит шутить. Я тоже люблю шутить и в свободное от дела и молитвы время я не прочь от веселья. Но с того дня, как умер шут мой Ногтев, некому потешать меня. Дружине, я вижу, это ремесло по сердцу; я же обещал не оставить его моею милостию, а потому жалую его моим первым шутом. Подать сюда кафтан Ногтева и надеть на боярина!

Судороги на лице царя заиграли чаще, но голос остался по-прежнему спокоен. Морозов стоял как пораженный громом. Багровое лицо его побледнело, кровь отхлынула к сердцу, очи засверкали, а брови сначала заходили, а потом сдвинулись так грозно, что даже вблизи Ивана Васильевича выражение его показалось страшным. Он еще не верил ушам своим; он сомневался, точно ли царь хочет обесчестить всенародно его, Морозова, гордого боярина, коего заслуги и древняя доблесть были давно всем известны?

Он стоял молча, вперив в Иоанна неподвижный, вопрошающий взор, как бы ожидая, что он одумается и возьмет назад свое слово. Но Василий Грязной, по знаку царя, встал из-за стола и подошел к Дружине Андреевичу, держа в руках пестрый кафтан, полупарчовый, полусермяжный, со множеством заплат, бубенчиков и колокольцев.

– Надевай, боярин! – сказал Грязной, – великий государь жалует тебя этим кафтаном с плеча выбылого шута своего Ногтева!

– Прочь! – воскликнул Морозов, отталкивая Грязного, – не смей, кромешник, касаться боярина Морозова, которого предкам твои предки в псарях и в холопах служили!

И, обращаясь к Иоанну, он произнес дрожащим от негодования голосом:

– Государь, возьми назад свое слово! Вели меня смерти предать! В голове моей ты волён, но в чести моей не волён никто!

Иван Васильевич посмотрел на опричников.

– Правду я говорил, что Дружина любит шутить? Вы слышали? Я не волён жаловать его кафтаном!

– Государь! – продолжал Морозов, – именем господа бога молю тебя, возьми свое слово назад! Еще не родился ты, когда уже покойный батюшка

твой жаловал меня! Когда я вместе с Хабаром Симским разбил чуваш и черемис на Свияге, когда с князьями Одоевским и Мстиславским прогнал от Оки крымского царевича и татарский набег от Москвы отвратил! Много ран получил я, много крови пролил на службе батюшки твоего и на твоей, государь! Не берег я головы ни в ратном деле, ни в Думе боярской, спорил, в малолетство твое, за тебя и за матушку твою с Шуйскими и с Вольскими! Одною только честью дорожил я и никому в целую жизнь мою не дал запятнать ее! Ты ли теперь опозоришь мои седые волосы? Ты ли наругаешься над слугою родителя твоего? Вели казнить меня, государь, вели мне голову на плаху понести, и я с радостью пойду на мученья, как прежде на битвы хаживал!

Все молчали, потрясенные сильною речью Морозова; но среди общей тишины раздался голос Иоанна.

– Довольно болтать! – сказал он грозно, переходя от насмешливости к явному гневу, – твои глупые речи, старик, показали, что ты добрым будешь шутом. Надевай дурацкое платье! Вы! – продолжал царь, повернувшись к опричникам, – помогите ему; он привык, чтоб ему прислуживали!

Если бы Морозов покорился или, упав к ногам царя, стал бы униженно просить о пощаде, быть может, и смягчился бы Иван Васильевич. Но вид Морозова был слишком горд, голос слишком решителен; в самой просьбе его слышалась непреклонность, и этого не мог снести Иоанн. Он ощущал ко всем сильным нравам неодолимую ненависть, и одна из причин, по коим он еще недавно, не отдавая себе отчета, отвратил сердце свое от Вяземского, была известная ему самостоятельность князя.

В один миг опричники сорвали с Морозова верхнюю одежду и напялили на него кафтан с колокольцами.

После последних слов Иоанна Морозов перестал противиться. Он дал себя одеть и молча смотрел, как опричники со смехом поправляли и обдергивали на нем кафтан. Мысли его ушли в глубь сердца; он сосредоточился в самом себе.

– А шапку-то позабыли? – сказал Грязной, надевая на голову Морозова пестрый колпак, и, отступив назад, он поклонился ему до полу.

– Дружина Андреич! – сказал он, – бьем тебе челом на новой должности! Потешай нас, как покойный Ногтев потешал!

Тогда Морозов поднял голову и обвел глазами собрание.

– Добро! – сказал он громко и твердо, – принимаю новую царскую милость. Боярину Морозову неместно было сидеть рядом с Годуновым; но царскому шуту пристойно быть за царским столом с Грязными и Басмановыми. Раздвиньтесь, страдники! место новому скомороху!



Пропустите шута и слушайте все, как он будет потешать Ивана Васильича!

Морозов сделал повелительный знак, и опричники невольно посторонились.

Гремя колокольцами, боярин подошел к столу и опустился на скамью, напротив Иоанна, с такою величественною осанкой, как будто на нем вместо шутовского кафтана была царская риза.

– Как же мне потешать тебя, государь? – спросил он, положив локти на стол, глядя прямо в очи Ивану Васильевичу. – Мудрен ты стал на потехи, ничем не удивишь тебя! Каких шуток не перешучено на Руси, с тех пор как ты господаришь! Потешался ты, когда был еще отроком и конем давил народ на улицах; потешался ты, когда на охоте велел псарям князя Шуйского зарезать; потешался, когда выборные люди из Пскова пришли плакаться тебе на твоего наместника, а ты приказал им горячею смолою бороды палить!

Опричники хотели вскочить с своих мест и броситься на Морозова; царь удержал их знаком.

– Но, – продолжал Морозов, – то все было ребяческое веселье; оно скоро тебе надоело. Ты начал знаменитых людей в монахи постригать, а жен и дочерей их себе на потеху позорить. И это тебе прискучило. Стал ты выбирать тогда лучших слуг твоих и мукам предавать. Тут дело пошло повеселее, только ненадолго. Не все же ругаться над народом да над боярами. Давай и над церковью Христовою поглумимся! Вот и набрал ты всякой голи кабацкой, всякой скаредной сволочи, нарядил ее в рясы монашеские и сам монахом нарядился, и стали вы днем людей резать, а ночью акафисты петь. Сам ты, кровью обрызган, и пел, и звонил, и чуть ли обедню не служил. Эта потеха вышла из всех веселейшая, такой, опричь тебя, никому и не выдумать!

Что же сказать тебе, государь? Как еще распотешить тебя? А разве вот что скажу: пока ты с своею опричниной в машкерах плясешь, к заутрени звонишь да кровью упиваешься, наступит на тебя с заката Жигимонт, напрут с полуночи немцы да чудь, а с полудня и с восхода подымется хан. Нахлынет орда на Москву, и не будет воевод отстаивать святыни господней! Запылают храмы божии с мощами святителей, настанут опять Батыевы времена. И будешь ты, царь всея Руси, в ноги кланяться хану и, стоя на коленях, стремя его целовать!

Морозов замолк.

Никто не прерывал его речи; всем она захватила дыханье. Царь слушал, наклонясь вперед, бледный, с пылающими очами, с пеною у рта. Судорожно сжимал он ручки кресел и, казалось, боялся проронить единое

слово Морозова и каждое врезывал в памяти, чтобы за каждое заплатить ему особою мукой.

Все опричники были бледны; никто не решался взглянуть на царя. Годунов опустил глаза и не смел дышать, чтобы не привлечь на себя внимание. Самому Малюте было неловко.

Вдруг Грязной выхватил нож, подбежал к Иоанну и сказал, указывая на Морозова:

– Дозволь, государь, ему глотку заткнуть!

– Не смей! – проговорил царь почти шепотом и задыхаясь от волнения, – дай его милости до конца договорить!

Морозов гордо повел очами.

– Еще шуток хочешь, государь? Изволь, я тебя потешу! Оставался у тебя из верных слуг твоих еще один, древнего, боярского рода; его ты откладывал казнить, потому ли, что страшился божьего гнева или что не придумал еще достойной казни ему. Жил он далеко от тебя, под опалю, и мог бы ты забыть про него; но ты, государь, никого не забываешь! Послал ты к нему своего окаянного Вяземского, сжечь его дом и жену увезти. Когда ж он пришел к тебе просить суда на Вяземского, ты заставил их биться себе на потеху, чая, что Вяземский убьет старого слугу твоего. Но бог не захотел его гибели, показал его правду.

Что же ты сделал тогда, государь? Тогда, – продолжал Морозов, и голос его задрожал, и колокольцы затряслись на одежде, – тогда тебе показалось мало бесчестия на слуге твоём, и ты порешил опозорить его еще неслыханным, небывалым позором! Тогда, – воскликнул Морозов, отталкивая стол и вставая с места, – тогда ты, государь, боярина Морозова одел в шутовской кафтан и велел ему, спасшему Тулу и Москву, забавлять тебя вместе со скаредными твоими крошечниками!

Грозен был вид старого воеводы среди безмолвных опричников. Значение шутовской его одежды исчезло. Из-под густых бровей сверкали молнии. Белая борода величественно падала на грудь, прижавшую некогда много вражьих ударов, но испещренную ныне яркими заплатами; а в негодующем взоре было столько достоинства, столько благородства, что в сравнении с ним Иван Васильевич показался мелок.

– Государь, – продолжал, возвышая голос, Морозов, – новый шут твой перед тобою. Слушай его последнюю шутку! Пока ты жив, уста народа русского запечатаны страхом; но минует твое зверское царенье, и останется на земле лишь память дел твоих, и перейдет твое имя от потомков к потомкам на вечное проклятие, доколе не настанет Страшный суд господень! И тогда все сотни и тысячи избитых тобою, все сонмы мужей

и жен, младенцев и старцев, все, кого ты погубил и измучил, все предстанут пред господом, вопия на тебя, мучителя своего! И в оный страшный день предстану и я перед вечным судьей, предстану в этой самой одежде и потребую обратно моей чести, что ты отнял у меня на земле! И не будет с тобою крошечников твоих заградить уста вопиющих, и услышит их судия, и будешь ты ввергнут в пламень вечный, уготованный диаволу и аггелом его!

Морозов замолчал и, бросив презрительный взор на царских любимцев, повернулся к ним спиною и медленно удалился.

Никто не подумал остановить его. Важно прошел он между рядами столов, и только когда замер звон его колокольцев, опричники очнулись от оцепенения; а Малюта, встав из-за стола, сказал Ивану Васильевичу:

– Прикажешь сейчас порешить его, государь, или пока в тюрьму посадить?

– В тюрьму! – произнес Иоанн, переводя дыхание. – Беречь его! Кормить его! Не пытаться, чтобы не издох до времени; ты отвечаешь за него головой!

Вечером у царя было особенное совещание с Малютой.

Колычевы, давно уже сидевшие в тюрьме и пытаемые Малютой, частью сознались во взводимой на них измене, частью были, по мнению Иоанна, достаточно уличены друзьями их и холопами, которые, не выдержав пытки, на них показывали.

Много и других лиц было замешано в это дело. Схваченные по приказанию царя и жестоко истязуемые, кто в Москве, кто в Слободе, они, в свою очередь, называли много имен, и число пытаемых росло с каждым днем и выросло наконец до трехсот человек.

Иван Васильевич, дорожа мнением иностранных держав, положил подождать отъезда бывших тогда в Москве литовских послов и учинить осужденным в один день общую казнь; а дабы действие ее было поразительнее и устрасило бы мятежников на будущее время, казни сей надлежало совершиться в Москве, в виду всего народа.

В тот же самый день царь назначил казнить Вяземского и Басманова. Мельник как чародей осужден был к сожжению на костре, а Коршуну, дерзнувшему забраться в царскую опочивальню и которого берегли доселе на торжественный случай, Иоанн готовил исключительные, еще небывалые муки. Той же участи он обрек и Морозова.

О подробностях этой общей казни царь разговаривал до поздней ночи, и петухи уже два раза пропели, когда он отпустил Малюту и удалился в свою образную.

## ГЛАВА 35. Казнь

По отъезде литовских послов, накануне дня, назначенного для торжественной казни, московские люди с ужасом увидели ее приготовления.

На большой торговой площади, внутри Китай-города, было поставлено множество виселиц. Среди их стояло несколько срубов с плахами. Немного подале висел на перекладине между столбов огромный железный котел. С другой стороны срубов торчал одинокий столб с приделанными к нему цепями, а вокруг столба работники наваливали костер. Разные неизвестные орудия виднелись между виселицами и возбуждали в толпе боязливые догадки, от которых сердце заранее сжималось.

Мало-помалу все пришедшие торговать на базар разошлись в испуге. Опустела не только площадь, но и окрестные улицы. Жители заперлись в домах и шепотом говорили о предстоящем событии. Слух о страшных приготовлениях разнесся по всей Москве, и везде воцарилась мертвая тишина. Лавки закрылись, никто не показывался на улицах, и лишь время от времени проскакивали по ним гонцы, посылаемые с приказаниями от Арбата, где Иоанн остановился в любимом своем тереме. В Китай-городе не слышно было другого шума, кроме стука плотничьих топоров да говора опричников, распоряжавшихся работами.

Когда настала ночь, затихли и эти звуки, и месяц, поднявшись из-за зубчатых стен Китай-города, осветил безлюдную площадь, всю взъерошенную колями и виселицами. Ни одного огонька не светилось в окнах; все ставни были закрыты; лишь кой-где тускло теплились лампы перед наружными образами церквей. Но никто не спал в эту ночь, все молились, ожидая рассвета.

Наконец роковое утро настало, и в небе послышалось усиленное карканье ворон и галок, которые, чуя близкую кровь, слетались отовсюду в Китай-город, кружились стаями над площадью и унизывали черными рядами церковные кресты, князьки и гребни домов и самые виселицы.

Тишину прервал отдаленный звон бубен и тулумбасов, который медленно приближался к площади. Показалась толпа конных опричников, по пяти в ряд. Впереди ехали бубенщики, чтобы разгонять народ и очищать дорогу государю, но они напрасно трясли свои бубны и били воцагами в тулумбасы: нигде не видно было живой души.

За опричниками ехал сам царь Иван Васильевич, верхом, в большом наряде, с колчаном у седла, с золоченым луком за спиною. Венец его шишака был украшен деисусом, то есть изображением на финифти спасителя, а по сторонам богородицы, Иоанна Предтечи и разных святых. Чепрак под ним блистал дорогими каменьями, а на шее у вороного коня вместо науза болталась собачья голова.

Рядом с царем был виден царевич Иоанн, а позади ехала толпа ближайших царедворцев, по три в ряд. За ними шло с лишком триста человек осужденных на смерть. Скованные цепями, изнуренные пыткой, они с трудом передвигали ноги, повинувшись понуждающим их опричникам.

Шествие заключал многочисленный отряд конницы.

Когда поезд въехал в Китай-город и все войско, спешившись, разместилось у виселиц, Иоанн, не сходя с коня, посмотрел кругом и с удивлением увидел, что на площади не было ни одного зрителя.

– Сгонять народ! – сказал он опричникам. – Да никто не убоится! Поведайте людям московским, что царь казнит своих злодеев, безвинным же обещает милость.

Вскоре площадь стала наполняться народом, ставни отворились, и у окон показались бледные, боязливые лица.

Между тем костер, разложенный под котлом, запылал, и на срубы взошли палачи.

Иоанн велел вывести из числа осужденных некоторых, менее виновных.

– Человеки! – сказал он им громко и внятно, дабы все на площади могли его слышать, – вы дружбой вашею и хлебом-солью с изменщиками моими заслужили себе равную с ними казнь; но я, в умилении сердца, скорбя о погублении душ ваших, милую вас и дарую вам живот, дабы вы покаянием искупили вины ваши и молились за меня, недостойного!

По знаку царя прощенных отвели в сторону.

– Люди московские! – сказал тогда Иоанн, – вы узрите ныне казни и мучения; но караю злодеев, которые хотели предать врагам государство! Плачуще, предаю тела их терзанию, яко аз есмь судия, поставленный господом судити народы мои! И несть лицепрятия в суде моем, яко, подобно Аврааму, подъявшему нож на сына, я самых ближних моих на жертву приношу! Да падет же кровь сия на главу врагов моих!

Тогда из среды оставшихся осужденных вывели прежде всех боярина Дружину Андреевича Морозова.

Иоанн, в первом порыве раздражения, обрек было его на самые страшные муки; но, по непонятной изменчивости нрава, а может быть, и

вследствие общей любви москвитян к боярину, он накануне казни отменил свои распоряжения и осудил его на менее жестокую смерть.

Думный дьяк государев, стоя у сруба, развернул длинный свиток и прочел громогласно:

– Бывший боярин Дружина! Ты хвалился замутить государство, призвать крымского хана и литовского короля Жигимонта и многие другие беды и тесноты на Руси учинить. Ты же дерзнул злыми, кусательными словами поносить самого государя, царя и великого князя всея Руси, и добрых слуг его на непокорство подымать. Заслужил ты себе истязания паче смерти; но великий государь, помня прежние доблести твои, от жалости сердца, повелел тебя, особно от других и минуя прочие муки, скорою смертью казнить, голову тебе отсечь, остатков же твоих на его государский обиход не отписывать!

Морозов, уже взошедший на сруб, перекрестился.

– Ведаю себя чистым пред богом и пред государем, – отвечал он спокойно, – предаю душу мою господу Иисусу Христу, у государя же прошу единой милости: что останется после меня добра моего, то все пусть разделится на три части: первую часть – на церкви божии и на помин души моей; другую – нищей братии; а третью – верным слугам и холопам моим; а кабальных людей и рабов отпускаю вечно на волю! Вдове же моей прощаю, и вольно ей выйти за кого похочет!

С сими словами Морозов еще раз перекрестился и опустил голову на плаху.

Раздался глухой удар, голова Дружины Андреевича покатилась, и благородная кровь его обагрила доски помоста.

За ним опричники, к удивлению народа, вывели оружничего государева князя Вяземского, кравчего Федора Басманова и отца его Алексея, на которого Федор показал на пытке.

– Люди московские! – сказал Иоанн, указывая на осужденных, – се зрите моих и ваших злодеев! Они, забыв крестное свое целование, теснили вас от имени моего и, не страшась суда божия, грабили животы ваши и губили народ, который я же их поставил оборонять. И се ныне примут, по делам своим, достойную мзду!

Вяземский и оба Басмановы, как обманувшие царское доверие, были осуждены на жестокие муки.

Дьяк прочел им обвинение в намерении известить царя чарами, в преступных сношениях с врагами государства и в притеснении народа именем Иоанновым.

Когда палачи, схватив Федора Басманова, взвели его на помост, он

обернулся к толпе зрителей и закричал громким голосом:

– Народ православный! хочу перед смертью покаяться в грехах моих! Хочу, чтобы все люди ведали мою исповедь! Слушайте, православные...

Но Малюта, стоявший сзади, не дал ему продолжать. Он ловким ударом сабли снес ему голову в тот самый миг, как он готовился начать свою исповедь.

Окровавленный труп его упал на помост, а отлетевшая голова подкатилась, звеня серьгами, под ноги царскому коню, который откатнулся, фыркая и косясь на нее испуганным оком. Басманов последнею наглостью избавился от ожидавших его мучений.

Отец его Алексей и Вяземский не были столько счастливы. Их, вместе с разбойником Коршуном, взвели на сруб, где ожидали их страшные снаряды. В то же время старого мельника потащили на костер и приковали к столбу.

Вяземский, измученный пыткой, не имея силы стоять на ногах, поддерживаемый под руки палачами, бросал дикие взгляды по сторонам. В глазах его не было заметно ни страха, ни раскаянья. Увидев прикованного к столбу мельника и вокруг него уже выходящие струи дыма, князь вспомнил его последние слова, когда старик, заговорив его саблю, смотрел на бадью с водою; вспомнил также князь и свое видение на мельнице, когда он в лунную ночь, глядя под шумящее колесо, старался увидеть свою будущность, но увидел только, как вода почервонела, подобно крови, и как заходили в ней зубчатые пилы и стали отмыкаться и замыкаться железные клещи...

Мельник не заметил Вяземского. Углубленный в самого себя, он бормотал что-то себе под нос и с видом помешательства приплясывал на костре, гремя цепями.

– Шикалу! Ликалу! – говорил он, – слетелись вороны на богатый пир! Повернулося колесо, повернулося! Что было высоко, то стало низко! Шагадам! Подымися, ветер, от мельницы, налети на ворогов моих! Кулла! Кулла! Разметай костер, загаси огонь!

И в самом деле, как будто повинуюсь заклинаниям, ветер поднялся на площади, но, вместо того чтобы загасить костер, он раздул подложенный под него хворост, и пламя, вырвавшись сквозь сухие дрова, охватило мельника и скрыло его от зрителей.

– Шагадам! Кулла! Кулла! – послышалось еще за облаком дыма, и голос замер в треске пылающего костра.

Наружность Коршуна почти вовсе не изменилась ни от пытки, ни от долгого томления в темнице. Сильная природа его устояла против

приготовительного допроса, но в выражении лица произошла перемена. Оно сделалось мягче; глаза глядели спокойнее.

С той самой ночи, как он был схвачен в царской опочивальне и брошен в тюрьму, угрызения совести перестали терзать его. Он тогда же принял ожидающую его казнь как искупление совершенных им некогда злодейств, и, лежа на гнилой соломе, он в первый раз после долгого времени заснул спокойно.

Дьяк прочел перед народом вину Коршуна и ожидающую его казнь.

Коршун, взошедши на помост, перекрестился на церковные главы и положил один за другим четыре земных поклона народу, на четыре стороны площади.

– Прости, народ православный! – сказал он, – прости меня в грехах моих, в разбое, и в воровстве, и в смертном убийстве! Прости во всем, что я согрешил перед тобою. Заслужил я себе смертную муку, отпусти мне вины мои, народ православный!

И, повернувшись к палачам, он сам продел руки в приготовленные для них петли.

– Привязывайте, что ли! – сказал он, тряхнув седою, кудрявою головой, и не прибавил боле ни слова.

Тогда, по знаку Иоанна, дьяк обратился к прочим осужденным и прочел им обвинение в заговоре против государя, в намерении отдать Новгород и Псков литовскому королю и в преступных сношениях с турецким султаном.

Их готовились повести, кого к виселицам, кого к котлу, кого к другим орудиям казни.

Народ стал громко молиться.

– Господи, господи! – раздавалось на площади, – помилуй их, господи! Приими скорее их души!

– Молитесь за нас, праведные! – кричали некоторые из толпы, – помяните нас, когда приидете во царствие божие!

Опричники, чтобы заглушить эти слова, начали громогласно взывать:

– Гойда! Гойда! Да погибнут враги государевы!

Но в эту минуту толпа заколебалась, все головы обратились в одну сторону, и послышались восклицания:

– Блаженный идет! Смотрите, смотрите! Блаженный идет!

В конце площади показался человек лет сорока, с реденькою бородой, бледный, босой, в одной полотняной рубахе. Лицо его было необыкновенно кротко, а на устах играла странная, детски добродушная улыбка.

Вид этого человека посреди стольких лиц, являвших ужас, страх или



зверство, резко от них отделялся и сильно на всех подействовал. Площадь затихла, казни приостановились.

Все знали блаженного, но никто еще не видывал на лице его такого выражения, как сегодня. Против обыкновения, судорога подергивала эти улыбающиеся уста, как будто с кротостью боролось другое, непривычное чувство.

Нагнувшись вперед, гремя веригами и железными крестами, которыми он весь был обвешан, блаженный пробирался сквозь раздвигающуюся толпу и шел прямо на Иоанна.

– Ивашко! Ивашко! – кричал он издали, перебирая свои деревянные четки и продолжая улыбаться, – Ивашко! Меня-то забыл!

Увидев его, Иоанн хотел повернуть коня и отъехать в сторону, но юродивый стоял уже возле него.

– Посмотри на блаженного! – сказал он, хватаясь за узду царского коня. – Что ж не велишь казнить и блаженного? Чем Вася хуже других?

– Бог с тобой! – сказал царь, доставая горсть золотых из узорного мешка, висевшего на золотой цепочке у его пояса, – на, Вася, ступай, помолись за меня!

Блаженный подставил обе руки, но тотчас же отдернул их, и деньги посыпались на землю.

– Ай, ай! Жжется! – закричал он, дуя на пальцы и потряхивая их на воздухе. – Зачем ты деньги в огне раскалил? Зачем в адовом огне раскалил?

– Ступай, Вася! – повторил нетерпеливо Иоанн, – оставь нас, тебе здесь не место!

– Нет, нет! Мое место здесь, с мучениками! Дай и мне мученический венчик! За что меня обходишь? За что обижаешь? Дай и мне такой венчик, какие другим раздаешь!

– Ступай, ступай! – сказал Иоанн с зарождающимся гневом.

– Не уйду! – произнес упорно юродивый, уцепясь за конскую сбрую, но вдруг засмеялся и стал пальцем показывать на Иоанна. – Смотрите, смотрите! – заговорил он, – что это у него на лбу? Что это у тебя, Ивашко? У тебя рога на лбу! У тебя козлиные рога выросли! И голова-то твоя стала песья!

Глаза Иоанна вспыхнули.

– Прочь, сумасшедший! – закричал он, и, выхватив копье из рук ближайшего опричника, он замахнулся им на юродивого.

Крик негодования раздался в народе.

– Не тронь его! – слышалось в толпе, – не тронь блаженного! В наших головах ты волен, а блаженного не тронь!

Но юродивый продолжал улыбаться полудетски, полубезумно.

– Пробори меня, царь Саул! – говорил он, отбирая в сторону висевшие на груди его кресты, – пробори сюда, в самое сердце! Чем я хуже тех праведных? Пошли и меня в царствие небесное! Аль завидно тебе, что не будешь с нами, царь Саул, царь Ирод, царь крошечный?

Копье задрожало в руке Иоанна. Еще единый миг, оно вонзилось бы в грудь юродивого, но новый крик народа удержал его на воздухе. Царь сделал усилие над собой и переломил свою волю, но буря должна была разразиться.

С пеной у рта, с сверкающими очами, с поднятым копьем, он стиснул коня ногами, налетел вскачь на толпу осужденных, так что искры брызнули из-под конских подков, и пронзил первого попавшегося ему под руку.

Когда он вернулся шагом на свое место, опустив окровавленный конец копья, опричники уже успели оттереть блаженного.

Иоанн махнул рукой, и палачи приступили к работе.

На бледном лице Иоанна показался румянец; очи его сделались больше, на лбу надулись синие жилы, и ноздри расширились...

...Когда наконец, сытый душегубством, он повернул коня и, объехав вокруг площади, удалился, сам обрызганный кровью и окруженный окровавленным полком своим, вороны, сидевшие на церковных крестах и на гребнях кровель, взмахнули одна за другой крыльями и начали спускаться на груды истерзанных членов и на трупы, висящие на виселицах...

Бориса Годунова в этот день не было между приехавшими с Иоанном. Он еще накануне вызвался провожать из Москвы литовских послов.

На другой день после казни площадь была очищена и мертвые тела свезены и свалены в кремлевский ров.

Там граждане московские впоследствии соорудили несколько деревянных церквей, *на костях и на крови*, как выражаются древние летописи.

Прошли многие годы; впечатление страшной казни изгладилось из памяти народной, но долго еще стояли вдоль кремлевского рва те скромные церкви, и приходившие в них молиться могли слышать панихиды за упокой измученных и избитых по указу царя и великого князя Иоанна Васильевича Четвертого.

## ГЛАВА 36. Возвращение в Слободу

Поразив ужасом Москву, царь захотел явиться милостивым и великодушным. По приказанию его темницы были отперты, и заключенные, уже не чаявшие себе прощения, все освобождены. Некоторым Иоанн послал подарки. Казалось, давно кипевшая в нем и долго разгоравшаяся злоба разразилась последнею казнью и вылетела из души его, как пламенный сноп из горы огнедышащей. Рассудок его успокоился, он перестал везде отыскивать измену.

Не всякий раз после безвинной крови Иоанн предавался угрызениям совести. Они зависели также от других обстоятельств. Небесные знамения, внезапно ударивший гром, проявление народных бедствий устрашали его чуткое воображение и подвигали его иногда на всенародное покаяние; но когда не случалось ни знамений, ни голода, ни пожаров, внутренний голос его молчал и совесть дремала. Так и в настоящее время состояние души Иоанна было безмятежно. Он чувствовал после совершенных убийств какое-то удовлетворение и спокойствие, как голодный, насытившийся пищей. Более из привычки и принятого правила, чем от потребности сердца, он, возвращаясь в Слободу, остановился на несколько дней молиться в Троицкой лавре.

Во всю дорогу пристава, ехавшие перед ним, бросали горстями серебряные деньги нищим, а уезжая из Лавры, он оставил архимандриту богатый вклад на молебны за свое здоровье.

В Слободе между тем готовилось никем не ожидаемое событие.

Годунов, посланный вперед приготовить государю торжественный прием, исполнив свое поручение, сидел у себя в брусной избе, облокотясь на дубовый стол, подперши рукою голову. Он размышлял о случившемся в эти последние дни, о казни, от которой удалось ему уклониться, о загадочном нраве грозного царя и о способах сохранить его милость, не участвуя в делах опричнины, как вошедший слуга доложил, что у крыльца дожидается князь Никита Романович Серебряный.

Годунов при этом имени в удивлении встал со скамьи.

Серебряный был опальник государев, осужденный на смерть. Он ушел из тюрьмы, и всякое сношение с ним могло стоить головы Борису Федоровичу. Но отказать князю в гостеприимстве или выдать его царю было бы делом недостойным, на которое Годунов не мог решиться, не потеряв народного доверия, коим он более всего дорожил. В то же время он

вспомнил, что царь находится теперь в милостивом расположении духа, и в один миг сообразил, как действовать в этом случае.

Не выходя на крыльцо встречать Серебряного, он велел немедленно ввести его в избу. Посторонних свидетелей не было, и, положив раз принять князя, Годунов не захотел показать ему неполное радушие.

– Здравствуй, князь, – сказал он, обнимая Никиту Романовича, – милости просим, садись; как же ты решился вернуться в Слободу, Никита Романыч? Но дай сперва угостить тебя, ты, я чаю, с дороги устал.

По приказанию Годунова поставили на стол закуску и несколько кубков вина.

– Скажи, князь, – спросил Годунов заботливо, – видели тебя, как ты взошел на крыльцо?

– Не знаю, – отвечал простодушно Серебряный, – может быть, и видели; я не хоронился, прямо к твоему терему подъехал. Мне ведомо, что ты не тянешь к опричнине!

Годунов поморщился.

– Борис Федорыч, – прибавил Серебряный доверчиво, – я ведь не один; со мной пришло сотни две станичников из-под Рязани.

– Что ты, князь? – воскликнул Годунов.

– Они, – продолжал Серебряный, – за заставой остались. Мы вместе несем наши головы государю; пусть казнит нас или милует, как ему угодно!

– Слышал я, князь, слышал, как ты с ними татар разбил; но ведомо ли тебе, что с тех пор на Москве было?

– Ведомо, – отвечал Серебряный и нахмурился. – Я шел сюда и думал, что опричнине конец, а у вас дела хуже прежнего. Да простит бог государю! А тебе грех, Борис Федорыч, что ты только молчишь да глядишь на все это!

– Эх, Никита Романыч, ты, я вижу, все тот же остался! Что ж бы я сказал царю? Послушался бы он меня, что ли?

– А хотя бы и не послушался, – возразил упрямо Серебряный, – все ж тебе говорить следует. От кого ж ему правду знать, коли не от тебя?

– А ты думаешь, он правды не знает? Ты думаешь, он и в самом деле всем тем изветам верит, по которым столько людей казнено?

И, сказав это, Годунов закусил было язык, но вспомнил, что говорит с Серебряным, которого открытое лицо исключало всякое подозрение в предательстве.

– Нет, – продолжал он вполголоса, – напрасно ты винишь меня, князь. Царь казнит тех, на кого злобу держит, а в сердце его не волен никто. Сердце царево в руце божией, говорит Писание. Вот Морозов попытался

было прямить ему; что ж вышло? Морозова казнили, а другим не стало от того легче. Но ты, Никита Романыч, видно, сам не дорожишь головою, что, ведая московскую казнь, не убоился прийти в Слободу?

При имени Морозова Серебряный вздохнул. Он любил Дружину Андреича, хотя боярин и похитил его счастье.

– Что ж, Борис Федорыч, – ответил он Годунову, – чему быть, того не миновать! Да правду сказать, и жить-то мне надоело; не красно теперь житье на Руси!

– Послушай, князь, ты сам себя не бережешь; такой, видно, уж нрав у тебя; но бог тебя бережет. Как ты до сих пор ни лез в петлю, а все цел оставался. Должно быть, не написано тебе пропасть ни за что ни про что. Кабы ты с неделю тому вернулся, не знаю, что бы с тобой было, а теперь, пожалуй, есть тебе надежда; только не спеши на глаза Ивану Васильевичу; дай мне сперва увидеть его.

– Спасибо тебе, Борис Федорыч; да ты обо мне-то больно не хлопочи; а вот станичников, коли можно, вызволи из беды. Они хоть и худые люди, а вины свои хорошо заслужили!

Годунов взглянул с удивлением на Никиту Романовича. Он не мог привыкнуть к простоте князя, и равнодушие его к собственной жизни показалось Годунову неестественным.

– Что ж ты, князь, – спросил он, – с горя, что ли, жить не хочешь?

– Пожалуй, что и с горя. К чему еще жить теперь? Веришь ли, Борис Федорыч, иной раз поневоле Курбский на ум приходит; подумаю про него, и самому страшно станет: так, кажется, и бросил бы родину и ушел бы к ляхам, кабы не были они враги наши.

– Вот то-то, князь! В теперешнее время нам только и есть, что две дороги: или делать, как Курбский, – бежать навсегда из родины, или так, как я, – оставаться около царя и искать его милости. А ты ни то, ни другое; от царя не уходишь, а с царем не мыслишь; этак нельзя, князь; надо одно из двух. Уж коли хочешь оставаться на Руси, так исполняй волю цареву. А если полюбит он тебя, так, пожалуй, и сам от опричнины отвратится. Вот, примерно, кабы нас было двое около него, один бы другого поддерживал; сегодня бы я заронил словечко, завтра ты; что-нибудь и осталось бы у него в памяти; ведь и капля, говорят, когда все на одно место капает, так камень насквозь долбит. А нахрапом, князь, ничего не возьмешь!

– Кабы не был он царь, – сказал мрачно Серебряный, – я знал бы, что мне делать; а теперь ничего в толк не возьму; на него идти бог не велит, а с ним мыслить мне невмочь; хоть он меня на клочья разорви, с опричниной хлеба-соли не поведу!

– Погоди, князь, не отчаивайся. Вспомни, что я тебе тогда говорил? Оставим опричников; не будем перечить царю; они сами перегубят друг друга! Вот уж троих главных не стало: ни обоих Басмановых, ни Вяземского. Дай срок, князь, и вся опричнина до смерти перегрызется!

– А до того что будет? – сказал Серебряный.

– А до того, – ответил Годунов, не желая сразу настаивать на мысли, которую хотел заронить в Серебряном, – до того, коли царь тебя помилуется, ты можешь снова на татар идти; за этими дело не станет!

В мыслях Серебряного нелегко укладывалось два впечатления разом, и надежда идти на татар вытеснила на время овладевшее им уныние.

– Да, – сказал он, – только нам одно и осталось, что татар колотить! Кабы не ждать их в гости, а ударить бы на Крым всеми полками разом, да вместе с казаками, так, пожалуй, что и Крым взяли бы!

Он даже усмехнулся от удовольствия при этой мысли.

Годунов вступил с ним в разговор о его насильственном освобождении и о рязанском побоище. Уже начинало темнеть, а они всё еще сидели, беседуя за кубками.

Наконец Серебряный встал.

– Прости, боярин, – сказал он, – уже скоро ночь на дворе!

– Куда ты, Никита Романыч? Остайся у меня, переночуй, завтра приедет царь, я доложу о тебе!

– Нельзя, Борис Федорыч, пора мне к своим! Боюсь, чтоб они с кем не повздорили. Кабы царь был в Слободе, мы прямо б к нему с повинною пришли, и пусть бы случилось, что богу угодно; а с здешними душегубцами не убережешься. Хоть мы и в сторонке, под самым лесом остановились, а все же может какой-нибудь объезд наехать!

– Ну, прости, Никита Романыч! Смотри ж ты, не суйся царю на глаза, погоди, чтоб я прислал за тобой.

– Да постой, не туда ты идешь, князь, – прибавил Годунов, видя, что Серебряный направляется к красным сеням, и, взяв его за руку, он проводил его на заднее крыльцо.

– Прости, Никита Романыч, – повторил он, обнимая Серебряного, – бог не без милости, авось и уладится твое дело!

И, подождав, чтобы князь сел на коня и выехал заднею околицею, Годунов вернулся в избу, весьма довольный, что Серебряный не принял предложения переночевать у него в доме.

На другое утро царь с торжеством въехал в Слободу, как после одержанной победы. Опричники провожали его с криками «гойда! гойда!» от заставы до самого дворца.

Одна старая мамка Онуфьевна приняла его с бранью.

– Зверь ты этакий! – сказала она, встречая его на крыльце, – как тебя еще земля держит, зверя плотоядного? Кровью от тебя пахнет, душегубец! Как смел ты к святому угоднику Сергию явиться после твоего московского дела? Гром господень убьет тебя, окаянного, вместе с дьявольским полком твоим!

Но в этот раз увещания мамки не произвели никакого действия. На дворе не было ни грома, ни бури. Солнце великолепно сияло в безоблачном небе, и ярко играли краски и позолота на пестрых теремках и затейливых главах дворца. Иоанн не ответил ни слова и прошел мимо старухи во внутренние свои покои.

– погоди, погоди! – продолжала она, глядя ему вослед и стуча о пол клюкою, – разразится гром божий над теремом твоим, выжжет он всю твою нечестивую Слободу!

И старуха удалилась в свою светлицу, медленно передвигая ноги и бросая сердитые взгляды на царедворцев, которые сторонились от нее с суеверным страхом.

В этот день, после обеда, Годунов, видя, что царь весел и доволен и, против обыкновения, готовится отдохнуть, последовал за ним в опочивальню. Расположение к нему Ивана Васильевича давало это право Годунову, особенно когда ему было о чем доложить, что не всякому следовало слышать.

В царской опочивальне стояли две кровати: одна, из голых досок, на которой Иван Васильевич ложился для наказания плоти, в минуты душевных тревог и сердечного раскаянья; другая, более широкая, была покрыта мягкими овчинами, пуховиком и шелковыми подушками. На этой царь отдыхал, когда ничто не тревожило его мыслей. Правда, это случалось редко, и последняя кровать большею частью оставалась нетронутую.

Надобно было хорошо знать Ивана Васильевича, чтобы не ошибиться в действительном расположении его духа. Не всегда во время мучений совести он был склонен на милосердие. Он часто приписывал угрызения свои наваждению сатаны, старающегося отвлечь его от преследования измены, и тогда, вместо того чтобы смягчить свое сердце, он, назло дьяволу, творя молитвы и крестные знаменья, предавался еще большей жестокости. Не всегда также спокойствие, написанное на лице его, могло достоверно ручаться за внутреннюю безмятежность. Оно часто бывало одною личиною, и царь, одаренный редкою проницательностью и способностью угадывать чужие мысли, любил иногда обманывать расчеты того, с кем разговаривал, и поражать его неожиданным проявлением гнева в

то самое время, когда он надеялся на милость.

Но Годунов успел изучить малейшие оттенки царского нрава и с необыкновенным чутьем отгадывал и объяснял себе неуловимые для других изменения лица его.

Подождав, чтобы Иоанн лег на пуховую постель, и не видя в его чертах ничего, кроме усталости, Борис Федорович сказал безо всяких приготовлений:

– Ведомо ли тебе, государь, что опальник твой сыскался?

– Какой? – спросил Иоанн, зевая.

– Никита Серебряный, тот самый, что Вяземского, изменника твоего, саблей посек и в тюрьму был посажен.

– А! – сказал Иоанн, – поймали воробья! Кто же взял его?

– Никто, государь. Он сам пришел и всех станичников привел, которые с ним под Рязанью татар разбили. Они вместе с Серебряным принесли твоей царской милости повинные головы.

– Опомнись! – сказал Иоанн. – Что ж, видел ты его?

– Видел, государь; он прямо ко мне приехал; думал, твоя милость в Слободе, и просил, чтоб я о нем сказал тебе. Я хотел было захватить его под стражу, да подумал, неравно Григорий Лукьяныч скажет, что я подыскиваюсь под него; а Серебряный не уйдет, коли он сам тебе свою голову принес.

Годунов говорил прямо, с открытым лицом, безо всякого замешательства, как будто в нем не было ни тени хитрости, ни малейшего участия к Серебряному. Когда он накануне проводил его задним крыльцом, он поступил так не с тем, чтобы скрыть от царя его посещение (это было бы слишком опасно), но чтобы кто из слободских не предупредил Иоанна и, как первый известитель, не настроил бы его против самого Годунова. Намек же на Вяземского, выставляющий Серебряного врагом казненного князя, был обдуман и приготовлен Борисом Федоровичем заранее.

Царь зевнул еще раз, но не отвечал ничего, и Годунов, улавливая каждую черту лица его, не прочел на нем никакого признака ни явного, ни скрытого гнева. Напротив, он заметил, что царю понравилось намерение Серебряного предаться на его волю.

Иоанн, проливая кровь и заставляя всех трепетать, хотел вместе с тем, чтоб его считали справедливым и даже милосердным; душегубства его были всегда облечены в наружность строгого правосудия, и доверие к его великодушию тем более льстило ему, что такое доверие редко проявлялось.

Подождав немного, Годунов решился вызвать Ивана Васильевича на ответ.



– Как прикажешь, государь, – спросил он, – позвать к тебе Григорья Лукьяныча?

Но последние казни уже достаточно насытили Иоанна; несколько лишних голов не могли ничего прибавить к его удовлетворению, ни возбудить в нем уснувшую на время жажду крови.

Он пристально посмотрел на Годунова.

– Разве ты думаешь, – сказал он строго, – что я без убойства жить не могу? Иное злодеи, подрывающие государство, иное Никита, что Афоньку порубил. А из станичников посмотрю, кого казнить, кого помиловать. Пусть все, и с Никитой, соберутся перед Красным крыльцом на дворе. Когда выйду из опочивальни, увижу, что с ними делать!

Годунов пожелал царю доброго отдыха и удалился с низким поклоном.

Все зависело теперь от того, в каком расположении проснется Иоанн.

## ГЛАВА 37. Прощение

Извещенный Годуновым, Никита Романович явился на царский двор с своими станичниками.

Перераненные, оборванные, в разнообразных лохмотьях, кто в зипуне, кто в овчине, кто в лаптях, кто босиком, многие с подвязанными головами, все без шапок и без оружия, стояли они молча друг подле друга, дожидаясь царского пробуждения.

Не в первый раз видели молодцы Слободу; приходили они сюда и гусярами, и нищими, и поводильщиками медведей. Некоторые участвовали и в последнем пожаре, когда Перстень с Коршуном пришли освободить Серебряного. Много было между ними знакомых нам лиц, но многих и недоставало. Недоставало всех, которые, отстаивая Русскую землю, погибли недавно на рязанских полях, ни тех, которые после победы, любя раздолье кочующей жизни, не захотели понести к царю повинную голову. Не было тут ни Перстня, ни Митьки, ни рыжего песенника, ни дедушки Коршуна. Перстень, появившись в последний раз в Слободе в день судного поединка, исчез бог весть куда; Митька последовал за ним, песенника еще прежде уходил Серебряный, а Коршуна теперь под стеною кремлевскою терзали псы и клевали вороны...

Уже часа два дожидались молодцы, потупя очи и не подозревая, что царь смотрит на них из небольшого окна, проделанного над самым крыльцом и скрытого узорными теремками. Никто из них не говорил ни с товарищами, ни с Серебряным, который стоял в стороне, задумавшись и не обращая внимания на множество людей, толпившихся у ворот и у калиток. В числе любопытных была и государева мамка. Она стояла на крыльце, нагнувшись на клюку, и смотрела на все безжизненными глазами, ожидая появления Иоанна, быть может, с тем, чтобы своим присутствием удержать его от новой жестокости.

Иван Васильевич, наглядевшись вдоволь из потаенного окна на своих опальников и насладившись мыслию, что они теперь стоят между жизнью и смертью и что нелегко у них, должно быть, на сердце, показался вдруг на крыльце в сопровождении нескольких стольников.

При виде царя, одетого в золотую парчу, опирающегося на узорный посох, разбойники стали на колени и преклонили головы.

Иоанн помолчал несколько времени.

— Здравствуйте, оборванцы! — сказал он наконец и, поглядев на

Серебряного, прибавил: – Ты зачем в Слободу пожаловал? По тюрьме, что ли, соскучился?

– Государь, – ответил Серебряный скромно, – из тюрьмы ушел я не сам, а увели меня насильно станичники. Они же разбили ширинского мурзу Шихмата, о чем твоей милости, должно быть, уже ведомо. Вместе мы били татар, вместе и отдаемся на твою волю; казни или милуй нас, как твоя царская милость знает!

– Так это за ним вы тот раз в Слободу приходили? – спросил Иоанн у разбойников. – Откуда ж вы знаете его?

– Батюшка-царь, – отвечали вполголоса разбойники, – он атамана нашего спас, когда его в Медведевке повесить хотели. Атаман-то и увел его из тюрьмы!

– В Медведевке? – сказал Иоанн и усмехнулся. – Это, должно быть, когда ты Хомяка и с объездом его шелепугами отшлепал? Я это дело помню. Я отпустил тебе эту первую вину, а был ты, по уговору нашему, посажен за новую вину, когда ты вдругорядь на моих людей у Морозова напал. Что скажешь на это?

Серебряный хотел отвечать, но мамка предупредила его.

– Да полно тебе вины-то его высчитывать! – сказала она Иоанну сердито. – Вместо чтоб пожаловать его за то, что он басурманов разбил, церковь Христову отстоял, а ты только и смотришь, какую б вину на нем найти. Мало тебе было терзанья на Москве, волк ты этакий!

– Молчи, старуха! – сказал строго Иоанн, – не твое бабье дело указывать мне!

Но, досадуя на Онуфреву, он не захотел раздражать ее и, отвернувшись от Серебряного, сказал разбойникам, стоявшим на коленях:

– Где атаман ваш, висельники? Пусть выступит вперед!

Серебряный взялся отвечать за разбойников.

– Их атамана здесь нет, государь. Он тот же час после рязанской битвы ушел. Я звал его, да он идти не захотел.

– Не захотел! – повторил Иоанн. – Сдается мне, что этот атаман есть тот самый слепой, что ко мне в опочивальню со стариком приходил. Слушайте же, оборванцы! Я вашего атамана велю сыскать и на кол посадить!

– Уж самого тебя, – проворчала мамка, – на том свету черти на кол посадят!

Но царь притворился, что не слышит, и продолжал, глядя на разбойников:

– А вас, за то, что вы сами на мою волю отдались, я, так и быть,

помилую. Выкатить им пять бочек меду на двор! Ну что? Довольна ты, старая дура?

Мамка зажевала губами.

– Да живет царь! – закричали разбойники. – Будем служить тебе, батюшка-государь! Заслужим твое прощение нашими головами!

– Выдать им, – продолжал Иоанн, – по доброму кафтану да по гривне на человека. Я их в опричнину впишу. Хотите, висельники, мне в опричниках служить?

Некоторые из разбойников замялись, но большая часть закричала:

– Рады служить тебе, батюшка, где укажет твоя царская милость!

– Как думаешь, – сказал Иоанн с довольным видом Серебряному, – пригодны они в ратный строй?

– В ратный-то строй пригодны, – ответил Никита Романович, – только уж, государь, не вели их в опричнину вписывать!

Царь подумал, что Серебряный считает разбойников недостойными такой чести.

– Когда я кого милую, – произнес он торжественно, – я не милую вполонину!

– Да какая ж это милость, государь! – вырвалось у Серебряного.

Иоанн посмотрел на него с удивлением.

– Они, – продолжал Никита Романович, немного запинаясь, – они, государь, ведь доброе дело учинили; без них, пожалуй, татары на самую бы Рязань пошли!

– Так почему ж им в опричнине не быть? – спросил Иоанн, пронзая глазами Серебряного.

– А потому, государь, – выговорил Серебряный, который тщетно старался прибрать выражения поприличнее, – потому, государь, что они, правда, люди худые, а всё же лучше твоих кромешников!

Эта неожиданная и невольная смелость Серебряного озадачила Иоанна. Он вспомнил, что уже не в первый раз Никита Романович говорит с ним так откровенно и прямо. Между тем он, осужденный на смерть, сам добровольно вернулся в Слободу и отдавался на царский произвол. В строптивости нельзя было обвинить его, и царь колебался, как принять эту дерзкую выходку, как новое лицо привлекло его внимание.

В толпу разбойников незаметно втерся посторонний человек лет шестидесяти, опрятно одетый, и старался, не показываясь царю, привлечь внимание Серебряного. Уже несколько раз он из-за переднего ряда протягивал украдкой руку и силился поймать князя за полу, но, не достав его, опять прятался за разбойников.

– Это что за крыса? – спросил царь, указывая на незнакомца.

Но тот уже успел скрыться в толпе.

– Раздвиньтесь, люди! – сказал Иоанн, – достать мне этого молодца, что там сзади хоронится!

Несколько опричников бросились в толпу и вытащили виновного.

– Что ты за человек? – спросил Иоанн, глядя на него подозрительно.

– Это мой стремянный, государь! – поспешил сказать Серебряный, узнав своего старого Михеича, – он не видал меня с тех пор...

– Так, так, батюшка-государь! – подтвердил Михеич, заикаясь от страха и радости, – его княжеская милость правду изволит говорить!.. Не виделись мы с того дня, как схватили его милость! Дозволь же, батюшка-царь, на боярина моего посмотреть! Господи-светы, Никита Романыч! Я уже думал, не придется мне увидеть тебя!

– Что же ты хотел сказать ему? – спросил царь, продолжая недоверчиво глядеть на Михеича, – зачем ты за станичниками хоронился?

– Поопасывался, батюшка-государь Иван Васильич, опричников твоих поопасывался! Это ведь, сам знаешь, это ведь, государь, всё такой народ...

И Михеич закусил язык.

– Какой народ? – спросил Иоанн, стараясь придать чертам своим милостивое выражение. – Говори, старик, без зазора, какой народ мои опричники? Михеич поглядел на царя и успокоился.

– Да такого мы до литовского похода отродясь не видывали, батюшка! – проговорил он вдруг, ободренный милостивым выражением царского лица, – не в укор им сказать, ненадежный народ, тетка их подкурятина!

Царь пристально посмотрел на Михеича, дивясь, что слуга равняется откровенностью своему господину.

– Ну что ты на него глаза таращишь? – сказала мамка. – Съесть его, что ли, хочешь? Разве он не правду говорит? Разве видывали прежде на Руси кремешников?

Михеич, нашед себе подмогу, обрадовался.

– Так, бабуса, так! – сказал он. – От них-то все зло и пошло на Руси! Они-то и боярина оговорили! Не верь им, государь, не верь им! Песьи у них морды на сбруе, песий и брех на языке! Господин мой верно служил тебе, а это Вяземский с Хомяком наговорили на него. Вот и бабуса правду сказала, что таких сыроядцов и не видано на Руси!

И, озираясь на окружающих его опричников, Михеич придвинулся поближе к Серебряному. Хоть вы-де и волки, а теперь не съедите!

Когда царь вышел на крыльцо, он уже решил простить разбойников.

Ему хотелось только продержат их некоторое время в недоумении. Замечания мамки пришлись некстати и чуть было не раздражили Иоанна, но, к счастью, на него нашла милостивая полоса, и вместо того, чтоб предаться гневу, он вздумал посмеяться над Онуфревной и уронить ее значение в глазах царедворцев, а вместе и подшутить над стремянным Серебряного.

– Так тебе не любя опричнина? – спросил он Михеича с видом добродушия.

– Да кому ж она любя, батюшка-государь? С того часу, как вернулись мы из Литвы, всё от нее пошли сыпаться беды на боярина моего. Не будь этих, прости господи, живодеров, мой господин был бы по-прежнему в чести у твоей царской милости.

И Михеич опять опасливо посмотрел на царских телохранителей, но тот же час подумал про себя: «Эх, тетка их подкурятина! Уж погублю свою голову, а очищу перед царем господина моего!»

– Добрый у тебя стремянный! – сказал царь Серебряному. – Пусть бы и мои слуги так ко мне мыслили! А давно он у тебя?

– Да я, батюшка Иван Васильевич, – подхватил Михеич, совершенно ободренный царскою похвалою, – я князю с самого с его сыздетства служу. И батюшке его покойному служил я, и отец мой деду его служил, и дети мои, кабы были у меня, его бы детям служили!

– А нет у тебя разве детушек, старичок? – спросил Иоанн еще милостивее.

– Было двое сыновей, батюшка, да обоих господь прибрал. Оба на твоём государском деле под Полоцком полегли, когда мы с Никитой Романычем да с князем Пронским Полоцк выручали. Старшему сыну, Василью, вражий лях, налетев, саблей голову раскрыл, а меньшему-то, Степану, из пищали грудь прострелили, сквозь самый наплечник, вот настолько повыше левого соска!

И Михеич пальцем показал на груди своей место, где в Степана попала пуля.

– Вишь! – проговорил Иоанн, покачивая головой и как будто принимая большое участие в сыновьях Михеича. – Ну, что ж делать, старичок, этих бог прибрал, других наживешь!

– Да откуда нажить-то их, батюшка? Хозяйка-то у меня померла, а из рукава-то новых детей не вытрусить!

– Что ж, – сказал царь, как бы желая утешить стремянного, – еще, даст бог, другую хозяйку найдешь!

Михеич ощущал немалое удовольствие в разговоре с царем.

– Да этого добра как не найти, – ответил он, ухмыляясь, – только не охоч я до баб, батюшка-государь, да уж и стар становлюсь таким делом заниматься!

– Баба бабе рознь! – заметил Иоанн и, схватив Онуфреву за душегрейку, – вот тебе хозяйка! – сказал он и выдвинул мамку вперед. – Возьми ее, старина, живи с ней в любви и в совете, да детей приживай!

Опричники, поняв царскую шутку, громко захохотали, а Михеич, в изумлении, посмотрел на царя, не смеется ли и он, но на лице Иоанна не было улыбки.

Безжизненные глаза мамки вспыхнули.

– Срамник ты! – закричала она на Иоанна, – безбожник! Я тебе дам ругаться надо мной! Срамник ты, тьфу! Еретик бессовестный!

Старуха застучала клюкою о крыльцо, и губы ее еще сердитее зажевали, а нос посинел.

– Полно ломаться, бабушка, – сказал царь, – я тебе доброго мужа сватаю; он будет тебя любить, дарить, уму-разуму научать! А свадьбу мы сегодня же после вечерни сыграем! Ну, какова твоя хозяйка, старичина?

– Умилосердись, батюшка-государь! – проговорил Михеич в совершенном испуге.

– Что ж? Разве она тебе не по сердцу?

– Какое по сердцу, батюшка! – простонал Михеич, отступая назад.

– Стерпится – слюбится! – сказал Иоанн. – Да дам за ней доброе приданое!

Михеич с ужасом посмотрел на Онуфреву, которую царь все еще держал за душегрейку.

– Батюшка, Иван Васильевич! – воскликнул он вдруг, падая на колени, – вели меня казнить, только не вели этакого сраму на себя принимать! Скорей на плаху пойду, чем женюсь на ее милости, тетка ее подкурятина!

Иван Васильевич немного помолчал и вдруг разразился громким продолжительным смехом.

– Ну, – сказал он, выпуская наконец Онуфреву, которая поспешила уйти, ругаясь и отплевываясь, – честь приложена, убытку бог избавил! Я хотел вашего счастья, а насильно венчать вас не буду! Служи по-прежнему боярину твоему, старичина, а ты, Никита, подойди сюда. Отпускаю тебе и вторую вину твою. А этих голоштанников в опричнину не впишу; мои молодцы, пожалуй, обидятся. Пусть идут к Жиздре, в сторожевой полк. Коли охочи они на татар, будет им с кем переведаться. Ты же, – продолжал он особенно милостивым голосом, без примеси своей обычной

насмешливости и положив руку на плечо Серебряного, – ты оставайся у меня. Я помирю тебя с опричниной. Когда узнаешь нас покороче, перестанешь дичиться. Хорошо бить татар, но мои враги не одни татары; есть и хуже их. Этих-то научись грызть зубами и метлой выметать!

И царь потрепал Серебряного по плечу.

– Никита, – прибавил он благоволительно и оставляя свою руку на плече князя, – у тебя сердце правдивое, язык твой не знает лукавства; таких-то слуг мне и надо. Впишись в опричнину; я дам тебе место выбылого Вяземского! Тебе я верю, ты меня не продашь.

Все опричники с завистью посмотрели на Серебряного; они уже видели в нем новое возникающее светило, и стоявшие подале от Иоанна уже стали шептаться между собою и выказывать свое неудовольствие, что царь, без внимания к их заслугам, ставит им на голову опального пришельца, столбового боярина, древнего княжеского рода.

Но сердце Серебряного сжалось от слов Иоанновых.

– Государь, – сказал он, сделав усилие над собою, – благодарствую тебе за твою милость; но дозвожь уж лучше и мне к сторожевому полку примкнуться. Здесь мне делать нечего, я к слободскому обычаю не привычен, а там я буду служить твоей милости, доколе сил хватит!

– Вот как! – сказал Иоанн и снял руку с плеча Серебряного, – это значит, мы не угодны его княжеской милости! Должно быть, с ворами оставаться честнее, чем быть моим оружничим! Ну что ж, – продолжал он насмешливо, – я никому в дружбу не набиваюсь и никого насильно не держу. Свыклись вместе, так и служите вместе! Доброго пути, разбойничий воевода!

И, взглянув презрительно на Серебряного, царь повернулся к нему спиной и вошел во дворец.



## ГЛАВА 38. Выезд из Слободы

Годунов предложил Серебряному остаться у него в доме до выступления в поход. Этот раз предложение было сделано от души, ибо Борис Федорович, наблюдавший за каждым словом и за каждым движением царя, заключил, что грозы более не будет и что Иоанн ограничится одною холодностью к Никите Романовичу.

Исполняя обещание, данное Максиму, Серебряный прямо с царского двора отправился к матери своего названного брата и отдал ей крест Максимов. Малюты не было дома. Старушка уже знала о смерти сына и приняла Серебряного как родного; но, когда он, окончив свое поручение, простился с нею, она не посмела его удерживать, боясь возвращения мужа, и только проводила до крыльца с благословениями.

Вечером, когда Годунов оставил Серебряного в опочивальне и удалился, пожелав ему спокойного сна, Михеич дал полную волю своей радости.

– Ну, боярин, – сказал он, – выпал же мне наконец красный денек после долгого горя! Ведь с той поры, как схватили тебя, Никита Романыч, я словно света божьего не вижу! То и дело по Москве да по Слободе слоняюсь, не проведаю ль чего про тебя? Как услышал сегодня, что ты с станичниками вернулся, так со всех ног и пустился на царский двор; ан царь-то уж на крыльце! Я давай меж станичников до тебя пробираться, да и не вытерпел, стал ловить тебя за полу, а царь-то меня и увидел. Ну, набрался же я страху! Век не забуду! Два молебна завтра отслужу, один за твое здоровье, а другой – что соблюл меня господь от этой ведьмы, не дал надо мною такому скверному делу совершиться!

И Михеич начал рассказывать все, что с ним было после разорения морозовского дома, и как он, известив Перстня и вернувшись на мельницу, нашел там Елену Дмитриевну и взялся проводить ее до мужниной вотчины, куда слуги Морозова увезли его во время пожара.

Серебряный нетерпеливо слушал многократные отступления Михеича.

– Ведь я, Никита Романыч, – говорил старик, – ведь я не слеп; хоть и молчу, а все вижу. Признаться, батюшка, не нравилось мне крепко, когда ты к Дружине Андреичу-то ездил, не выйдет добра из этого, думал я, да и совестно, правду сказать, за тебя было, когда ты с ним за одним столом сидел, из одного ковшика пил. Ты меня, батюшка, понимаешь. Хоть ты, положим, и не виноват в этом; кто его знает, как оно к человеку приходит!

Да против него-то грешно было. Ну, а теперь, конечно, дело другое; теперь ей некому ответа держать, царствие ему небесное! Да и молода она, голубушка, вдовой оставаться!

– Не кори меня, Михеич, – сказал Серебряный с неудовольствием, – а скажи, где она теперь и что ты про нее знаешь?

– Позволь, батюшка, погоди; дай мне все по порядку тебе доложить. Вот, изволишь ли видеть, как я от станичников-то на мельницу вернулся, мельник-то мне и говорит: залетела, говорит, жар-птица ко мне; отвези се, говорит, к царю Далмату! Я сначала не понял, что за птица и что за Далмат такой; только уже после, когда показал он мне боярыню-то, тогда уж смекнул, что он про нее говорил. Вот и поехали мы с нею в вотчину Дружины Андреича. Сначала она ничего, молчит себе и очей не подымает; потом стала потихоньку про мужа спрашивать; а потом, батюшка, туда, сюда, да и про тебя спросила, только, вишь, не прямо, а так, как бы нехотя, отворотимшись. Известно, женское дело. Я ей все рассказал, что было мне ведомо, а она, сердечная, еще кручиннее прежнего стала, повесила головушку, да уже во всю дорогу ничего и не говорит. Вот как стали подъезжать к вотчине, поприщ этак будет за десять, она, вижу, zaczyna беспокоиться. «Что ты, говорю, сударыня, беспокоиться изволишь?» Она, батюшка, в слезы. Я ее утешать. «Не кручинься, говорю, боярыня, Дружина Андреич здравствует!» А она, при имени Дружины-то Андреича, давай еще горше плакать. Я этак посмотрел на нее, да уж не знаю, что и говорить ей. «И князь Никита Романыч, говорю, хоча и в тюрьме, а должно быть, также здравствует!» Уж не знал, батюшка, что и сказать ей, чувствую, что не то говорю, а все же что-нибудь сказать надо. Только как назвал я тебя, батюшка, так она вдруг и останови коня. «Нет, говорит, дядюшка, не могу ехать в вотчину!» – «Что ты, боярыня, куда ж тебе ехать?» – «Дядюшка, говорит, видишь, золоченые кресты из-за лесу виднеются?» – «Вижу, сударыня». – «То, говорит, девичий монастырь; я узнаю те кресты, проводи меня туда, дядюшка!» Я было отговариваться, только она стоит на своем: проводи да проводи! – «Я, говорит, там с недельку обожду, богу помолюсь, а потом повещу Дружине Андреичу; он пришлет за мной!» Нечего было делать, проводил ее, батюшка; там и оставил на руках у игуменьи.

– Сколько будет до того монастыря? – спросил Серебряный.

– От мельницы было поприщ сорок, батюшка; от Москвы, пожалуй, будет подале. Да оно нам, почитай, по дороге приходится, коли мы на Жиздру походом.

– Михеич! – сказал Серебряный, – сослужи мне службу. Я прежде утра выступить не властен; надо моим людям царю крест целовать. Но ты сею

же ночью поезжай одвуконь, не жалея ни себя, ни коней; попросись к боярыне, расскажи ей все; упроси ее, чтобы приняла меня, чтобы ни на что не решалась, не повидавшись со мною!

– Слушаю, батюшка, слушаю, да ты уж не опасешься ли, чтоб она постриглась? Этого не будет, батюшка. Пройдет годок, поплачет она, конечно; без этого нельзя; как по Дружине Андреиче не поплакать, царствие ему небесное! А там, посмотри, и свадьбу сыграем. Не век же нам, батюшка, горе отбывать!

Михеич в эту же ночь отправился в монастырь, а Серебряный, лишь только занялась заря, пошел проститься с Годуновым.

Борис Федорович уже вернулся от заутрени, которую, по обычаю своему, слушал вместе с царем.

– Что ты так рано поднялся, князь? – спросил он Никиту Романовича. – Это хорошо нам, слободским, а ты мог бы и поотдохнуть после вчерашнего дня. Или тебе беспокойно у меня было?

Но тонкий взгляд Годунова показывал, что он знал причину бессонницы князя.

Приветливость Бориса Федоровича, его неподдельное участие к Серебряному, услуги, им столько раз оказанные, а главное, его совершенное несходство с другими царедворцами привлекали к нему сильно Никиту Романовича. Он открылся ему в любви своей к Елене.

– Все это мне давно уже ведомо! – сказал, улыбаясь, Годунов. – Я догадался об этом еще в первый твой приезд в Слободу из того, как ты смотрел на Вяземского. А когда я нарочно завел с тобою речь о Морозове, ты говорил о нем неохотно, несмотря что был с ним в дружбе. Ты, князь, ничего не умеешь хоронить в себе. О чем ты ни подумаешь, все у тебя на лице так и напишется. Да и говоришь-то ты уж чересчур правдиво, Никита Романыч, позволь тебе сказать. Я за тебя вчера испугался, да и подосадовал-таки на тебя, когда ты напрямик отвечал царю, что не хочешь вписаться в опричнину.

– А что же мне было отвечать ему, Борис Федорыч?

– Тебе было поблагодарить царя и принять его милость.

– Да ты шутишь, Борис Федорыч, али вправду говоришь? Как же мне за это благодарить царя? Да ты сам разве вписан в опричнину?

– Я дело другое, князь. Я знаю, что делаю. Я царю не перечу; он меня сам не захочет вписать; так уж я поставил себя. А ты, когда поступил бы на место Вяземского да сделался бы оружничим царским, то был бы в приближении у Ивана Васильевича, ты бы этим всей земле послужил. Мы бы с тобой стали идти заодно и опричнину, пожалуй, подсекли бы!

– Нет, Борис Федорыч, не сумел бы я этого. Сам же ты говоришь, что у меня все на лице видно.

– Оттого, что ты не хочешь приневолить себя, князь. Вот кабы ты решился перемочь свою прямоту да хотя бы для виду вступил в опричнину, чего мы бы с тобой не сделали! А то, посмотри на меня; я один бьюсь, как щука об лед; всякого должен опасаться, всякое слово обдумывать; иногда просто голова кругом идет! А было бы нас двое около царя, и силы бы удвоились. Таких людей, как ты, немного, князь. Скажу тебе прямо: я с нашей первой встречи рассчитывал на тебя!

– Не гожусь я на это дело, Борис Федорыч. Сколько раз я ни пытался подладиться под чужой обычай, ничего не выходит. Вот ты, дай бог тебе здоровья, ты на этом собаку съел. Правду сказать, сначала мне не по сердцу было, что ты иной раз думаешь одно, а говоришь другое; но теперь я вижу, куда ты гнешь, и понимаю, что по-твоему делать лучше. А я б и хотел, да не умею; не сподобил меня бог такому искусству. Впрочем, что теперь и говорить об этом? Сам знаешь, царь меня, по моему же упросу, в сторожевой полк посылает.

– Это ничего, князь. Ты опять татар побьешь, царь опять тебя пред свои очи пожалует. Оружничим тебе, конечно, уже не бывать, но если попросишься в опричнину, тебя впишут. А хотя бы и не случилось тебе татар побить, все же ты приедешь на Москву, когда Елене Дмитриевне вдовий срок минет. Того не опасайся, чтоб она постриглась; этого не будет, Никита Романыч; я лучше тебя человеческое сердце знаю; не по любви она за Морозова вышла, незачем ей и постригаться теперь. Дай только остыть крови и высохнуть слезам; я же буду, коли хочешь, твоим дружкой.

– Спасибо тебе, Борис Федорыч, спасибо. Мне даже совестно, что ты уже столько сделал для меня, а я ничем тебе отплатить не могу. Кабы пришлось за тебя в пытку идти или в бою живот положить, я бы не задумался. А в опричнину меня не зови, и около царя быть мне также не можно. Для этого надо или совсем от совести отказаться, или твое умение иметь. А я бы только даром душой кривил. Каждому, Борис Федорыч, господь свое указал: у сокола свой лет, у лебедя свой; лишь бы в каждом правда была.

– Так ты меня уж боле не винишь, князь, что и не прямою, а окольною дорогой иду?

– Грех было бы мне винить тебя, Борис Федорыч. Не говорю уже о себе; а сколько ты другим добра сделал! И моим ребятам без тебя, пожалуй, плохо пришлось бы. Недаром и любят тебя в народе. Все на тебя надежду полагают; вся земля начинает смотреть на тебя!

Легкий румянец пробежал по смуглому лицу Годунова, и в очах его блеснуло удовольствие. Примирить с своим образом действий такого человека, как Серебряный, было для него немалым торжеством и служило ему мерилom его обаятельной силы.

– В мою очередь, спасибо тебе, князь, – сказал он. – Об одном прошу тебя: коли ты не хочешь помогать мне, то, по крайней мере, когда услышишь, что про меня говорят худо, не верь тем слухам и скажи клеветникам моим все, что про меня знаешь!

– Уж об этом не заботься, Борис Федорыч! Я никому не дам про тебя и помыслить худо, не только что говорить. Мои станичники и теперь уже молятся о твоём здравии, а если вернутся на родину, то и всем своим ближним закажут. Дай только бог уцелеть тебе!

– Господь хранит ходящих в незлобии! – сказал Годунов, скромно опуская глаза. – А впрочем, всё в его святой воле! Прости же, князь; до скорого свидания; не забудь, что ты обещал позвать меня на свадьбу.

Они дружески обнялись, и у Никиты Романовича повеселело на сердце. Он привык к мысли, что Годунов нелегко ошибается в своих предположениях, и недавние опасения его насчет Елены рассеялись.

Вскоре он выехал в главе своего пешего отряда; но еще прежде, чем они оставили Слободу, случилось одно обстоятельство, которое, по тогдашним понятиям, принадлежало к недобрым предзнаменованиям.

Близ одной церкви отряд был остановлен столплением нищих, которые теснились у паперти во всю ширину улицы и, казалось, ожидали богатой милостыни от какого-нибудь знатного лица, находившегося в церкви.

Подвигаясь медленно вперед, чтобы дать время толпе раздвинуться, Серебряный услышал панихидное пение и спросил, по ком идет служба? Ему отвечали, что то Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский справляет поминки по сыне Максиме Григорьевиче, убитом татарами. В то же время послышался громкий крик, и из церкви вынесли старушку, лишенную чувств; исхудалое лицо ее было облито слезами, а седые волосы падали в беспорядке из-под бархатной шапочки. То была мать Максима. Малюта, в смирной одежде, показался на крыльце, и глаза его встретились с глазами Серебряного; но в чертах Малюты не было на этот раз обычного зверства, а только какая-то тупая одурелость, без всякого выражения. Приказав положить старушку на паперти, он воротился в церковь дослушивать панихиду, а станичники с Серебряным, снявши шапки и крестясь, прошли мимо церковных врат, и слышно им было, как в церкви торжественно и протяжно раздавалось: «Со святыми упокой!»

Это печальное пение и мысль о Максиме тяжело подействовали на

Серебряного, но ему вспомнились успокоительные слова Годунова и скоро изгладили грустное впечатление панихиды. На изгибе дороги, входящей в темный лес, он оглянулся на Александрову слободу, и когда скрылись от него золоченые главы дворца Иоаннова, он почувствовал облегчение, как будто тяжесть свалилась с его сердца.

Утро было свежее, солнечное. Бывшие разбойники, хорошо одетые и вооруженные, шли дружным шагом за Серебряным и за всадниками, его сопровождавшими. Зеленый мрак охватывал их со всех сторон. Конь Серебряного, полный нетерпеливой отваги, срывал мимоходом листья с нависших ветвей, а Буян, не оставлявший князя после смерти Максима, бежал впереди, подымал иногда, нюхая ветер, косматую морду или нагибал ее на сторону и чутко налавливал ухо, если какой-нибудь отдаленный шум раздавался в лесу.

## ГЛАВА 39. Последнее свидание

Несколько дней шел Серебряный с своим отрядом. На одном ночлеге, откуда был поворот к девичьему монастырю, он оставил людей своих и поехал один навстречу Михеичу, обещавшему привезти ему ответ от боярыни.

Всю ночь он ехал безостановочно. На заре, приближаясь к одному перекрестку, увидел он догорающий костер и сидящего близ него Михеича. Обе его лошади паслись неподалеку, оседланные.

Услышав конский топ, Михеич вскочил на ноги.

– Батюшка, князь Никита Романыч! – вскричал он, узнавая князя, – не езди дале, батюшка! Вернись назад, нечего там тебе делать!

– Что случилось? – спросил Серебряный, и сердце его замерло.

– Все кончено, батюшка! Не судил нам господь счастья!

Серебряный спрянул на землю.

– Говори! – сказал он, – что случилось с боярыней?

Старик молчал.

– Что случилось с Еленой Дмитриевной? – повторил в испуге Серебряный.

– Нет боле Елены Дмитриевны, батюшка! – сказал мрачно Михеич. – Есть только сестра Евдокия!

Серебряный зашатался и прислонился к дереву. Михеич смотрел на него горестно.

– Что ж делать, Никита Романыч! Видно, на то была божья воля. Не в счастливый мы, видно, век родились!

– Рассказывай все! – сказал Серебряный, оправившись. – Не жалею меня. Когда постриглась боярыня?

– Когда узнала о казни Дружины Андреича, батюшка; когда получили в монастыре синодик от царя, с именами всех казненных и с указом молиться за их упокой; накануне того самого дня, как я к ней приехал.

– Видел ты ее?

– Видел, батюшка.

Серебряный хотел что-то сказать и не мог.

– На самый краткий миг видел, – прибавил Михеич, – не хотела она меня допустить сперва.

– Что она велела сказать мне? – проговорил с трудом Серебряный.

– Чтобы ты за нее молился, батюшка.

– И боле ничего?  
– Ничего, батюшка.  
– Михеич, – произнес князь после краткого молчания, – проводи меня в монастырь; я хочу проститься с ней...

Старик покачал головой.

– Зачем тебе к ней, батюшка? Не смущай ее боле; она теперь все равно, что святая. Вернемся лучше к отряду и пойдем прямо к Жиздре!

– Не могу! – сказал Серебряный.

Михеич опять покачал головою и подвел к нему одного из своих коней.

– Садись же на этого, – сказал он, вздыхая, – твой больно заморился!

Они молча поехали к монастырю.

Дорога шла все время лесом. Вскоре послышалось журчанье воды, и ручей, пробиравшийся меж камышами, сверкнул сквозь густую зелень.

– Узнаешь ты это место, князь? – спросил грустно Михеич.

Серебряный поднял голову и увидел свежее пожарище. Кой-где земля была недавно изрыта, а остатки строения и сломанное водяное колесо показывали, что тут была мельница.

– Это когда они колдуна схватили, – заметил Михеич, – то и жилье его разорили; думали тут клад найти, тетка их подкурятина!

Серебряный бросил рассеянный взгляд на пожарище, и они молча поехали далее.

Через несколько часов лес начал редеть. Меж деревьями забелела каменная ограда, и на расчищенной поляне показался монастырь. Он не стоял, подобно иным обителям, на возвышенном месте. Из узких решетчатых окон не видно было обширных монастырских угодий, и взор везде упирался лишь в голые стволы и мрачную зелень сосен, опоясывавших тесным кругом ограду. Окрестность была глуха и печальна; монастырь, казалось, принадлежал к числу бедных.

Всадники сошли с коней и постучались в калитку.

Прошло несколько минут; послышалось бряцание ключей.

– Слава господу Иисусу Христу! – сказал тихо Михеич.

– Во веки веков, аминь! – отвечала сестра-вратница, отворяя калитку.

– Кого вам надобно, государи?

– Сестру Евдокию, – произнес вполголоса Михеич, боясь этим названием растравить душевную рану своего господина. – Ты меня знаешь, матушка; я недавно был здесь.

– Нет, государь, не знаю; я только сегодня ко вратам приставлена, а до меня была сестра Агния...

И монахиня посмотрела опасливо на приезжих.



– Нужды нет, матушка, – продолжал Михеич, –пусти нас. Доложи игуменье, что князь Никита Романыч Серебряный приехал.

Вратница окинула боязливым взглядом Серебряного, отступила назад и захлопнула за собою калитку.

Слышно было, как она поспешно удалялась, приговаривая: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас!

«Что бы это значило? – подумал стрмянный, –зачем она боится моего боярина?»

Он посмотрел на князя и понял, что его пыльные доспехи, одежда, изорванная колючим кустарником, и встревоженное выражение лица испугали вратницу. В самом деле черты Никиты Романовича так изменились, что сам Михеич не узнал бы его, если бы не приехал с ним вместе.

Через несколько времени послышались опять шаги вратницы.

– Не взыщите, государи, – сказал она неверным языком сквозь калитку, – теперь игуменье нельзя принять вас; приходите лучше завтра, после заутрени!

– Я не могу ждать! – вскричал Серебряный, и, ударив ногою в калитку, он вышиб запоры и вошел в ограду.

Перед ним стояла игуменья, почти столь же бледная, как и он сам.

– Во имя Христа-спасителя, – сказала она дрожащим голосом, – остановитесь! Я знаю, зачем ты пришел... но господь карает душегубство, и безвинная кровь падет на главу твою!

– Честная мать! – отвечал Серебряный, не понимая ее испуга, но слишком встревоженный, чтобы удивляться, – честная мать,пусти меня к сестре Евдокии! Дай на один миг увидеть ее! Дай мне только проститься с ней!

– Проститься? – повторила игуменья, – ты в самом деле хочешь только проститься?

– Дай мне с ней проститься, честная мать, и я все мое имущество на твой монастырь отдам!

Игуменья взглянула на него недоверчиво.

– Ты вломился насильно, – сказала она, – ты называешься князем, а бог весть кто ты таков, бог весть зачем приехал... Знаю, что теперь ездят опричники по святым монастырям и предают смерти жен и дочерей тех праведников, которых недавно на Москве казнили!.. Сестра Евдокия была женою казненного боярина...

– Я не опричник! – вскричал Серебряный, – я сам отдал бы всю кровь мою за боярина Морозова! Пустименя к боярине, честная мать,пусти меня

к ней!

Должно быть, правда и искренность написались на чертах Серебряного. Игуменья успокоилась и посмотрела на него с участием.

– Погрешила же я перед тобою! – сказала она. – Но, слава Христу и пречистой его матери, вижу теперь, что ошиблась. Слава же Христу, пресущественной троице и всем святым угодникам, что ты не опричник! Напугала меня вратница; я уже думала, как бы только время выиграть, сестру Евдокию схоронить! Трудные у нас годы настали, государь! И в божьих обителях опальным укрыться нельзя. Слава же господу, что я ошиблась! Если ты друг или родственник Морозовых, я поведу тебя к Евдокии. Ступай за мною, боярин, сюда, мимо усыпальницы; ее келья в самом саду.

Игуменья повела князя через сад к одинокой келье, густо обсаженной шиповником и жимолостью. Там, на скамье, перед входом, сидела Елена в черной одежде и в покрывале. Косые лучи заходящего солнца ударяли на нее сквозь густые клены и позлащали над нею их увядающие ветви. Лето приходило к концу; последние цветы шиповника облетали; черная одежда инокини была усеяна их алыми лепестками. Грустно следила Елена за медленным и однообразным падением желтых кленовых листьев, и только шорох приближающихся шагов прервал ее размышления. Она подняла голову, узнала игуменью и встала, чтоб идти к ней навстречу, но, увидев внезапно Серебряного, вскрикнула, схватилась за сердце и в изнеможении опустилась на скамью.

– Не пугайся, дитятко! – сказала ей ласково игуменья, – это знакомый тебе боярин, друг твоего покойного мужа, приехал нарочно проститься с тобой!

Елена не могла отвечать. Она только дрожала и, будто в испуге, смотрела на князя. Долго оба молчали.

– Вот, – проговорил наконец Серебряный, – вот как нам пришлось свидеться!

– Нам нельзя было свидеться иначе!.. – сказала едва внятно Елена.

– Зачем не подождала ты меня, Елена Дмитриевна? – сказал Серебряный.

– Если б я подождала тебя, – прошептала она, – у меня не достало бы силы... ты не пустил бы меня... довольно и так греха на мне, Никита Романыч...

Настало опять молчание.

Сердце Серебряного сильно билось.

– Елена Дмитриевна! – сказал он прерывающимся от волнения

голосом, – я навсегда прощаюсь с тобой, навсегда, Елена Дмитриевна... Дай же мне в последний раз взглянуть на тебя... дай на твои очи в последний раз посмотреть... откинь свое покрывало, Елена!

Елена исхудалою рукой подняла черную ткань, закрывавшую верхнюю часть ее лица, и князь увидел ее тихие глаза, красные от слез, и встретил знакомый кроткий взор, отуманенный бессонными ночами и душевным страданием.

– Прости, Елена! – вскричал он, падая ниц и кланяясь ей в ноги, – прости навсегда! Дай господь забыть мне, что могли мы быть счастливы!

– Нет, Никита Романыч, – сказала грустно Елена, – счастья нам не было написано. Кровь Дружины Андреича была бы между счастьем и нами. За меня он пошел под опалу, я же погрешила против него, я виновница его смерти! Нет, Никита Романыч, мы не могли быть счастливы. Да и кто теперь счастлив?

– Да, – повторил Серебряный, – кто теперь счастлив! Не милостив господь ко святой Руси; а все же не думал я, что нам заживо придется разлучиться навеки!

– Не навеки, Никита Романыч, – улыбнулась грустно Елена, – а только здесь, в этой жизни. Так должно было быть. Не личила бы нам одним радость, когда вся земля терпит горе и скорбь великую!

– Зачем, – сказал с мрачным видом Серебряный, – зачем не сложил я голову на татарскую саблю! Зачем не казнил меня царь, когда я ему повинную принес! Что мне теперь осталось на свете?

– Неси крест свой, Никита Романыч, как я мой крест несу. Твоя доля легче моей. Ты можешь отстаивать родину, а мне остается только молиться за тебя и оплакивать грех мой!

– Какая родина! Где наша родина! – вскричал Серебряный. – От кого нам ее отстаивать? Не татары, а царь губит родину! Мысли мои помешались, Елена Дмитриевна... Ты одна еще поддерживала мой разум; теперь все передо мной потемнело; не вижу боле, где ложь, где правда. Все доброе гибнет, все злое одолевает! Часто, Елена Дмитриевна, приходил мне Курбский на память, и я гнал от себя эти грешные мысли, пока еще была цель для моей жизни, пока была во мне сила; но нет у меня боле цели, а сила дошла до конца... рассудок мой путается... – Просвети тебя боже, Никита Романыч! Ужели оттого, что твое счастье погибло, ты сделаешься врагом государевым, пойдешь наперекор всей земле, которая держит пред ним поклонную голову? Вспомни, что бог посылает нам испытание, чтобы могли мы свидеться на том свете! Вспомни всю жизнь свою и не солги против самого себя, Никита Романыч!

Серебряный опустил голову. Вскипевшее в нем негодование уступило место строгим понятиям долга, в которых он был воспитан и которые доселе свято хранил в своем сердце, хотя и не всегда был в силах им покоряться.

– Неси крест свой, Никита Романыч! – повторила Елена. – Иди, куда посылает тебя царь. Ты отказался вступить в опричнину, и совесть твоя чиста. Иди же на врагов земли Русской; а я не перестану молиться за нас обоих до последнего моего часа!

– Прости же, Елена, прости, сестра моя! – воскликнул Серебряный, бросаясь к ней.

Она встретила спокойным взглядом его сокрушенный взгляд, обняла его, как брата, и поцеловала три раза, без страха и замешательства, ибо в этом прощальном лобзании уже не было того чувства, которое за два месяца, у ограды морозовского сада, кинуло ее в объятия князя невольно и бессознательно.

– Прости! – повторила она и, опустив покрывало, поспешно удалилась в свою келью.

Стали звонить к вечерне. Серебряный долго глядел вослед Елене. Он не слышал, что говорила ему игуменья, не почувствовал, как она взяла его за руку и проводила к ограде. Молча сел он на коня; молча поехал с Михеичем обратным путем по сосновому лесу. Звон монастырского колокола вызвал его наконец из оцепенения. Он только теперь понял всю тяжесть своего несчастья. Сердце его разрывалось от этого звона, но он стал прислушиваться к нему с любовью, как будто в нем звучало последнее прощание Елены, и когда мерные удары, сливаясь в дальний гул, замерли наконец в вечернем воздухе, ему показалось, что все родное оторвалось от его жизни и со всех сторон охватило его холодное, безнадежное одиночество...

На другой день отряд Никиты Романовича продолжал свой путь, углубляясь все далее в темные леса, которые, с небольшими прогулами, соединялись с Брянским дремучим лесом. Князь ехал впереди отряда, а Михеич следовал за ним издали, не смея прерывать его молчание.

Ехал Серебряный, понуря голову, и среди его мрачных дум, среди самой безнадежности светило ему, как дальняя заря, одно утешительное чувство. То было сознание, что он в жизни исполнил долг свой, насколько позволило ему умение, что он шел прямою дорогой и ни разу не уклонился от нее умышленно. Драгоценное чувство, которое, среди скорби и бед, как неотъемлемое сокровище, живет в сердце честного человека и пред которым все блага мира, все, что составляет цель людских стремлений, –

есть прах и ничто!

Одно это сознание давало Серебряному возможность переносить жизнь, и он, проходя все обстоятельства своего прощания с Еленой, повторяя себе каждое ее слово, находил грустную отраду в мысли, что в самом деле было бы совестно радоваться в теперешнее время и что он не отчуждает себя от братьев, но несет вместе с ними свою долю общего бедствия.

Слова Годунова также пришли ему на память, и он горько усмехнулся, вспомнив, с какою уверенностью Годунов говорил о своем знании человеческого сердца. «Видно, – подумал он, – не все умеет угадывать Борис Федорыч! Государственное дело и сердце Ивана Васильевича ему ведомы; он знает наперед, что скажет Малюта, что сделает тот или другой опричник; но как чувствуют те, которые не ищут своих выгод, это для него потемки!»

И невольно вспомнил Серебряный о Максиме и подумал, что не так посудил бы названный брат его. Он не сказал бы ему: «Она не по любви вышла за Морозова, она будет ждать тебя!» Он сказал бы: «Спеши, брат мой! Не теряй ни мгновения; замори коня и останови ее, пока еще время!»

И при мысли о Максиме одиночество Никиты Романовича представилось ему еще безотраднее, ибо он ведал, что никто уже не сойдется с ним так близко, никто не пополнит своею душою его души, не поможет ему выяснить себе многое, что в честном сердце своем он сознавал смутно, но чего, в тревоге событий, он не успел облечь в ясные очертания...

И будет его жизнь идти своим чередом, не спрашивая, укладываются или нет его лучшие стремления в ее тяжелые требования, и долго, может быть, она будет плести свой пестрый узор, где каждая подробность, взятая отдельно, не имеет понятного смысла, но где все явления держатся меж собою неразрывною цепью, истекая одно из другого со строгою последовательностью.

Понурил Серебряный голову, и бросил поводья, и ехал шагом в глухом бору, столь же мрачном, как и его думы. Мерные шаги разбойников прерывали тишину пустыни. Дикие жители ее, белки и верхолазы, не привыкшие в этом безлюдном месте бояться человека, не прятались при виде ратников, а только взбирались на верхние сучья и любопытно глядели оттуда на проходивших. Пестрые дятлы продолжали цепляться за мшистую кору древесных стволов, повертывали свои красные головы на прищельцев и опять принимались стучать в сухое дерево.

Один из ратников, возбужденный торжественностью природы, затаил

вполголоса протяжную песню; другие стали ему подтягивать, и вскоре все голоса слились в один хор, который звучными переливами далеко раздавался под дремучим навесом дерев...

Здесь можно бы кончить эту грустную повесть, но остается сказать, что было с другими лицами, которые, быть может, разделяли с Серебряным участие читателя. О самом Никите Романовиче услышим мы еще раз в конце нашего рассказа; но для этого надобно откинуть семнадцать тяжелых лет и перенестись в Москву в славный год завоевания Сибири.

## ГЛАВА 40. Посольство Ермака

Много времени протекло с того дня, как Серебряный выехал из Слободы во главе прощенных станичников. Разные перемены произошли с тех пор на Руси. Но Иоанн по-прежнему то предавался подозрениям и казнил самых лучших, самых знаменитых граждан, то приходил в себя, каялся всенародно и посылал в монастыри богатые вклады и длинные синодики с именами убиенных, приказывая молиться за их упокой. Из прежних его любимцев не уцелело ни одного. Последний и главный из них, Малюта Скуратов, не испытав ни разу опалы, был убит при осаде Пайды, или Вейсенштейна, в Ливонии, и в честь ему Иоанн сжег на костре всех пленных немцев и шведов.

Сотни и тысячи русских, потеряв всякое терпение и надежду на лучшие времена, уходили толпами в Литву и Польшу.

Одно только счастливое событие произошло в течение этих лет: Иоанн постиг всю бесполезность разделения земли на две половины, из которых меньшая терзала большую, и по внушению Годунова уничтожил ненавистную опричнину. Он возвратился на жительство в Москву, а страшный дворец в Александровой слободе запустел навсегда.

Между тем много бедствий обрушилось на нашу родину. Голод и мор опустошали города и селения. Несколько раз хан вторглся в наши пределы, и в один из своих набегов он сжег все посады под Москвою и большую часть самого города. Шведы нападали на нас с севера; Стефан Баторий, избранный сеймом после Жигимонта, возобновил литовскую войну и, несмотря на мужество наших войск, одолел нас своим умением и отнял все наши западные владения.

Царевич Иоанн, хотя разделял с отцом его злодейства, но почувствовал этот раз унижение государства и попросился у царя с войском против Батория. Иоанн увидел в этом замысел свергнуть его с престола, и царевич, спасенный когда-то Серебряным на Поганой Луже, не избежал теперь лютой смерти. В припадке бешенства отец убил его ударом острого посоха. Рассказывают, что Годунов, бросившийся между них, был жестоко изранен царем и сохранил жизнь только благодаря врачебному искусству пермского гостя Строгонова.

После этого убийства Иоанн, в мрачном отчаянье, созвал Думу, объявил, что хочет идти в монастырь, и приказал приступить к выбору другого царя. Снисходя, однако, на усиленные просьбы бояр, он согласился

остаться на престоле и ограничился одним покаянием и богатыми вкладами; а вскоре потом снова начались казни. Так, по свидетельству Одерборна, он осудил на смерть две тысячи триста человек за то, что они сдали врагам разные крепости, хотя сам Баторий удивлялся их мужеству.

Теряя свои владения одно за другим, теснимый со всех сторон врагами, видя внутреннее расстройство государства, Иоанн был жестоко поражен в своей гордости, и это мучительное чувство отразилось на его приемах и наружности. Он стал небрежен в одежде, высокий стан его согнулся, очи померкли, нижняя челюсть отвисла, как у старика, и только в присутствии других он делал усилие над собою, гордо выпрямлялся и подозрительно смотрел на окольных, не замечает ли кто в нем упадка духа. В эти минуты он был еще страшнее, чем во дни своего величия. Никогда еще Москва не находилась под таким давлением уныния и боязни.

В это скорбное время неожиданная весть пришла от крайнего востока, и ободрила все сердца, и обратила общее горе в радость.

От отдаленных берегов Камы прибыли на Москву знатные купцы Строгоновы, родственники того самого гостя, который излечил Годунова. Они имели от царя жалованные грамоты на пустые места земли Пермской и жили на них владетельными князьями, независимо от пермских наместников, с своею управой и с своею дружиной, при единственном условии охранять границы от диких сибирских народов, наших недавних и сомнительных данников. Тревожимые в своих деревянных крепостях ханом Кучумом, они решились двинуться за Каменный Пояс и сами напасть на неприятельскую землю. Для успешнейшего исполнения этого замысла они обратились к нескольким разбойничьим, или, как они себя называли, казачьим атаманам, опустошавшим в то время с шайками своими берега Волги и Дона. Главнейшими из них были Ермак Тимофеев и Иван Кольцо, осужденный когда-то на смерть, но спасшийся чудесным образом от царских стрельцов и долгое время пропадавший без вести. Получив от Строгоновых дары и грамоту, которою они призывались на славное и честное дело, Ермак и Кольцо с тремя другими атаманами подняли знамя на Волге, собрали из удалой вольницы дружину и явились на зов Строгоновых. Сорок стругов были тотчас нагружены запасами и оружием, и небольшая дружина под воеводством Ермака, отслушав молебен, поплыла с веселыми песнями вверх по реке Чусовой к диким горам Уральским. Разбивая везде враждебные племена, перетаскивая суда из реки в реку, они добрались до берегов Иртыша, где разбили и взяли в плен главного воеводу сибирского, Маметкула, и овладели городом Сибирью на высоком и крутом обрыве Иртыша. Не довольствуясь этим завоеванием,



Ермак пошел далее, покорил весь край до Оби и заставил побежденные народы целовать свою кровавую саблю во имя царя Ивана Васильевича всея Руси. Тогда только он дал знать о своем успехе Строгоновым и в то же время послал любимого своего атамана Ивана Кольцо к Москве бить челом великому государю и кланяться ему новым царством.

С этою-то радостною вестью Строгоновы приехали к Иоанну, и вскоре после них прибыло Ермаково посольство. Ликованье в городе было неслыханное. Во всех церквах служили молебны, все колокола звонили, как в светлое Христово воскресенье. Царь, обласкав Строгоновых, назначил торжественный прием Ивану Кольцу.

В большой кремлевской палате, окруженный всем блеском царского величия, Иван Васильевич сидел на престоле в Мономаховой шапке, в золотой рясе, украшенной образами и дорогими камнями. По правую его руку стоял царевич Федор, по левую Борис Годунов. Вокруг престола и дверей размещены были рынды, в белых атласных кафтанах, шитых серебром, с узорными топорами на плечах. Вся палата была наполнена князьями и боярами.

Воспрянув духом после известия, привезенного Строгоновыми, Иоанн смотрел не так уже мрачно, и на устах его даже появлялась улыбка, когда он обращался к Годунову с каким-нибудь замечанием. Но лицо его сильно постарело, морщины сделались глубже, на голове осталось мало волос, а из бороды они вылезли вовсе.

Борис Федорович в последние годы пошел быстро в гору. Он сделался шурином царевича Федора, за которого вышла сестра его Ирина, и имел теперь важный сан конюшего боярина. Рассказывали даже, что царь Иван Васильевич, желая показать, сколь Годунов и невестка близки его сердцу, поднял однажды три перста кверху и сказал, дотрогиваясь до них другою рукой:

«Се Феодор, се Ирина, се Борис; и как руке моей было бы одинаково больно, который из сих перстов от нее бы ни отсеки, так равно тяжело было бы моему сердцу лишиться одного из трех возлюбленных чад моих».

Такая необыкновенная милость не родила в Годунове ни надменности, ни высокомерия. Он был по-прежнему скромн, приветлив к каждому, воздержан в речах, и только осанка его получила еще более степенности и ту спокойную важность, которая была прилична его высокому положению.

Не без ущерба своему нравственному достоинству достиг, однако, Годунов такого влияния и таких почестей. Не всегда удавалось его гибкому нраву устранять себя от дел, не одобряемых его совестью. Так, он, видя в Малюте слишком сильного соперника и потеряв надежду уронить его в

глазах Иоанна, вошел с ним в тесную дружбу и, чтобы связать сильнее их обоюдные выгоды, женился на его дочери. Двадцать лет, проведенных у престола такого царя, как Иоанн Грозный, не могли пройти даром Борис Федоровичу, и в нем уже совершился тот горестный переворот, который, по мнению современников, обратил в преступника человека, одаренного самыми высокими качествами.

Глядя на царевича Феодора, нельзя было удержаться от мысли, что слабы те руки, которым по смерти Иоанна надлежало поддерживать государство. Ни малейшей черты ни умственной, ни душевной силы не являло его добродушное, но безжизненное лицо. Он был уже два года женат, но выражение его осталось детское. Ростом он был мал, сложением дрябл, лицом бледен и опухловат. Притом он постоянно улыбался и смотрел робко и запуганно. Недаром ходили слухи, что царь, жалея о старшем сыне, говаривал иногда Феодору: «Пономарем бы тебе родиться, Федя, а не царевичем!»

«Но бог милостив, – думали многие, – пусть царевич слаб; благо, что не пошел он ни в батюшку, ни в старшего брата! А помогать ему будет шурин его, Борис Федорович. Этот не попустит упасть государству!»

Шепот, раздавшийся по дворне между придворными, был внезапно прерван звуками труб и звоном колоколов. В палату вошли, предшествоваемые шестью стольниками, посланные Ермака, а за ними Максим и Никита Строгоновы с дядею их Семеном. Позади несли дорогие меха, разные странные утвари и множество необыкновенного, еще не виданного оружия.

Иван Кольцо, шедший во главе посольства, был человек лет под пятьдесят, среднего роста, крепкого сложения, с быстрыми, пронизательными глазами, с черною, густою, но короткою бородой, подернутою легкою проседью.

– Великий государь! – сказал он, приблизившись к ступеням престола, – казацкий твой атаман Ермак Тимофеев, вместе со всеми твоими опальными волжскими казаками, осужденными твоею царскою милостью на смерть, старались заслужить свои вины и бьют тебе челом новым царством. Прибавь, великий государь, к завоеванным тобою царствам Казанскому и Астраханскому еще и это Сибирское, доколе всевышний благоволит стоять миру!

И, проговорив свою краткую речь, Кольцо вместе с товарищами опустил на колени и преклонил голову до земли.

– Встаньте, добрые слуги мои! – сказал Иоанн. – Кто старое упомянет, тому глаз вон, и быть той прежней опале не в опалу, а в милость. Подойди

сюда, Иван!

– И царь протянул к нему руку, а Кольцо поднялся с земли и, чтобы не стать прямо на червленое подножие престола, бросил на него сперва свою баранью шапку, наступил на нее одною ногою и, низко наклонившись, приложил уста свои к руке Иоанна, который обнял его и поцеловал в голову.

– Благодарю преблагую и пресущест венную троицу, – сказал царь, подымая очи к небу, – зрю надо мною всемогущий промысел божий, яко в то самое время, когда теснят меня враги мои, даже ближние слуги с лютостью умышляют погубить меня, всемилостивый бог дарует мне верх и одоление над погаными и славное приращение моих государств! – И, обведя торжествующим взором бояр, он прибавил с видом угрозы: – Аще господь бог за нас, никто же на ны! Имеющие уши слышати да слышат!

Но в то же время он почувствовал, что напрасно омрачает общую радость, и обратился к Кольцу, милостиво смягчая выражение очей.

– Как нравится тебе на Москве? Видывал ли ты где такие палаты и церкви? Или, может, ты уже прежде бывал здесь?

Кольцо улыбнулся скромно-лукавою улыбкой, и белизна зубов его как будто осветила его смуглое загорелое лицо.

– Где нам, малым людям, такие чудеса видеть! – сказал он, смиренно пожимая плечами. – Нам и во сне такой лепоты не снилось, великий государь! Живем на Волге по-мужицки, про Москву только слухом слышим, а в этом краю отродясь не бывывали!

– Поживи здесь, – сказал Иоанн благоволительно, – я тебя изрядно велю угостить. А грамоту Ермака мы прочли и вразумели и уже приказали князю Болховскому да Ивану Глухову с пятьюстами стрельцов идти помогать вам.

– Премного благодарствуем, – отвечал Кольцо, низко кланаясь, – только не мало ли будет, великий государь?

Иоанн удивился смелости Кольца.

– Вишь ты, какой прыткий! – сказал он, глядя на него строго. – Уж не прикажешь ли мне самому побежать к вам на прибавку? Ты думаешь, мне только и заботы, что ваша Сибирь? Нужны люди на хана и на Литву. Бери что дают, а обратным путем набирай охотников. Довольно теперь всякой голи на Руси. Вместо чтоб докучать мне по все дни о хлебе, пусть идут селиться на те новые земли! И архиерею вологодскому написали мы, чтоб отрядил десять попов обедни вам служить и всякие требы исполнять.

– И на этом благодарим твою царскую милость, – ответил Кольцо, вторично кланаясь. – Это дело доброе; только не пожалей уж, великий

государь, поверх попов, и оружия дать нам сколько можно, и зелья огнестрельного поболе!

– Не будет вам и в этом оскудения. Есть Болховскому про то указ от меня.

– Да уж и пообносились мы больно, – заметил Кольцо, с заискивающею улыбкой и пожимая плечами.

– Небось некого в Сибири по дорогам грабить? – сказал Иоанн, недовольный настойчивостью атамана. – Ты, я вижу, ни одной статьи не забываешь для своего обихода, только и мы нашим слабым разумом обо всем уже подумали. Одежу поставят вам Строгоновы; я же положил мое царское жалованье начальным и рядовым людям. А чтоб и ты, господин советчик, не остался без одежды, жалую тебе шубу с моего плеча!

По знаку царя два стольника принесли дорогую шубу, покрытую золотою парчой, и надели ее на Ивана Кольцо.

– Язык-то у тебя, я вижу, остер, – сказал Иоанн, – а есть ли острая сабля?

– Да была недурна, великий государь, только поиступилась маленько о сибирские головы!

– Возьми из моей оружейной саблю, какая тебе боле приглянется, да смотри, выбирай по сердцу, которая покраще, впрочем, ты, я думаю, чиниться не будешь.

Глаза атамана загорелись от радости.

– Великий государь! – воскликнул он, – изо всех твоих милостей эта самая большая! Грех было бы мне чиниться на твоём подарке! Уж выберу в твоей оружейной что ни на есть лучшее! Только, – прибавил он, немного подумав, – коли ты, государь, не жалеешь своей сабли, то дозволю лучше отвезти ее от твоего царского имени Ермолаю Тимофеичу!

– Об нем не хлопочи, мы и его не забудем. А коли ты боишься, что я не сумею угодить на его милость, то возьми две сабли, одну себе, другую Ермаку.

– Исполать же тебе, государь! – воскликнул Кольцо в восхищении. – Уж мы этими двумя саблями послужим твоему царскому здоровью!

– Но сабель не довольно, – продолжал Иоанн. – Нужны вам еще добрые брони. На тебя-то мы, примеривши, найдем, а на Ермака как бы за глаза не ошибиться. Какого он будет роста?

– Да, пожалуй, будет с меня, только в плечах пошире. Вот хоть бы с этого молодца, – сказал Кольцо, оборачиваясь на одного из своих товарищей, здорового детину, который, принеся огромную охапку оружия и свалив ее на землю, стоял позади его с разинутым ртом и не переставал

дивиться то на золотую одежду царя, то на убранство рынд, окружавших престол. Он даже попытался вступить потихоньку с одним из них в разговор, чтоб узнать, не все ли они царевицы? Но рында посмотрел на него так сурово, что тот не возобновлял более вопроса.

– Принести сюда, – сказал царь, – большую броню с орлом, что висит в оружейной на первом месте. Мы примерим ее на этого пучеглазого!

Вскоре принесли тяжелую железную кольчугу с медною каймой вокруг рукавов и подола и с золотыми двуглавыми орлами на груди и спине.

Кольчуга была скована на славу и возбудила во всех одобрителный шепот.

– Надевай ее, тюлень! – сказал царь.

Детина повиновался, но, сколько ни силился, он не мог в нее пролезть и допихнул руки только до половины рукавов.

Какое-то давно забытое воспоминание мелькнуло при этом виде в памяти Иоанна.

– Будет! – сказал Кольцо, следивший заботливо за детинкой, – довольно паять царскую кольчугу-то! Пожалуй, разорвешь ее, медведь! Государь, – продолжал он, – кольчуга добрая, и будет Ермолаю Тимофеичу в самую пору; а этот потому пролезть не может, что ему кулаки мешают. Этаких кулаков ни у кого нет, кроме его!

– А ну-ка, покажи свой кулак? – сказал Иоанн, с любопытством вглядываясь в детину. Но детина смотрел на него в недоумении, как будто не понимая приказания.

– Слышь ты, дурень, – повторил Кольцо, – покажи кулак его царской милости!

– А коли он мне за то голову срубит? – сказал детина протяжно, и на глупом лице его изобразилось опасение.

Царь засмеялся, и все присутствующие с трудом удержались от смеха.

– Дурак, дурак! – сказал Кольцо с досадою, – был ты всегда дурак и теперь дураком остался!

И, высвободив детину из кольчуги, он подтащил его к престолу и показал царю его широкую кисть, более похожую на медвежью лапу, чем на человеческую руку.

– Не взыщи, великий государь, за его простоту. Он в речах глуп, а на деле парень добрый. Он своими руками царевицу Маметкула полонил.

– Как его зовут? – спросил Иоанн, все пристальнее вглядываясь в детину.

– А Митькою! – отвечал тот добродушно.

– Пстой! – сказал Иоанн, узнавая вдруг Митьку, – ты, никак, тот самый, что в Слободе за Морозова бился и Хомяка оглоблей убил?

Митька глупо улыбнулся.

– Я тебя, дурня, сначала не признал, а теперь вспоминаю твою рожу!

– А я тебя сразу признал! – ответил Митька с довольным видом, – ты на высоком ослоне у самого поля сидел!

Этот раз все громко засмеялись.

– Спасибо тебе, – сказал Иоанн, – что не забыл ты меня, малого человека. Как же ты Маметкула-то в полон взял?

– Жовотом навалился! – ответил Митька равнодушно и не понимая, чему опять все захохотали.

– Да, – сказал Иоанн, глядя на Митьку, – когда этакий чурбан навалится, из-под него уйти нелегко. Помню, как он Хомяка раздавил. Зачем же ты ушел тогда с поля? Да и как ты из Слободы в Сибирь попал?

Атаман толкнул Митьку неприметно локтем, чтобы он молчал, но тот принял этот знак в противном смысле.

– А он меня с поля увел! – сказал он, тыкнув пальцем на атамана.

– Он тебя увел? – произнес Иван Васильевич, поглядывая с удивлением на Кольцо. – А как же, – продолжал он, вглядываясь в него, – как же ты сказал, что в первый раз в этом краю? Да погоди-ка, брат, мы, кажется, с тобой старые знакомые. Не ты ли мне когда-то про Голубиную книгу рассказывал? Так, так, я тебя узнаю. Да ведь ты и Серебряного-то из тюрьмы увел. Как же это, божий человек, ты прозрел с того времени? Куда на богомолье ходил? К каким мощам прикладывался?

И, наслаждаясь замешательством Кольца, царь устремлял на него свой пронзительный, вопрошающий взгляд.

Кольцо опустил глаза в землю.

– Ну, – сказал наконец царь, – что было, то было; а что прошло, то травой поросло. Поведай мне только, зачем ты, после рязанского дела, не захотел принести мне повинной вместе с другими ворами?

– Великий государь, – ответил Кольцо, собирая все свое присутствие духа, – не заслужил я еще тогда твоей великой милости. Совесть мне было тебе на глаза показаться; а когда князь Никита Романыч повел к тебе товарищей, я вернулся опять на Волгу, к Ермаку Тимофеичу, не приведет ли бог какую новую службу тебе сослужить!

– А пока мою казну с судов воровал да послов моих кизилбашских на пути к Москве грабил?

Вид Ивана Васильевича был более насмешлив, чем грозен. Со времени дерзостной попытки Ванюхи Перстня, или Ивана Кольца, прошло

семнадцать лет, а злопамятность царя не продолжалась так долго, когда она не была возбуждена прямым оскорблением его личного самолюбия.

Кольцо прочел на лице Иоанна одно желание посмеяться над его замешательством. Соображаясь с этим расположением, он потупил голову и погладил затылок, сдерживая на лукавых устах своих едва заметную улыбку.

– Всякого бывало, великий государь! – проговорил он вполголоса. – Виноваты перед твоею царскою милостью!

– Добро! – сказал Иоанн, – вы с Ермаком свои вины загладили, и все прошлое теперь забыто; а кабы ты прежде попался мне в руки, ну, тогда не прогневайся!..

Кольцо не отвечал ничего, но подумал про себя: «Затем-то и тогда и не пошел к тебе с повинною, великий государь!»

– Погоди-ка, – продолжал Иоанн, – здесь должен быть твой приятель!

– Эй! – сказал он, обращаясь к царедворцам, – здесь ли тот разбойничий воевода, как бишь его? Микита Серебряный?

Говор пробежал по толпе, и в рядах сделалось движение, но никто не отвечал.

– Слышите? – повторил Иоанн, возвышая голос, – я спрашиваю, тут ли тот Микита, что отпросился к Жиздре с ворами служить?

На вторичный вопрос царя выступил из рядов один старый боярин, бывший когда-то воеводою в Калуге.

– Государь, – сказал он с низким поклоном, – того, о ком ты спрашиваешь, здесь нет. Он в тот самый год, как пришел на Жиздру, тому будет семнадцать лет, убит татарами, и вся его дружина вместе с ним полегла.

– Право? – сказал Иоанн, – а я и не знал! Ну, – продолжал он, обращаясь к Кольцу, – на нет и суда нет, а я хотел вас свести да посмотреть, как вы поцелуетесь!

На лице атамана выразилась печаль.

– Жаль тебе, что ли, товарища? – спросил Иоанн с усмешкой.

– Жаль, государь! – отвечал Кольцо, не боясь раздражить царя этим признанием.

– Да, – сказал царь презрительно, – так оно и должно быть; свой своему поневоле брат!

Вправду ли Иоанн не ведал о смерти Серебряного или притворился, что не ведает, чтоб этим показать, как мало он дорожит теми, кто не ищет его милости, бог весть! Если же в самом деле он только теперь узнал о его участи, то пожалел ли о нем или нет, это также трудно решить; только на

лице Иоанна не написалось сожаления. Он, по-видимому, остался так же равнодушен, как и до полученного им ответа.

– Поживи здесь, – сказал он Ивану Кольцу, – а когда придет время Болховскому выступать, иди с ним обратно в Югорскую землю... Да я было и забыл, что Болховской свое колено от Рюрика ведет. С этими вельможными князьями управиться нелегко; пожалуй, и со мной захотят в разрядах считаться! Не все они, как тот Микита, в станичники просятся. Так чтобы не показалось ему обидным быть под рукою казацкого атамана, жалую ныне же Ермака князем Сибирским! Щелкалов, – сказал он стоявшему поодаль думному дьяку, – изготвь к Ермаку милостивую грамоту, чтобы воеводствовать ему надо всею землей Сибирскою, а Маметкула чтобы к Москве за крепким караулом прислал. Да кстати, напиши грамоту и Строгоновым, что жалую-де их за добрую службу и радение: Семену Большую и Малую Соль на Волге, а Никите и Максиму торговать во всех тамошних городах и острожках беспошлинно.

Строгоновы низко поклонились.

– Кто из вас, – спросил вдруг Иоанн, – излечил Бориса в ту пору, как я его осном поранил?

– То был мой старший брат, Григорий Аникин, – отвечал Семен Строгонов. – Он волею божьею прошлого года умре!

– Не Аникин, а Аникьевич, – сказал царь с ударением на последнем слог, – я тогда же велел ему быть выше гостя и полным отчеством называться. И вам всем указываю писаться с *вичем* и зваться не гостями, а именитыми людьми!

Царь занялся рассмотрением мягкой рухляди и прочих даров, присланных Ермаком, и отпустил Ивана Кольцо, сказав ему еще несколько милостивых насмешек.

За ним разошлось и все собрание.

В этот день Кольцо вместе с Строгоновыми обедал у Бориса Федоровича за многолюдным столом.

После обычного осушения кубков во здравие царя, царевича, всего царского дома и высокопреосвященного митрополита Годунов поднял золотую братину и предложил здоровье Ермака Тимофеевича и всех его добрых товарищей.

– Да живут они долго на славу Русской земли! – воскликнули все гости, вставая с мест и кланяясь Ивану Кольцу.

– Бьем тебе челом ото всего православного мира, – сказал Годунов с низким поклоном, – а в твоём лице и Ермаку Тимофеевичу, ото всех князей и бояр, ото всех торговых людей, ото всего люда русского! Приими ото всей



земли великое челобитие, что сослужили вы ей службу великую!

– Да перейдут, – воскликнули гости, – да перейдут имена ваши к сыновьям, и ко внукам, и к поздним потомкам, на вечную славу, на любовь и образец, на молитвы и поучение!

Атаман встал из-за стола, чтобы благодарить за честь, но выразительное лицо его внезапно изменилось от душевного волнения, губы задрожали, а на смелых глазах, быть может первый раз в жизни, навернулись слезы.

– Да живет Русская земля! – проговорил он тихо и, поклонившись на все стороны, сел опять на свое место, не прибавляя ни слова.

Годунов попросил атамана рассказать что-нибудь про свои похождения в Сибири, и Кольцо, умалчивая о себе, стал рассказывать с одушевлением про необыкновенную силу и храбрость Ермака, про его строгую справедливость и про христианскую доброту, с какою он всегда обходился с побежденными.

– На эту-то доброту, – заключил Кольцо, – Ермак Тимофеевич взял, пожалуй, еще более, чем на свою саблю. Какой острог или город ихний, бывало, ни завоюем, он тотчас всех там обласкает, да еще и одарит. А когда мы взяли Маметкула, так он уж не знал, как и честить его; с своих плеч шубу снял и надел на царевича. И прошла про Ермака молва по всему краю, что под его руку сдаваться не тяжело; и много разных князьков тогда же сами к нему пришли и ясак принесли. Веселое нам было житье в Сибири, – продолжал атаман, – об одном только жалел я: что не было с нами князя Никиты Романыча Серебряного; и ему бы по сердцу пришлось, и нам вместе было бы моготнее. Ты, кажется, Борис Федорыч, был в дружбе с ним. Дозволь же теперь про его память выпить!

– Царствие ему небесное! – сказал со вздохом Годунов, которому ничего не стоило выказать участие к человеку, столь уважаемому его гостем. – Царствие ему небесное! – повторил он, наливая стопу, – часто я о нем вспоминаю!

– Вечная ему память! – сказал Кольцо, и, осушив свою стопу, он опустил голову и задумался.

Долго еще разговаривали за столом, а когда кончился обед, Годунов и тут никого не отпустил домой, но пригласил каждого сперва отдохнуть, а потом провести с ним весь день. Угощения следовали одно за другим, беседа сменяла беседу, и только поздним вечером, когда объезжие головы уже несколько раз проехали по улицам, крича, чтобы гасили кормы и огни, гости разошлись, очарованные радушием Бориса Федоровича.

Прошло более трех веков после описанных дел, и мало осталось на Руси воспоминаний того времени. Ходят еще в народе предания о славе, роскоши и жестокости грозного царя, поются еще кое-где песни про осуждение на смерть царевича, про нашествия татар на Москву и про покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем, которого изображения, вероятно, несходные, можно видеть доселе почти во всех избах сибирских; но в этих преданиях, песнях и рассказах – правда мешается с вымыслом, и они дают действительным событиям колеблющиеся очертания, показывая их как будто сквозь туман и позволяя воображению восстанавливать по произволу эти неясные образы.

Правдивее говорят о наружной стороне того царствования некоторые уцелевшие здания, как церковь Василия Блаженного, коей пестрые главы и узорные теремки могут дать понятие о причудливом зодчестве Иоаннова дворца в Александровой слободе; или церковь Трифона Напрудного, между Бутырскою и Крестовскою заставами, построенная сокольником Трифоном вследствие данного им обета и где доселе видно изображение святого угодника на белом коне, с кречетом на рукавице [\[3\]](#).

Слобода Александрова, после выезда из нее царя Ивана Васильевича, стояла в забвении, как мрачный памятник его гневной набожности, и оживилась только один раз, но и то на краткое время. В смутные годы самозванцев молодой полководец князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, в союзе с шведским генералом Делагарди, сосредоточил в ее крепких стенах свои воинские силы и заставил оттуда польского воеводу Сапегу снять долговременную осаду с Троицко-Сергиевской лавры.

Впоследствии, рассказывает предание, в одну жестокую зиму, в январе месяце, к ужасу жителей, нашла на Александрову слободу черная туча, спустилась над самым дворцом и разразилась над ним громовым ударом, от которого запылали терема и вся Слобода обратилась в пепел. От жилища роскоши, разврата, убийств и святотатных богослужений не осталось и следа...

Да поможет бог и нам изгладить из сердец наших последние следы того страшного времени, влияние которого, как наследственная болезнь, еще долго потом переходило в жизнь нашу от поколения к поколению. Простим грешной тени царя Иоанна, ибо не он один несет ответственность за свое царствование; не он один создал свой произвол, и пытки, и казни, и наущничество, вошедшее в обязанность и в обычай. Эти возмутительные

явления были подготовлены предыдущими временами, и земля, упавшая так низко, что могла смотреть на них без негодования, сама создала и усовершенствовала Иоанна, подобно тому как раболепные римляне времен упадка создавали Тивериев, Неронов и Калигул.

Лица, подобные Василию Блаженному, князю Репнину, Морозову или Серебряному, являлись нередко как светлые звезды на безотрадном небе нашей русской ночи, но, как и самые звезды, они были бессильны разогнать ее мрак, ибо светились отдельно и не были сплочены, ни поддерживаемы общественным мнением. Простим же грешной тени Ивана Васильевича, но помянем добром тех, которые, завися от него, устояли в добре, ибо тяжело не упасть в такое время, когда все понятия извращаются, когда низость называется добродетелью, предательство входит в закон, а самая честь и человеческое достоинство почитаются преступным нарушением долга! Мир праху вашему, люди честные! Платя дань веку, вы видели в Грозном проявление божьего гнева и сносили его терпеливо; но вы шли прямою дорогой, не бояся ни опалы, ни смерти; и жизнь ваша не прошла даром, ибо ничто на свете не пропадает, и каждое дело, и каждое слово, и каждая мысль вырастает, как древо; и многое доброе и злое, что как загадочное явление существует поныне в русской жизни, таит свои корни в глубоких и темных недрах минувшего.

*Конец 1840-х гг – 1861*

---

---

<b>notes</b>
--------------

## Примечания

Эту песню А. К. Толстой приводит в главе 5 «Князя Серебряного».

А тут рабское терпение и такое количество пролитой дома крови утомляет душу и сжимает ее печалью. И я не стал бы просить у читателей в свое оправдание ничего другого, кроме позволения не ненавидеть людей, так равнодушно погибающих. *Тацит. Летопись. Книга 16 (лат.).*

С тех пор как это написано, церковь Трифона Напрудного так переделана, что ее узнать нельзя. Снаружи приделки, а внутренность переписана и перештукатурена в новом вкусе. Все это вследствие пожертвований *доброхотных дателей*, как объясняют причетники. (Прим. автора.)